АНДРЕЙ СЕДЫХ

# ПУТИ, ДОРОГИ

АНДРЕЙ СЕДЫХ • ПУТИ, ДОРОГИ

АНДРЕЙ СЕДЫХ

# ПУТИ, ДОРОГИ

*Женни Грэй —*
*жене,*
*другу,*
*спутнице*

***Андрей Седых***

Printed by
Russian Phototypesetting Corp.
243 W 56 St.
New York, N. Y. 10019.

Printed in U.S.A.

# ТАМ, ГДЕ БЫЛА РОССИЯ

*Перепечатка с первого издания Я. Поволоцкого, Париж, 1930 г.*

## НА БОРТУ «ВИРГИНИИ»

Термометр показывал 34° по Реомюру. На деревьях желтела и выгорала листва, земля покрывалась трещинами, люди в городах не спали — они жаждали влаги, северного ветра, холодных ночей. Ничего этого не было, столбик серебряной ртути неумолимо полз вверх. В эти августовские дни нельзя было думать о раскаленных вагонах европейских экспрессов. Оставался один выход — ехать морем, из Гавра.

Молодой человек, служащий «Трансатлантической компании», знал все языки мира, умел разбираться в железнодорожных справочниках и помнил наперечет все суда, уходящие со всех европейских стоянок. К моим услугам была «Виргиния» — 12000 тонн, отличная французская кухня. Молодой человек долго выписывал билет, похожий на дипломатический паспорт, грустно прохрустел новенькими бумажками и на прощанье посоветовал быть на борту за два часа до отплытия.

Эти два часа продолжались ровно десять: «Виргиния» грузилась, надо было ждать вечера.

Стюард разложил вещи, предупредительно открыл иллюминатор и посоветовал пойти погулять:

— Мсье может посмотреть «Иль де Франс».

«Иль де Франс» пришел накануне из Нью-Йорка. Был сильный шторм, маневрировать было трудно. Входя во внутреннюю гавань, гигант ударился носовой частью о волнорез и получил пробоину в десять метров.

На пристани толпились грузчики, моряки, судовая прислуга. Все спорили о том, сколько времени будет продолжаться починка, будет ли пропущен ближайший рейс и сколько миллионов потеряет на этом компания. Называли разные цифры, но стоявший тут же метрдотель сказал, что компания не потеряет ничего, все заплатит страховое общество, а вот он, метрдотель, потеряет добрую сотню долларов — все, что приносит ему обычный нью-йоркский рейс.

Во внутренней бухте стояла другая толпа. Здесь был пришвартован «Файр Крест», крошечная яхта, на которой Аллен Жербо совершил свое кругосветное путешествие. Жербо возился у руля, на нем был простой матросский костюм из грубого полотна; накануне на борту французского крейсера, он получил из рук адмирала крест Почетного Легиона.

По шатким сходням я спустился к нему на палубу. Жербо поздоровался и сказал, что не дает интервью с того дня, как один американский журналист предложил ему 2000 долларов за небольшую беседу. Но он охотно показал мне свою яхту, небольшую каюту с инструментами и полочкой книг, скромное хозяйство моряка, где нет ни одной лишней вещи, и где каждый предмет имеет свое точное назначение.

— «Файр Крест» доживает свои последние дни, — сказал Жербо. — Я хочу заказать новую яхту, еще меньших размеров.

— Зачем?

— Чтобы быть совсем одиноким.

Кто-то постучал в дверь каюты. Вошел старый матрос, сторожащий теперь яхту. Он принес груду поздравительных телеграмм.

— Пишут и пишут, — ворчал старик, — денег им не жалко...

Жербо рассмеялся...

В порту было жарко, в воздухе стояли облака угольной пыли. В полдень работа замерла, лебедки перестали греметь, толпы грузчиков разошлись по гостеприимным барам. Здесь играла музыка, за несколько франков можно было выпить

бутылку вина и вздремнуть часок на кожаном продавленном диване. Потом снова началась работа, грузчики побежали по сходням, согнувшись под тяжестью мешков с хлебом, в огромные корабельные трюмы стали спускать ящики, на которых было выведено: Каракас... Монтевидео... Сайгон. Эти названия далеких портов, новых стран и городов волновали, наполняли душу тревожным ядом — жаждой путешествий. О плаваниях говорили и товары, выставленные в окнах магазинов. Здесь торговали белыми колониальными шлемами, матросскими сундучками, компасами, морскими инструментами, якорями, канатами, фонарями с чечевичными стеклами — всем, что может понадобиться моряку в дальнем его плавании.

В маленьком баре, куда я зашел, было шумно и весело. Матросы пропивали здесь свою месячную получку, с ними были женщины; они хотели танцевать, но моряки пили и горланили песни. Между столиками ходил «сиди», араб с желтым лицом, изъеденным оспой, предлагал коврики, подтяжки, кошельки, часы и порнографические открытки. Матросы рассматривали открытки, а потом отгоняли «сиди» прочь, и он отходил — не возражая; он знал, что все зависит от случая, и что если матросы перепьются, они, может быть, купят у него, не торгуясь, весь его несложный товар, — тогда он будет богат целую неделю...

На закате «Виргиния» вышла в море.

Пятидневное плавание. Море, солнце, чайки. Пассажиры первого класса лежат в шезлонгах, закутавшись в пледы. Их немного — несколько поляков, возвращающихся в Варшаву, чиновник литовского консульства в Париже и какой-то загадочный господин неопределенной национальности, не сказавший за всю дорогу ни одного слова.

Больше оживления в третьем классе. Здесь едет группа русских евреев, высланных из Кубы. Евреи возвращаются в Ригу. Привез их на пароход жандарм и сдал на руки капитану вместе с их невероятными узлами, сундуками и корзинами.

Эмигранты сидят на носу и греются на солнце. Пробыли они в дороге несколько недель, измучились, щеки их впали, обросли жесткой щетиной. Ночью они тяжко

вздыхали и рассказывали чужому человеку историю своих странствований.

— Мы бедные люди, господин, а бедным людям везде плохо. В земле им хорошо, этим людям. Мы жили в Николаеве, работали, имели свой кусок хлеба, и дети ходили в школу. Но пришли большевики. Что вы знаете про большевиков? Они разорили нас, обрекли на голодную смерть. Разве им нужны сапожники или портные? Чекисты им нужны...

Мы бежали в Ригу, но там жить было трудно. На нашу голову мы узнали, что можно устроиться на Кубе. Родственники из Америки прислали на поездку деньги, агент устроил паспорта, и мы поехали. Морем ехали семнадцать дней. Прибыли. Оказывается, с первого мая Куба для иммигрантов закрыта. Продержали нас десять дней взаперти, а потом отправили обратно. И теперь везут в Ригу... Вот уже второй месяц везут...

Близко от нас прошел пароход, сияя огнями иллюминаторов. Заревела труба.

Еврей помолчал, глядя в морскую даль, и потом сказал:

— Поживем в Риге и, Бог даст, весной поедем в Колумбию. Я от шурина письмо получил. Пишет, что в Колумбии можно устроиться. Будет кусок хлеба. Дай Бог, дай Бог...

В третьем классе едет другая группа «возвращенцев». Они прожили в Нью-Йорке восемь—десять лет, получили американские бумаги, и теперь собираются навестить родных в России. Все это молодые люди, не имеющие о Советском Союзе ни малейшего представления.

Первые дни они сторонились журналиста, но затем любопытство взяло верх. Стали подходить, понемногу расспрашивать.

— Как вы думаете, заставят нас платить в таможне за костюмы и лишнюю обувь?

— А много у вас костюмов?

— У каждого по четыре. У меня еще два пальто и смокинг. Три пары туфель. Ну, и белье...

— Вы что делали в Нью-Йорке?

— В парикмахерской служил. Думаю устроиться в Москве. Свое всегда заработаю. Надоело, знаете, жить в Америке.

— А сколько вы в Нью-Йорке зарабатывали?

— Сорок долларов в неделю. Проживал двадцать...

Другие возвращенцы работали у Форда; поразила меня их необыкновенная неосведомленность о том, как живут в России. Все они убеждены, что их примут с распростертыми объятиями, сейчас же устроят на работу по специальности и что жить в Москве будет так же легко и приятно, как в Нью-Йорке. Рассказ об очередях, карточках и лишениях, которые испытывают живущие в России, встречен был недоверчиво:

— Это все мы слышали... В газетах пишут. Но не может этого быть. Надо своими глазами увидеть, убедиться...

Убедятся.

На горизонте все время дымки пароходов. Полный штиль. Пассажиры отдыхают после завтрака. Хорошенькая пани Врублевская флиртует с двумя инженерами, кормит хлебом прожорливых чаек и вообще вносит оживление в нашу монотонную пароходную жизнь. На третий день подходим к Кильскому каналу. Застопорили у шлюзов. На борт поднимается немецкий лоцман и несколько торговцев. Они предлагают безопасные бритвы, зажигалки и дрянной шоколад. Пассажиры рады этому развлечению и покупают. На берегу тем временем собирается группа любопытных, впереди всех мальчуган в картузе с кокардой — серп и молот. Спрашиваю у него:

— Что это за значок?

Внушительно отвечает:

— Я — красный фронтовик...

А всего-то «красному фронтовику» лет десять—двенадцать.

Всю ночь идем каналом. Тепло, небо в звездах. С верхней палубы доносится придушенный шепот:

— Пани ест ладна...

Обиженный голосок пани отвечает:

— Прошу заставить мне в спокою!

Наверху, в каюте радиста, свет. Там вспыхивают голубые молнии, раздается короткий треск включаемого мотора,

аппарат выстукивает точки и черточки. Радист с наушниками напряженно слушает — он принимает телеграмму, шумы далекого города мешают ему, но черточки вытягиваются в длинную линию, — он понял и отвечает: на борту все спокойно.

В полночь иду в каюту. На верхней палубе шепот продолжается:

— Яка пенкна ноц...

— Прошу пана мне не ну́дить...

На этот раз голос как будто ласковей.

При выходе из Кильского канала встречаем пароход, идущий под красным флагом. На носу выведено: «Ковда — Ленинград». Вся палуба заставлена бочками — должно быть, везут соленую рыбу.

Возвращенцы заволновались, бросились к борту:

— Здравствуйте, товарищи!

— А вы русские? Куда едете?

— В Россию!

Разминулись. Но когда корма «Ковды» поравнялась с носом «Виргинии», французские матросы радостно загоготали. На корме стояли три женщины в мужских костюмах — если только так можно назвать отрепья, в которые они были выряжены. Экипаж? Советские туристы, едущие поглядеть Европу и себя показать?..

В 5 часов утра на палубе топот ног, смех, крики. Оказывается, в третьем классе наводнение. С вечера кто-то забыл закрыть водопроводный кран. Вода текла всю ночь. Утром вахтенный поднял тревогу: в каютах вода на 30 сантиметров, все вещи подмочены, плавают туфли, небольшие чемоданы. Воду выкачали, а вещи пришлось разложить для сушки на палубе.

На четвертый день на горизонте показывается земля. Поляки взволнованы: предстоит высадка в польском порту Гдыня, расположенном всего в нескольких километрах от вольного города Данцига. Пять лет тому назад на этом плоском берегу была лишь небольшая рыбачья деревушка. Теперь поляки решили задушить Данциг, и со сказочной быстротой выстроили большой порт и образцовый город. Это соседство пока еще не особенно сказывается: в дан-

цигском порту все еще лес мачт и труб, а в Гдыне всего 2—3 парохода. Но на будущее время опасность есть.

С отъездом поляков, за которыми пришел катер, палуба «Виргинии» опустела.

В двадцати милях от Риги поднялся густой, молочный туман. Море побелело; светило тусклое солнце. В десяти метрах ничего не было видно. Протяжно выла пароходная сирена: другие пароходы шли в тумане, они перекликались друг с другом; радист больше не снимал наушников, он все время принимал по радио направление...

В Ригу пришли под вечер. На пристани толпа ободранцев и латгальских мужиков ждала, когда пароход пришвартуется; они должны были грузить лес. Мужики были русские, в смазных сапогах, в картузах. Они толкали друг друга и сочно, матерно ругались. Бабы в платочках метелочками подметали рассыпанную на мостовой пшеницу, собирали ее в торбы — для птицы. Усатый полицейский вел за руку босоногого мальчишку; мальчишка всхлипывал и молил:

— Дяденька, отпусти!.. Накажи меня Бог, не буду... Отпусти, дяденька!..

Здесь была Россия.

# РИГА

## I

Старый извозчик придержал вожжи, опытным взглядом оценил седока и сказал:

— На Мельничную? Это можно... Восемьдесят копеек, барин.

— Дорого! Шестьдесят дам.

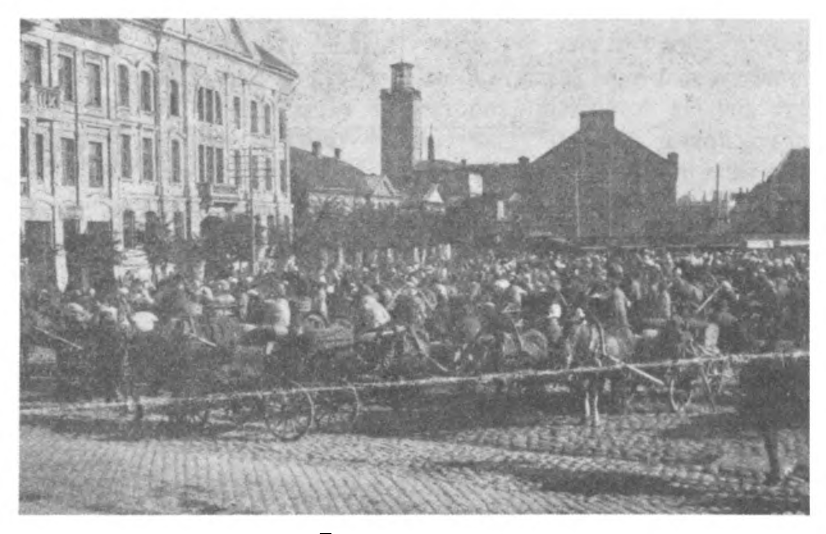
— Да нет, барин, меньше восьмидесяти нет расчета. Прибавьте что-нибудь!

Сторговались. Фаэтон был ободранный, довоенного времени, лошаденка полудохлая, и как ни стегал ее безжалостный «фурман» — так в Риге называют извозчиков, —

всю дорогу она плелась шагом, не обращая на хозяина ни малейшего внимания.

Я ехал по главным улицам Риги — десять лет тому назад бывшей русским губернским городом, а теперь ставшей столицей Латвии. Улицы в образцовом порядке, чисты, на углах эффектные полицейские — «картибнеки» — в белых перчатках, театральными жестами регулируют движение. Город наряден, тонет в зелени; приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языке.

Когда проезжали мимо монументального православного собора, зазвонили к вечерне. Старушка в платочке, торо-



**Рижский привоз**

пившаяся куда-то, остановилась посреди площади и истово перекрестилась на купола... И этот спокойный вечерний звон и эта богомольная старушка разом напомнили о России; Рига теперь латышский город, это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и к чести латвийского правительства надо сказать, что этот русский дух в те времена не особенно старались искоренить.

Русский язык в Латвии пользуется такими же правами гражданства, как латышский и немецкий. С телефонной

барышней вы говорите по-русски, полицейский объяснит вам дорогу на чистейшем русском языке, в министерстве вам обязаны отвечать и по-русски; любой извозчик знает, что «Дзирнава иела» есть не что иное, как старая Мельничная улица.

Русская речь слышится на каждом шагу. Первые два-три дня приезжий оглядывается на говорящих, а потом привыкает. Гораздо труднее привыкнуть к тому, что у всех в руках русская газета «Сегодня». Из утренних газет она наиболее распространенная, покупают ее не только русские, но и немцы, и латыши. В вагоне, идущем со Взморья, у всех в руках «Сегодня»; в час дня вечернее издание этой газеты буквально покрывает весь тридцативерстный пляж...*

На улицах то и дело попадаются чисто русские типы — люди в косоворотках, в картузах. Каждое утро вокзал выбрасывает на рижскую мостовую латгальцев, приезжающих в город по делам или в поисках работы. Здесь увидите вы бабьи платочки, косынки, смазные сапоги, всклокоченные бороды, услышите чистейшую русскую речь.

А за каналом начинается Московский Форштадт.

Тут чувствуешь себя совсем в России. Мостовые вымощены крупным булыжником, пролетка безжалостно подпрыгивает, вас бросает из стороны в сторону. По обеим сторонам Большой Московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колонками. Деревянные ставни откинуты на крючки, на окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы,

* Газета «Сегодня» прекратила свое существование одновременно с независимой Латвией. 17 июня 1940 г. советская армия оккупировала Ригу. Главный редактор Михаил Семенович Мильруд и редактор «Сегодня Вечером» Борис Осипович Харитон были арестованы в октябре 1940 года. Оба имели шведские визы, могли выехать и спасти свою жизнь, но предпочли остаться на посту, выпуская газету до последнего дня. Оба были отправлены в Москву и приговорены судом к 8 годам трудовых лагерей и 7 годам ссылки.

М. С. Мильруд скончался в Караганде в 1941 году.

Б. О. Харитон также был осужден и отправлен в лагерь. Дальнейшая его судьба неизвестна. — *А. С.*

сдающие комнаты в наем, «с утренним самоваром»; комнаты здесь огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетах с бронзовыми застежками... В подворотнях девушки лущат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе подстукивает подковками... Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской сельдью. А за прилавком отпускают покупателям лососину, которой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники... У дверей стоит бородатый мужчина в рубахе навыпуск и массивной серебряной цепочкой через живот — должно быть, сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру, не сходить ли попариться в баньку? Банька здесь же, в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиявки или банки. А после баньки можно зайти в трактир — в «Якорь» или «Волгу» — закусить свежим огурчиком, выпить чаю с малиновым вареньем... Так живут на Московском Форштадте русские люди — отлично живут, не жалуются.

На Большой Московской можно встретить замечательного человека — о. Николая Шалфеева, разгуливающего по городу, к великому смущению стариков, в штатском платье. Другому священнику этого не простили бы, но о. Николаю разрешается; все любят его и все знают, что делает это он не по недостатку веры, а просто по нежеланию обращать на себя на улице особое внимание. Впрочем, некоторые объясняют это свободомыслием: разве о. Николай не ходит в театры?

Беседовать с о. Николаем необычайно приятно. Он расскажет о постройке нового храма, о старообрядцах, которых немало на Московском Форштадте, о нравах этих людей и о старинных старообрядческих молельнях. А тем временем хозяйка дома соорудит закуску, угостит гостя ледяной окрошкой, огурчиками собственного засола, какой-то особенной водкой, настоенной на травах... Потом на столе, покрытом белоснежной скатертью, появится кипя-

щий, посвистывающий, захлебывающийся самоварчик, варенье смородинное, малиновое, коржики собственного изготовления, сдобные булочки. Торопиться некуда, прихлебывайте чай, беседуйте с радушными хозяевами, и изо всех углов просторной квартиры будут на вас смотреть самовары — большие, малые, медные, никелированные — на все случаи жизни...

Раз заговорили о старообрядцах, то следует рассказать и о посещении Гребенщиковской Общины, помещающейся на Московском Форштадте. Отправился я туда с сыном о. Николая, знатоком рижской старины и гласным думы, Б. Н. Шалфеевым.

У ворот встретил нас староста и эконом — почтенные старики: длинные бороды, сюртуки, картузы...

Входим в молельню. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из тяжелых серебряных риз. Старообрядцы гордятся своими иконами:

— Подобных по всей России теперь не найти. Рублевской школы. И мастеров таких нет — давно секрет потеряли... Вот, изволите обратить внимание, Успение Божией Матери — наш храмовый праздник. А это вот Никола Беженец. В пятнадцатом году, во время эвакуации, увезли



**Старообрядцы Гребенщиковской общины**
**В центре — депутат М. А. Каллистратов и Андрей Седых**

его в Москву, да впопыхах не успели вынуть из киота. Так и отправили. А вернулся он через десять лет, по договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось... И с той поры называем мы его Никола Беженец. Минея месячная — тончайшее письмо. Если в августе родились — вашего святого разыщем... Старинная икона «Всякое Дыхание да хвалит Господа». Живописец изобразил тигров, лошадей, змей, птиц поднебесных, одним словом, всякое дыхание... Соловецких Святых заметьте: преподобные Зосима и Савватий — пчеловодов покровители. Народную поговорку знаете: на Святого Пуда вынимай пчел из-под спуда? Так вот, пятнадцатого апреля это выходит. Тут, значит, пчеловодам и следует помолиться преподобным... А это Неопалимая Купина — от пожаров охраняет. Есть еще от пожаров и молний заступник — преподобный Никита. Ему молиться следует тридцать первого января...

Потом эконом повел в свою комнату, книги показывать. Книги были печатаны при Патриархе Иосифе, в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Были здесь старинные рукописи в кожаных переплетах, Евангелие в золотом окладе с драгоценными камнями, другое Евангелие в окладе серебряном — все дары старообрядческого купечества, пришедшего сюда в давние времена, еще в 17-м столетии. Старообрядцы бежали в Ригу, бывшую тогда шведской, спасая свое «древлее благочестие» от московских царей. Когда Петр Великий взял Ригу, нашел он в городе великое множество богатых купцов-староверов. Царь немилостиво отнесся к ним, повелел стричь бороды, а многих прогнал за Двину...

Мы поднялись на колокольню. Староста ударил в колокол, отлитый в России из меди и серебра... Все вдруг загудело, и долго еще густой звук несся над Двиной и Московским Форштадтом...

— Колокола наши московские... Вернули их нам большевики после заключения мира с Латвией... Слава Богу, а то пришлось бы новые заказывать; в Германии теперь их делают. Да звук совсем иной, не умеют они делать, из чугуна льют. Во дворе колокол стоит, немецкий. Уже готов, дал трещину... Нет, против наших русских колоколов немцам не выдержать!..

— Не угодно ли пройти в кельи наставников? Попов

у нас нет, мы беспоповцы, а начетчики и наставники живут тут же, при молельне.

Заходили в светлые просторные кельи. Здесь было солнечно, пахло ладаном, спеющей антоновкой. Перед иконами светились лампады. В первой келье навстречу нам поднялся старичок, снял очки, перевязанные веревочкой, низко поклонился и сказал:

— Спаси вас Бог, благодетели наши, не забыли!.. А я тут поминальничек переписывал... Спаси Бог...

И в других кельях начетчики низко кланялись, запахивали свои драные ряски; бороды их были белы, как лунь, волосы на лбу придерживал тонкий ремешок, подслеповатые глаза всматривались в лица пришельцев, сухие пальцы творили двуперстное крестное знамение.

— Вот они и живут у нас по-монашески, постничают. Много ли надобно старичку благочестивой жизни?.. Есть у него келья, есть еда — он и доволен. Живут у нас шестеро старичков. День и ночь поочередно Псалтирь читают, покойников поминают... Только вот в праздники не читают, а так постоянно — друг дружку сменяют. Не угодно ли посмотреть?

В малой молельне было темно, сыро, в углу у аналоя горела тонкая свеча. Древний старик стоял в пустой молельне и громким монотонным голосом читал Псалтирь...



**Группа старообрядцев**

Он читал и останавливался, прозрачными пальцами перевертывал страницу, снова принимался за чтение, и ни разу не посмотрел на пришельцев — ему было это безразлично, он чувствовал себя одиноким, далеким от всего мирского.

— Да восстанет Бог и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его... Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия... А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости...

Мы вышли на просторный двор. Была тишина, светило яркое солнце, голуби важно разгуливали у ворот. На скамьях сидели старушки в черных платках, старики из старообрядческого приюта; они грели свои кости на солнце и о чем-то сосредоточенно думали...

Ударил колокол, было пять часов. Звонили к вечерне. Старички встрепенулись, перекрестились, и один за другим потянулись к молельне...

## II

С весны, как только пройдет лед, и до поздней осени по полноводной Двине гонят плоты. Идут плоты из России, из-под Витебска. Растягиваются по течению реки бесконечными караванами.

Плотовщики — народ бывалый, запасливый, любят брать с собой в дорогу баб: несколько недель, проведенных на воде, проходят тогда незаметно. Спят в шалашах, укрывшись рогожами, почти не раздеваясь. По ночам дрожат от холода, поднимающегося с реки, днем отогреваются на солнце. Бабы стряпают, стирают, штопают, а в трудных местах и на весла становятся.

Нелегка жизнь на плотах. Все время поглядывай, как бы затор не образовался, как бы на крутом повороте на берег не налететь. Еще чего доброго лопнут цепи, рассыплются бревна, и тогда собирай, лови их по течению, да и сам не плошай: сухим из воды не выйдешь... Зато когда пригнаны плоты в Ригу, проданы на распилку, — тогда есть у плотовщиков несколько дней отдыха и лишние

деньги в кармане. Эти дни сплавщики леса ходят по городу, с изумлением останавливаются перед окнами магазинов, смотрят на караваи белых хлебов, на ящики с яйцами, окорока, колбасы, бочки с маслом... Всего вдоволь — нет ни очередей, ни заборных книжек, можно зайти и купить все, чего душа пожелает...

Я видел советских плотовщиков на базаре. Они ходили между рядами с красным товаром — страшные, ободранные — выходцы с того света. Был август, стояла жара, но они не снимали меховых шапок с наушниками, подвязанными кверху тесемочками. Все были в истертых полушубках или дырявых красноармейских шинелях. Ходили гурьбой, боязливо посматривая по сторонам, придерживая за пазухой кошельки: чего доброго беспризорный какой-нибудь выхватит!

Плотовщики долго приторговывали голенища для новых сапог. Я помог им, сделка в конце концов состоялась, и мы отправились вспрыснуть обновку в трактир «Якорь», славившийся при старике Молочаеве своей солянкой. Старик умер несколько лет тому назад, дело перешло в новые руки, но в трактире мало что переменилось. По-прежнему портовые грузчики и сплавщики леса приходят сюда выпить четверть подкрашенной водки и закусить куском жирного угря. Плотовщики приводят случайных своих подруг или базарных торговок. На столах появляются пузатые расписные чайники, нарезанная белая булка. Чай пьют с блюдечка, вприкуску, до седьмого пота.

Бойкий половой устроил нас у столика, по которому ползали ленивые мухи, взмахнул полотенцем и вдохновенно выпалил:

— Водка, пиво, чай и другие минеральные напитки! Из закусок чего изволите? Можем предложить лососину свежую, копченую и жареную. Огурчики малосольные, томат-фарси и грибки в сметане. Грибок собственного маринада. Раки. Яичница, если желаете, с ветчиной или салом. На свиную отбивную подождать придется — четверть часика без двух минут...

Порешили на пиве и раках. Тут внимание наше было привлечено шумом в соседней комнате. Дрались перепившиеся грузчики, что-то кричали по-латышски, их разнимал подоспевший «картибнек». Половой объяснил:

— Шпана надрамшись и, значит, скандалют...

Молча выпили, закусили горячими раками. Старший плотовщик вытер рукавом губы и с расстановкой сказал:

— К частнику попали. Тут тебе что угодно. За деньги. И раков этих самых, и, обратно, пивка холодного.

Момент был подходящий. Я задал ни к чему не обязывающий вопрос:

— Ну, а как в России? Насчет еды? Все есть?..

Плотовщики насторожились.

— Все есть. За деньги. Только ты, дорогой гражданин, не того... Расспрашивать не полагается. Это нам запрещено. Обратно мы за Ригу не говорим. Каждому свое интересно, а всем вместе один интерес — еще пара пива!

Помолчали. Потом старший наклонился ко мне и заговорил, обдавая пивным духом:

— Расспрашивать не полагается, дорогой товарищ из Риги. Сегодня поговорили, а завтра неприятности. Понял? Вот это оно самое и есть.

Допили пиво и ушли, низко на глаза нахлобучив шапки; на прощание старший плотовщик сунул мне мозолистую пятерню и хитро подмигнул глазом.

Нельзя писать о Риге и не рассказать о доме Черноголовых. Дом этот существует 700 лет, его прекрасный зубчатый фасад украшает площадь ратуши. Когда-то в древние времена на площади этой собирался рижский купеческий люд; базара давно уже нет, но до сих пор над старинным колодцем посреди площади стоит каменное изваяние неизвестного рыцаря, закованного в латы. Рыцарь охраняет свободу коммерции.

Черноголовые — рыцари и купцы. Общество было основано в начале 13-го столетия, члены его миссионерствовали, торговали, копили богатства и защищали родной город от вражеских нападений. Нелегко стать Черноголовым. Для этого нужно быть холостым, уроженцем Риги, протестантом и принадлежать к купеческому сословию. Черноголовый с женитьбой лишается звания активного члена общества, он может еще носить фрак и треуголку, но шпага в ножнах из слоновой кости у него отбирается. В настоящее время есть только 13 Черноголовых.

На широкой лестнице гостей встретил седовласый, крепкий старик, вот уже 50 лет хранящий сокровища Черноголовых. Он повел нас по старинным полутемным залам. Со стен глядели портреты русских и шведских царей, навощенный паркет скрипел под ногами. В доме стояла удивительная тишина.

— Исторические сокровища дома Черноголовых поубавились, — сказал нам хранитель. — Коллекция серебра, равной которой не было во всей России, во время войны была эвакуирована в Москву. Само собой разумеется, большевики прибрали ее к рукам. То, что осталось в Риге, удалось спасти лишь ценой огромных усилий. Красные хотели уничтожить царские портреты, ставили меня к стенке, требовали выдачи оставшегося серебра. Было очень тяжело, но я выдержал — сокровищницу отстоял. После заключения мира с советской Россией, Латвия потребовала вернуть ей в числе прочих эвакуированных ценностей и серебро Черноголовых. Понадобились длительные переговоры, раньше чем они согласились вернуть хотя бы часть имущества. Массивное серебро, столовый сервиз на 200 персон и многое другое до сих пор находится в советской России. Спасибо хоть часть вернули: кубки, чары, блюда старинной чеканки и серебряную статую Св. Маврикия, покровителя Черноголовых.

При основании общества покровителем его был Св. Георгий. А затем общество приняло покровительство Св. Маврикия, черноголового мавра, перешедшего в христианство и обезглавленного потом неверными.

Изображения Св. Маврикия всюду. Но внимание посетителя привлекают и другие портреты: Екатерины Великой, Петра I в молодости, Александра I, Николая I, Александра III. Все они побывали в доме Черноголовых и по традиции каждый что-нибудь оставил. Анна Иоанновна подарила свою туфельку из голубого атласа; туфелька эта слетела с царской ноги во время контрданса, на балу у Черноголовых. Александр II подарил свою фуражку, Николай II — перчатки. В витрине стоят высокие сапоги Карла XII. Король шведский потерял их в болоте во время битвы за Двиной. Щит черепаховый Густава Адольфа, плеть, которой были изгнаны из Риги иезуиты, — множе-

ство табакерок, старинных книг, историческая коллекция, составленная за семь столетий.

— Были вы у владыки? Это самая большая рижская достопримечательность. Сходите!

Архиепископ Иоанн живет в подвале собора. В его «покои» ведет узкая винтовая лестница. Посетителя сразу охватывает сырость, тяжелый подвальный дух. Низкие сводчатые потолки, на стенах пятна сырости. Нет ни одного окна, дневной свет никогда сюда не проникает. Днем и ночью горит электричество.

Скудно живет владыка. Несколько кресел, стулья. Шкафы с книгами. Иконостасы. Над столом — большой портрет патриарха Тихона. Кровать за перегородкой. В углу, у печи — груда поленьев... И сырость, и темнота в углах, и тусклый свет электрической лампочки как-то сразу угнетают...

— У нас отняли помещение архиерейского дома, нам принадлежавшего, — объясняет владыка. — Тогда в виде протеста я поселился здесь. Делались компромиссные предложения. Хотели мне купить новый дом, но я отверг. Это значило бы оправдать беззаконие. Архиерейский дом был православным мужским монастырем, нашей святыней. Я глубоко убежден, что рано или поздно справедливость восторжествует и архиерейский дом мы получим обратно... А помещение сие подвальное — нам к лицу, оно символизирует нынешнее, надо надеяться, временное положение православной церкви в Латвии. У нас отнят кафедральный собор, бывший усыпальницей архиепископов. Его превратили в лютеранскую церковь. И много других церквей отнято у православного населения Риги. Это тем более прискорбно, что в общем латыши хорошо относятся к русскому меньшинству, и его не притесняют. А вот православную церковь загнали в подвал. Говорю это как депутат сейма, и обвинение неоднократно предъявлял властям предержащим с парламентской трибуны.

Долголетняя жизнь в подвале на здоровье моем не отражается. Здоровьем меня Господь не обидел. Все в роду такие были. Дважды благодаря своей силе избег смертельной опасности... Должен вам признаться, что я гимна-

стикой занимаюсь. Летом в деревне работаю, на поле, в огороде, или плотничаю... С саном моим сие совместимо.

Сила у нас передается от отца к сыну. Дед мой покойник, царство ему небесное, однажды рассердился на коня и легонько стукнул его кулаком по голове. А конь свалился и тот же час околел...

В молодости, до поступления в духовную семинарию, избыток сил смущал меня. Одно время думал стать борцом, и даже учился этому искусству... В Риге живет один старый борец, так тот до сих пор называет меня: коллега...

В молодости и на Волге приходилось живать. Однажды крючники задевать стали: «Ты бы, батя, с наше поработал, мешочек бы поднял». Ничего я им не сказал, взял мешочек на спину и понес его по сходням. Выпучили глаза мои крючники. «Что ты, батя, в монастыре пропадаешь? К нам иди, в крючники, большую деньгу заработаешь!» А то случилось раз такое. Колокол вернули нам из Москвы. Хороший колокол, в четырнадцать пудиков весом. Специалисты разные собрались, обсуждают, как его на колокольню поднять... Леса какие-то строить хотят или на блоках... Посудили, поспорили и разошлись... А я взял этот колокол на спину да и снес его наверх. Оно проще, да и не так хлопотно. А то еще недавно такой случай был. На взморье прибегает ко мне шофер: «Владыка, Ваше Высокопреосвященство, помогите автомобиль вытащить! В грязи завяз. Кроме вас никто не сможет — силы не хватит». Подобрал я рясу, поднатужился и вытащил автомобиль... Вот и сила пригодилась...

Долго еще слушал я удивительные рассказы архиепископа из подвала.*

---

* Владыка Иоанн был убит советскими агентами в своем подвальном помещении при весьма загадочных обстоятельствах в ночь с 12 на 13 октября 1934 года.

Вскрытие показало, что убийцы подвергли архиепископа жестоким пыткам.

# УМИРАЮЩИЙ ДВИНСК

Поезд из Риги уходит вечером, а в Двинск приходит только рано утром. Торопиться некуда — есть спальные вагоны, за ночь можно отлично выспаться, а с утра отправиться по делам. Неторопливый этот поезд имеет свое прозвище: мужики зовут его ласковым именем «Максимка».

На каждой станции «Максимка» останавливается, отдыхает минут 10, а то и 15. Как только поезд замедляет ход, из вагона на насыпь начинают лететь туго набитые мешки, лопаты, ведерки. Потом из вагона выбрасывается сам бородатый обладатель инструмента. Не торопясь подбирает свое имущество и идет к буфету III класса.

В Латгалии* малоземельным крестьянам каждый год приходится отправляться на отхожий промысел. Когда была Россия — шли в Москву, в Питер. Теперь граница закрыта. В Риге и своих безработных много. И вот русские крестьяне ездят от станции к станции в поисках заработков.

Работа одна — рытье канав для осушки болот. Труд каторжный — целыми днями стоять в болоте, по колени в воде. Платят за это гроши, но выбора нет — приходится осушать болота.

Со мной вместе ехал паренек в дырявых сапогах, жалкий и, видимо, голодный. Всю ночь жевал черный хлеб. На станции я купил колбасы и угостил его. Он поблагодарил и в одну минуту съел полфунта. Потом надул щеки, икнул и мечтательно сказал:

— Чайку бы теперь!.. Жалко, чайничка нет, а то сбегал бы на станцию, кипяточку попросил бы, тебя попотчевал бы...

— Ты куда едешь?

— В Борисовку. Работу искать.

— Что ж, дома работы нет?

— Дома ничего нет.

* Русская часть Латвии.

— А земля как же?

— Нет земли. В отца земли не было, и в меня земли нет. Безземельные мы. Не вышло, значит. Каждому по мерке, а нам не вышло.

— Трудно жить?

— Очень трудно, господин. Низкому классу теперь жить никак невозможно. Раньше работа была, а теперь — горе одно. И податься некуда... Так на болоте и сидишь, воду голенищей черпаешь, через дыры выпускаешь... Канавки роешь. И за то спасибо!..

Поезд подходит к станции, пронзительно свистит, дергается несколько раз и наконец останавливается. Часть пассажиров сходит. Вместо ушедших в вагоны врывается толпа мужиков. За ними прут бабы с лукошками. Кое-как размещаются на деревянных скамьях. Потом начинают устраивать вещи:

— Эй, тетка, убяри лукошко-то...

— Куда ж я его убяру?

— Пастой, погоди малость, для тебя вагон прицеплють...

Двое парней тянут за ноги спящего мужика:

— Борода, ты не того!.. Ножки скинь. Местов нету.

Борода храпит.

—Прикидывается, сукин сын! Тяни его за эти самые... Через этих спальных пассажиров ж... некуда положить.

В другом углу старушка рассказывает о своем горе:

— И ничего ты с такой штукой не поделаешь. Ничего. Колтун образовался. А конь хороший, работящий. Вся сила пропадает. Я его у больницу водила. Посмотрели, пощупали, проколоть, говорят, надо. Кто же его прокалывает, колтун этот? Я, милые, без мужика. У меня конь единственный. Мне прокалывать никак невозможно. Через это прокалывание конь пропадает. Тут наговор должен быть — наговор от такой болезни имеется, да только я его не знаю. И посоветовали мне съездить до знахаря...

Старушка говорит еще долго, но ее никто не слушает. Почти все в вагоне уже спят, подложив мешки под голову. Тускло светит свеча в фонаре. Раздается храп. Мужики что-то бормочут во сне, тяжко ворочаются с боку на бок, свешивают ноги на головы сидя-

щих внизу. Воздух — хоть топор вешай. Пахнет давно немытым телом, преющей портянкой, потом, кислыми щами, водкой и крепким табаком... Отправляюсь в спальное купе.

Двое мужиков останавливают меня на площадке:

— Который час будет, барин?

— Двенадцатый.

— Так... К утру, значит, на месте будем.

— А вы — русские?

— Нет, мы католики.

— Как, католики? Русские или латыши?

— Мы — римско-католической.

— Да я не про веру вашу спрашиваю. Национальности какой?

— А национальности мы будем католической. Католики, значит!

Длительное объяснение. Крестьяне стоят на своем. Они рассказывают мне, что латгальских католиков латыши называют обидным словом «чангалы». Латгальцы не остаются в долгу, и обзывают латышей-лютеран «чиулами».

— За такое слово, да если при свидетелях, у мирошки три недели полагается. Но опять же, и им не спускают — три недели за чангала...

Позже мне приходилось встречаться с такими же крестьянами. Говорят они на чистейшем русском языке, но русскими себя не называют. На вопрос о национальности неизменно отвечают: православный или католик. Среди русского населения Латвии много католиков. Вообще религиозного единства здесь нет: на крестьянскую массу распространяют свое влияние православная церковь, католическая и старообрядцы, которых в Латвии до ста тысяч.

Единственный извозчик, оказавшийся у вокзала, содрал с меня втридорога. Все же за 2 лата он взялся отвезти в гостиницу.

— Дешевле нельзя, барин! Целый день стоишь, а больше 2—3 седоков не найдешь... Тут с лошадью не прокормишься.

Только попав в Двинск, я понял, что Рига действительно имеет право быть столицей Латвии. Какая глушь,

провинция, тишина! Фаэтон безжалостно подпрыгивает по булыжнику мостовой, две-три босоногие бабы метут улицу, да солидные дворники поливают из леек кирпичные узкие тротуары. Кроме них на главной улице ни души, а уже восьмой час. На пустынной церковной площади лежат кучи навоза — здесь, должно быть, накануне был базар.



**Резекне — прежняя Режица**

Какой-то белоголовый мальчишка нацеливается на главную кучу и с разгону врезается в нее... Конский помет летит во все стороны. Посреди площади есть еще один человек, какой-то мужик, в рубахе навыпуск. Он стоит пять минут, десять, — не то ждет кого-то, не то просто любуется вывесками закрытых трактиров. А на вывесках можно прочесть чудесные вещи; только, должно быть, мужик неграмотный. На одной нарисован красавец-борец. Он держит над головой пенящийся бокал, а сбоку выведено:

«Заграничные минеральные воды». На другой вывеске «очки, пенсне и разные хозяйственные предметы». Далее местный живописец изобразил дегенеративного субъекта и снабдил его надписью: «Театральные и светские парики».

Внимание приезжего привлекают и афиши. В воскресенье в соседнем курортном городке, при участии военного духового оркестра, состоятся выборы «Мистера Погу-

лянки». Мисс Погулянка, должно быть, давно выбрана. Теперь добрались до мужчин. В синема идет германский боевик «Преступная страсть д-ра Георге». Чтобы не вводить жителей города Двинска в заблуждение, директор синема обстоятельно объясняет: «Сильная драма великой любви и великих страданий в 12 частях на животрепещущую злободневную тему о внебрачной любви, половой извращенности и ее ужасных последствиях — неизлечимых болезнях». После сильной драмы великой любви и великих страданий обещано «Черное Домино» — «роскошный современный роман в 10 частях».

Красиво живут в Двинске!

Если вам нужно что-либо купить в субботу, поезжайте в Режицу, в Ригу, куда угодно, только не в Двинск. В субботу все двинские магазины закрыты. Евреи идут в синагогу, в новых картузах и сюртуках. В этот день во всем городе работает только один еврей — рыжий чистильщик сапог, — существо в высшей степени неудачное и обремененное многочисленным семейством.

Пока он ногтями соскабливал с моих ботинок грязь, я успел узнать, что евреям живется плохо, что их в Двинске 15000, все хотят есть, а торговля стоит.

— Город умирает! Разве вы знаете, что такое был Двинск до войны? Теперь это могила...

Двинск действительно производит впечатление умирающего города. Когда-то он был важным железнодорожным узлом. Отсюда шли поезда на Петербург, Варшаву, Ригу, Орел, Либаву, Ровно. Теперь ничего этого нет. Большой вокзал Северозападной железной дороги стоит заколоченный, полуразрушенный. Вместо 120000 жителей осталось меньше 50000. Во время войны много людей бежало в глубь России, бросив свои дома на произвол судьбы. Обратно они не вернулись. Дома стоят незанятые, постепенно разрушаются, их растаскивают по частям. Закрылись железнодорожные мастерские, на которых когда-то было занято до 4000 рабочих. Слободки опустели, рабочие разъехались, торговля не идет.

...Ботинки мои давно сияли, как зеркало, а чистильщик все еще бешено наводил на них последний лоск.

— Слушайте, — сказал я ему, — мне нужно купить носовой платок, обязательно нужно. Укажите мне какой-нибудь открытый магазин...

Чистильщик сокрушенно посмотрел на меня: ему было стыдно за человека, не знающего, что такое день субботний.

— Вы не купите носового платка. Еврей не откроет лавку ради вашего насморка. Потерпите до завтра!

И он снова заработал своей бархаткой. Это был артист, король всех двинских чистильщиков, он никогда не был доволен своей работой, ему казалось, что люди созданы только для того, чтобы иметь безукоризненно начищенные сапоги...

# У СТАРООБРЯДЦЕВ В ЛАТГАЛИИ

Депутат латвийского сейма М. А. Каллистратов предложил мне съездить в деревню Борисовку, к его избирателям-старообрядцам.

— Там вы увидите настоящую Россию.

Из Двинска выехали на рассвете, часа в четыре. Было воскресенье, в разных углах Двинского и Режицкого уездов в этот день были назначены народные собрания с участием депутатов. В нашем вагоне оказалось их несколько, ехавших в свои избирательные округи.

Крестьяне, должно быть, знали о предстоящем визите депутатов. На каждой станции они ждали поезда. Увидев Каллистратова, снимали шапки и подходили с претензиями:

— Мелетий Архипович, как бы вас повидать?.. Дельце малое имеется.

— Приезжайте в среду в Режицу, тогда и поговорим.

— Господин Каллистратов, на тебя последняя надежда...

— Обижают, барин...

Депутат сердится:

— Какой я тебе барин? Стыдно, отец!

На одной станции подошла толпа мужиков. Самый старый поклонился в пояс и начал жаловаться:

— Господин Каллистратов, Мелетий Архипович, большую обиду народ терпит. Возьми меня к примеру. Погорел

я в тыща двадцать осьмом году. С прошлого года погоревши, выходит. Избенка пропала. А застрахована она была в двадцать тысяч рублей.* Четырнадцать тысяч выплатили, а за остальными все ходим и ходим. Большую обиду терпим!..

Мужики все сразу загалдели:

— А называется страховая касса от огня! Они только надсмехаются от нас. «Надо было гореть раньше, когда деньги были». Так и говорят, ей Богу! Сорок раз ездили в Режицу, а пользы никакой. Кому пятнадцать тысяч дали, кому восемь, а другие задаром ездют, лошадей зря гоняют. Изб нельзя достроить, в банях да в сараях живем.

Депутат расспросил толком, записал, обещал похлопотать.Кондуктор засвистел. Старик вдруг всхлипнул, поклонился низко и рыдающим голосом закричал:

— Большую обиду терпим! Не оставьте нас, господин Каллистратов, в темноте нашей... Понапрасну обиду терпим!..

Поезд тронулся, а старик все еще кланялся, всхлипывал, вытирал кулаком глаза и рассказывал самому себе о тяжкой обиде...

На станцию выехал за нами член волостной управы Шутов — молодой, толковый парень. Пока он запрягал лошадь, мы купили у босоногой девчонки яблок-опадышей. За мерку — большую жестяную кружку — девчонка брала 5 рублей (50 сантимов). Мужики выбирали яблоки поспелее и накладывали кружку через верх, горкой, так что выходило 5—6 лишних. Девчонка ругалась, пыталась снимать излишки, но мужики сурово покрикивали на нее:

— Ну, ты, востроносая! Деньги получай, а до яблок не касайся.

— Вот тебе четыре рубля. Хватит. Небось яблоки-то своровала...

Лошадь тем временем была запряжена, в телегу наложили свежего сена.

— С Богом!

Латгалия славится своими лошадьми. Рыжий наш жеребец сразу пошел крупной рысью. И тут я разом почув-

* 2000 старых франков.

ствовал себя на территории бывшей российской империи. Дорога была ужасная, вся в ухабах. Нас бросало и швыряло во все стороны, пыль стояла столбом, солнце пекло немилосердно.

— Это еще ничего!.. А вот осенью тут не проехать. На большаке еще кое-как, а тут, на проселочной, не выберешься... Лошади по брюхо.

До Борисовки было верст 12. Вокруг нас широко раскинулись поля. Приближалось время жатвы, золотая рожь волновалась под ветром, ходила волнами. На горизонте стояли ветряки; было воскресенье, ветряки не работали. Какой-то парень в кумачовой рубахе бежал межей, размахивая руками, что-то кричал нам. Шутов попридержал лошадь, подождал бежавшего:

— Мелетий Архипович, а я вас караулил. Мне нынче сказывали, что вы в Борисовку поедете. Дельце до вас есть.

— Приезжай в Режицу, там поговорим.

Потом остановились на полпути, у избы председателя центрального старообрядческого комитета Колосова. Хозяин сидел в красном углу, под образами, закусывал и пил чай. Борода его веером раскинулась по вышитой синей рубахе; брови, необычайно длинные и закрученные, как усики, торчали вперед, и глаза посматривали весело, лукаво.

— Собрание у вас... А я на охоту собирался. Ну, да уж поедем вместе. А пока лошадь покормят — милости прошу, стаканчик чая.

На столе по случаю Успенского поста стояла рыба, грибы, свежий мед, варенье.

— За холмом Борисовка будет!

Через пять минут мы вкатили в деревню, вытянувшуюся по обеим сторонам большака. Избы стояли черные, покосившиеся от времени. Собаки с яростью на нас набросились, но их быстро отогнали кнутами. Оказалось, что собрание придется отложить на час: на деревне умерла старуха, и теперь ее отпевали. Пошли поглядеть на похороны.

Старообрядческая молельня была полна. Слева, за особой перегородкой, стояли женщины в черных платках. Справа — мужчины, все бородачи, в длинных кафтанах до земли. Народ все время прибывал. Крестьяне входили,

низко кланялись обществу, трижды крестились и застывали неподвижно, как в строю. И на всех лицах, у дряхлых стариков, у молодых, у малых детей, было одно и то же выражение: торжественное, сосредоточенное и умиленное. Впереди, у стены с иконами, на двух табуретах стоял гроб с покойницей. Начетчик ходил с кадилом, а толпа грамотных мужиков у аналоя нестройно пела молитвы.

Они пели монотонно, бабы подпевали тоненькими голосами; их пение было страшным, рыдающим. Наступил момент прощания. Из толпы по двое стали выходить мужики. Становились по бокам гроба, низко кланялись всему миру. И все молящиеся кланялись им в ответ. Потом прощавшиеся крестились, падали ниц, били покойнице земной поклон, трижды касаясь лбами холодных плит молельной. А встав, кланялись друг другу и уступали место.

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, — заунывно тянул хор. Тяжко вздыхали мужики, чаще крестились, били поклоны. Наконец, кончилось прощание. Гроб заколотили, подняли на полотенцах и понесли под гору, на кладбище. Там росли высокие травы, шумели столетние сосны, оттуда открывался вид на бесконечную равнину. На звоннице ударили в «било», и, пока закрывали покойницу, погребальный звон плыл над равниной, над полями, над далекими деревнями и хуторами...

Послушать депутата собралась вся деревня — стар и млад. Накрапывал дождь, но несмотря на это, люди простояли под открытым небом два часа, внимательно слушая оратора. Только когда дождь полил как из ведра, перешли в молельную...

Депутат говорил о насущных крестьянских нуждах, о том, что мало земли, что нет леса, что пора выходить на хутора, да нет для этого средств. Толпа поддакивала:

— Правильно, Мелетий Архипыч, правильно!

Какой-то рослый мужик в армяке вдруг вырвался вперед и ни с того, ни с сего бешено закричал:

— А почему такой беспорядок происходит? Потому что не идем один за однём. Сил у нас не хватает.



**Старообрядцы Латгалии.
В первом ряду: депутат М. А. Каллистратов,
староста Колосов и Андрей Седых**

Я извиняюсь, господин Каллистрáтов, почему с меня дважды подушный налог взяли? Подсунули бумажку: подпишись, да и ступай вон! Потому, не идем один за однем!

Затем опять говорил Каллистратов. Когда он упомянул о журналисте, приехавшем из Парижа, чтобы поглядеть, как живут русские люди, крестьяне все поклонились:

— Это спасибо, что не забывают!

Зашли на минуту к старосте и начетчику меду попробовать, а потом отправились в дом к Шутову, где уже был накрыт стол. В избу набилось человек двадцать. Пошли вокруг стола стаканы и кружки с крепким пивом, крестьянской «кумушкой», от которой люди быстро хмелеют. Накануне хозяин сварил 15 ведер пива, и теперь предстояло его выпить...

За столом сидели часа три. Хоть и был пост, но молодые ели баранину, мясные щи, котлеты. А старики закусывали огурцами, жареными ершами, селедкой. Стаканов было мало, они переходили из рук в руки, и женщины, не садившиеся за стол, подливали, подавали новые тарелки и смиренно кланялись:

— Извините, пожалуйста!

В избе становилось душно, хмельно; постепенно все заговорили, перебивая и стараясь перекричать друг друга. Потом запели молитвы: старообрядцы не поют песен. Пели заунывно, опустив головы на грудь, размахивая в такт руками... К концу обеда стали подходить крестьяне и рассказывали все одно и то же: о подушном налоге, о недоимках, о том, что надо бы молельню отремонтировать, да денег нет, да и канаву не грех вырыть для осушки болота.

— Земля у нас сырая, холодная. Влаги этой самой много. Ты ковырни ее, землю эту, из-под сапога вода идет... Оттого и родит плохо. В других уездах нынешний год урожай, овсы по пояс, а у нас от земли не видать...

— ...Ну, выпьем, Сядой!..

Подошел старик в драном армяке. Начал расспрашивать:

— Как там у вас, у Парижу, мужики живут? Как у нас али как лучше?..

— Нет в Париже мужиков, отец!

— Понимаю. Торговый город, значит. Вроде как Рига. Но как вы приехавши, то вам виднее будет. А только мы здесь очень отощали. Прошлый год такая бяда была, такая бяда!.. Где градом побило, а где водой затопило. И выдали нам семена — за это им, правительству, значит, спасибо. Только долги заели. Прямо душат и душат. Ты посуди: зямли двенадцать десятин, а детей семеро — мал мала меньше. На рубаху денег нет, пинжак в дырках, с людей, барин, стыдно! Так и ходишь оборванный, как цыган какой-нибудь. И работы нет никакой. Раньше пойдешь в Россию, зиму проработаешь. Домой вернулся, а в кармане семьдесят, а то и 100 целковых. И живи спокойно. А теперь куда пойдешь?..

Говорили речи, качали депутата, качали приезжего жур-

налиста... Потом на руках несли до лошадей, и на прощание просили:

— Вы уж нас у Парижу не забудьте. Напишите за нас, может, облегчение какое выйдет! И покорно вас благодарим, господин Сядой.

На козлы сел Колосов, хлестнул изо всей силы и пустил коней вскач. Мы летели по страшным латгальским дорогам, схватившись друг за друга, еле удерживались на поворотах. Встречные люди сторонились, а депутат привычным жестом снимал шляпу и ласково кричал бабам:

— Ну, прощайте, тетушки!

Двенадцать верст проскакали без передышки, но к поезду все же опоздали. Ночью пришлось сидеть в буфете, тускло освещенном лампой «молния», пить бесконечные стаканы чая и говорить о тяжкой нужде латгальского крестьянства.

# НА ГРАНИЦЕ СССР

Попасть на советскую границу нелегко. Пятнадцативерстная пограничная полоса находится на военном положении. В каждом чужом, не местном, человеке видят шпиона. Здесь их действительно много — вся местность кишит ими. Документы могут быть в образцовом порядке, но первый же встречный пограничник задержит вас и препроводит в политическое управление. Пока будут сноситься с Ригой, устанавливать личность задержанного — пройдут 2—3 неприятных дня... Поэтому я решил обставить свою поездку всеми мерами предосторожности.

Министерство иностранных дел всячески облегчает задачу журналистов. Но когда директор отдела печати А. X. Бильман узнал о моем намерении побывать на границе, улыбка сошла с его лица:

— Это будет очень трудно, очень трудно...

— Альфред Христофорович...

Доктор Бильман — сам старый профессиональный журналист. Он понял и отправился к министру. Через десять минут зазвонили телефоны. Министерство иностранных дел снеслось с министерством внутренних дел. Отсюда

дали знать в пограничное управление. Из управления протелеграфировали на границу о предстоящем визите журналиста. На всякий случай д-р Бильман снабдил меня карточкой, открывающей все двери.

— Теперь — поезжайте... Только не попадите по ошибке на советскую территорию!..

До отхода петербургского поезда оставалось двадцать минут. Я вышел на платформу. Все вагоны были латвийские, и только в голове состава было два советских: «мягкий» спальный и «жесткий» — по-старому III класс. На вагонах было тщательно выведено:

РИГА — ЛЕНИНГРАД
ЧЕРЕЗ РИТУПЕ, ОСТРОВ И ПСКОВ

Рядом прогуливался верзила в синей форме советского железнодорожника. Я спросил, нельзя ли ехать в его вагоне?

— Ежели в Латвии остаетесь, то нельзя. А которые до Пскова или Ленинграда — пожалуйте. За два червонца в мягком. Спи всю ночь в полное удовольствие. Через границу переедем — шибко пойдем. А тут на каждом полустанке останавливаются.

— Много народу в Россию едет?

— Не особенно. Больше наши, советские. Которые из командировок возвращаются, служащие из полпредств разных... Эти нос дерут. Или нэпманы заграничные — англичане да немцы. И наши нэпманы — те больше из жидов.

— Как, из жидов! Я думал, вы коммунист, а оказываетесь антисемитом...

— Коммунист и есть. Ленинского набора. С двадцать четвертого года в партии состою.

— А разве можно коммунисту «жид» говорить?

— Коммунист, гражданин, то особая статья, а жиды — особая. Раньше помалкивать приходилось, а теперь можно сколько угодно. Теперь Троцкого нет. Был да весь вышел. Троцкий у еврейской нации в главных заступниках состоял. А как сняли его с работы за предательство рабочего классу, то и этой самой нации туго пришлось — на них

чистку устроили. Я, может быть, на всех фронтах бился, и мне еврейские нэпманы из мягкого в морду смеяться не имеют никакого полного права...

На этом разговор наш прервали. Поезд тронулся...

В купе было еще два человека, с которыми меня познакомили в Риге: член пыталовской уездной управы С. И. Трофимов и начальник латгальской пограничной стражи капитан Янсон. Ехали мы вместе до станции Яунлатгале — бывшее Пыталово.

— Тут до вас один журналист из Парижа приезжал, — рассказал мне С. И. Трофимов. — Из «активистов». Собирался пробраться в Россию «с целью совершения террористического акта». На самом деле нужно было ему наладить связь на той стороне. Приезжает он зимой. Выхожу на станцию встретить его. Стоит трескучий мороз, всюду горы снега. Из вагона выходит человек с мрачным лицом заговорщика. На нем — черная фетровая шляпа с широкими полями, легкое демисезонное пальто и открытые туфли. Вид у него был адски конспиративный. Не хватало только кинжала и плаща. Сжал мне руку, испытующе посмотрел в глаза: можно ли, мол, довериться, и глухим голосом сказал:

— Найдите мне верного проводника!

Проводник нашелся и парижский «активист» через день уехал... в Париж.

Спать нам не хотелось. Начал расспрашивать капитана о жизни на границе.

— Скучать нам не дают... Часто перебегают. Еще недавно, ночью, на латвийскую сторону пришла группа ободранных мужиков. На них страшно было смотреть. Привели их в караульный дом, а они просят: «Христа ради, дайте хлебушка... Помилосердствуйте, отощали больно!» Пограничники сжалились, дали им по краюхе хлеба. У мужиков — слезы из глаз: не знали, как благодарить! Следующей ночью мы отпустили их обратно. Но их задержали там при переходе... Должно быть, в Сибирь теперь отправят... Бегут духоборы, прожившие несколько лет в коммунистическом «раю». Они приехали из Канады с боль-

шими средствами, оставили в России тысячи долларов, и теперь счастливы, что вырвались.

В конце июня* был такой случай: границу перешла целая семья из четырех человек. Добровольно явились на первый же пост:

— Спасите! Больше не было сил...

Надо вам сказать, что просто беженцев мы обязаны возвращать обратно. Иначе к нам из России хлынули бы десятки тысяч людей. Но политических мы оставляем. Возвращать таких — значит, подводить людей под расстрел. Начал я допрашивать: кто такие, почему перешли границу? Вижу — интеллигентные люди. Отец семейства — инженер, бывший полковник. Я сам Владимирское Военное Училище окончил когда-то... Короче говоря, вижу, что этих людей нужно оставить в Латвии. Были они измучены, напуганы, буквально дрожали на допросе... Я их успокоил и пригласил пообедать. И вот, когда эта семья очутилась в столовой, за столом, уставленным едой, инженер не выдержал и расплакался:

— Спасибо... Если бы вы вернули меня за кордон, клянусь вам, я повесился бы на первом же суку!..

Наутро приехали в Пыталово, расположенное всего в четырнадцати верстах от границы. Это — предпоследняя латвийская станция. Прихода поезда ждала толпа ободранных крестьян, окруживших Трофимова. Пыталово — совсем русское местечко, население здесь сплошь русское, православное. Есть управа, и в ней четыре члена: два русских и два латыша. На 108000 жителей в уезде около 50000 русских.

Когда-то здесь была куцая деревенька, а теперь латвийское правительство решило создать уездный город. Всюду строят новые дома, возят лес, камень. По дворам стучат топоры. Какой-то босоногий парень кричит сиплым голосом:

— Митя, а Митя... Иди, что ли, подсоблять!..

Митя не появляется, и парень покорно принимается ворочать бревна в одиночку.

Баба с коромыслом идет по воду, лукаво поглядывает

* Этот и большинство сообщаемых ниже фактов относятся к лету 1929 года.

из-под платка, низко надвинутого на глаза... Стая белоголовых, босоногих ребятишек хоронит живую кошку... На пустырях перекликаются петухи. Изредка на главной улице прогрохочет телега, а потом снова наступает тишина. Только гудят телеграфные провода...

По средам в Пыталово бывает базар. Из окрестных деревень приезжают сюда крестьяне, продают и покупают, а после сделки отправляются в чайные или колониальные лавки — за гостинцами. Но в этот день базара не было, улица была пустынна, во всем местечке нашелся один-единственный праздношатающийся человек — чудак, приехавший из Парижа ради этих босоногих ребятишек, горластых петухов и бревенчатых изб...

На следующее утро, часов около девяти, к крыльцу подали два тарантаса, запряженных сытыми латгальскими лошадьми. Дул холодный ветер, моросило. Легкое парижское пальто оказалось для поездки непригодным. К счастью, у Трофимова нашелся бараний полушубок и синий картуз, заменивший шляпу с Итальянского бульвара. В полушубке было тепло и уютно, а кожаный козырек картуза защищал глаза от ледяного ветра.

Капитан сел со мной в первый тарантас, С. И. Трофимов поместился во втором вместе с районным начальником. Возница в военной форме положил на всякий случай револьвер в кобуру. Мы покатили, подпрыгивая на ухабах.

Выехали за деревню. Капитан сказал:

— До границы четырнадцать верст. Но когда мы приедем туда, чекисты уже будут знать, кто едет и зачем.

— Каким образом?

Капитан ничего не ответил...

Позже я узнал, что агентура по обе стороны границы поставлена превосходно. На латышской стороне имеются советские агенты, но и немало чекистов дают сведения латвийской разведке. Все это, конечно, хорошо оплачивается. Зато начальник латвийской пограничной стражи за два дня вперед знает о предстоящем переходе важного советского агента, о том, где он попытается перейти и с каким именно поручением идет в Латвию.

— Впрочем, у большевиков теперь новая система. Когда им нужно переправить через границу какого-нибудь агента, вдруг на определенном участке они поднимают стрельбу. Дело происходит ночью. Естественно вдоль границы тревога. На этот участок немедленно стягивают все силы. Будьте уверены, что в это самое время на соседнем участке с ослабленной охраной советский агент переходит на нашу сторону. Не всегда переход этот проходит для него благополучно. Мы узнаем и вылавливаем чужих раньше, чем они успевают добраться до станции и сесть в поезд. Вот и вчера вечером мы поймали одного чекиста... Но самое неприятное — это то, что чекисты вооружены до зубов и не сдаются без боя. Недавно еще они убили таким образом одного латвийского пограничника.

Этим летом был такой случай: кто-то из советских пытался бежать к нам. Должно быть, чекисты знали, в чем дело. Отрезали ему дорогу. Дело происходило в ста саженях от границы. Перебежчик залег в кусты и стал отстреливаться из нагана. Наши хотели спасти человека, но едва лишь они показывались из-за прикрытия, чекисты открывали по ним огонь. Так они и пристрелили беднягу — на своей, правда, территории. Кто был этот несчастный, мы так и не узнали...

Лошади заморились и пошли шагом. Мы проезжали деревни, разбросанные вдоль дороги. Проехали древний Вышгород на холме. Здесь при царе Иоанне Грозном был стрелецкий аванпост — отсюда высматривали стрельцы приближение врагов к московской земле. Теперь Вышгород — простое село, давно утратившее память о прошлых событиях...

Дул северный холодный ветер. Над голыми полями ползли низкие облака. Стал накрапывать мелкий дождь. Вдруг мой спутник приподнялся на сиденье и показал вперед рукой:

— Видите эту рощицу? Там — Россия.

Россия показалась сразу за поворотом дороги. Мы выехали на берег небольшой речонки Лжа.

— Левый берег — латвийский. Правый принадлежит советской России.

Всего 10—15 метров отделяли меня от России. Лжа текла лениво, теряясь в песках. Даже мелкие камни торчали из воды; посреди реки рос густой тростник. Десятилетний ребенок мог бы перейти здесь вброд.

Русский берег мало чем отличался от латвийского. Те же холмы, кустарники, лес на горизонте. Несколько бревенчатых покосившихся изб. Некоторые избы заброшены, их теперь растаскивали на дрова. Хозяева либо бежали в глубь России, либо их выселили в Сибирь. Вдоль всей советской границы можно видеть такие полуразрушенные избы, даже целые деревни, брошенные на произвол судьбы; население их оказалось неблагонадежным, власти угнали крестьян из пограничной полосы. Иногда на место угнанных присылают коммунистов, наделяют их землей, лесом, готовыми домами. Таким путем за последние годы в пограничной полосе образовалась довольно значительная коммунистическая прослойка. Новопоселенцы одновременно играют роль агентов ГПУ, внимательно следят за границей, за движением в пятнадцативерстной полосе и имеют право арестовывать подозрительных людей. Правом этим они широко пользуются. Самое трудное — не переход границы, а пограничная полоса. Здесь все знают друг друга, за каждым следят, отсюда нужно выбраться, не встретив ни одного человека, ибо первый же встречный донесет в ГПУ.

Отправились берегом Лжи. Шли довольно долго, не встречая ни души. Казалось, попали в какое-то мертвое царство, в чумную полосу, которую избегают живые люди. Время от времени в кустах раздавался пронзительный свист. Как из-под земли вырастал латвийский пограничник, вытягивался в струнку и рапортовал начальству. На одном участке нам сказали, что прошлой ночью была стрельба. С советского берега кто-то открыл огонь по латвийским пограничникам. Всего было выпущено пять пуль. Одна попала в крышу сторожевого поста.

Наконец-то мы увидели советских граждан. На противоположном берегу, у самой воды, два мужика косили траву. Шли они босиком, равномерно помахивая косами, и

ряды мокрой высокой травы бесшумно ложились им под ноги. Трофимов крикнул:

— Бог на помощь!

Мужики остановились как вкопанные, разинув рты. Потом снова принялись косить, так и не ответив на наше приветствие. Капитан объяснил, что под страхом выселения советским гражданам запрещается разговаривать с людьми с латвийской стороны. Достаточно одного слова, чтобы попасть в Сибирь. Сколько драм разыгрывается на этой почве! Есть деревни, разрезанные пополам. Часть отошла к Латвии, другая осталась за Россией. Сын живет на одном конце деревни, отец на другом. Проходят годы, и эти люди глядят друг на друга только издали, не смеют сказать ни одного слова. На одном хуторе зажиточная крестьянка жаловалась мне, что ее мать, живущая в семи верстах от границы, нищенствует.

— А я ничем помочь ей не могу. И писать боимся. Там старуха с голоду помирает, а мы здесь хлеб свиньям скармливаем...

В самом начале, в голодные годы, существовали на границе товарообменные пункты. Тогда еще крестьяне сходились на час-другой, помогали друг другу. Теперь все это кончилось: двери огромной тюрьмы наглухо закрылись...

— Советский пограничник!

Из-за угла хаты вышел человек в длинном непромокаемом плаще. Я надеялся увидеть остроконечный шлем, но был разочарован: советские пограничники носят вместо шлема зеленую фуражку старого образца.

Он шел вразвалку, руки в карманах, и винтовка ненужно болталась за его спиной...

Пограничник остановился и стал нас внимательно разглядывать. Увидев, что мы собираемся сниматься, он поспешно отошел в сторону и забрался в наблюдательную яму, из которой виднелась только его голова. Мы снялись, потом медленно пошли вдоль берега. Советский пограничник вылез из ямы и пошел за нами следом, не отставая ни на шаг. Мы остановились, остановился и он. Двинулись дальше. Чекист шел за нами с деланно равнодушным видом.



**На советской границе**
**На берегу реки Лжа.**
**Слева направо: Андрей Седых, С. И. Трофимов, капитан Янсон. В кружке, по другую сторону реки, выглядывает из ямы советский пограничник**

В одном месте мы поднялись на мельничную запруду и дошли по узкой плотине до середины реки. Здесь плотина была поделена на две части — мельник протянул поперек колючую проволоку. Дальше нельзя было идти — дальше была советская территория, там ждал чекист с винтовкой...

Запруду починяли. Двое мужиков на плотине пилили бревно. Третий полез в воду, как был — в штанах. Он стоял по колено в ледяной воде, налаживал бревно, лязгал от холода зубами и громко матерно ругался.

Трофимов крикнул:

— Мишка, подойди-ка сюда!

Мишка вылез из реки. С его заплатанных штанов, прилипших к телу, в три ручья лила вода. Он любезно осклабился, снял картуз и бойко поздоровался:

— Сергею Иванычу... Мое нижайшее.

— Слушай, братец. Можешь ты за полсотни латов этого господина на ту сторону доставить?

Мишка стыдливо засмеялся:

— Шутить изволите, господа хорошие...

Но капитан с напускной серьезностью сказал:

— На этот раз тебе препятствий чинить не будем... Что же? Переведешь?

— Шутить изволите! Пущай сами идут — дорога свободная, речка неглубокая...

— Да ты брось дурачиться. Ведь поймали тебя раз на этом самом деле?.. Водил же?

— Это дело прошлое. С меня хватит. Больше не интересуюсь...

Мишка надел фуражку и снова полез в воду. Это был знаменитый на весь уезд контрабандист, специалист по переводу на советскую сторону. Была у него еще и другая профессия — он тайно служил в чека. Однажды его уже выслали из пятнадцативерстной полосы, потом вернули, и теперь он находится под наблюдением...

— Заедем к Федору Ивановичу. Миллионер из крестьян.

Федор Иванович разбогател на товарообмене в голодные годы. В лютую зиму 1921 года из Пскова, из Острова, из всех советских городов, сел и деревень тянулись на границу крестьянские подводы со своим и чужим добром. Были здесь штуки грубого домашнего полотна, исхудавший скот, иконы, винтовки — все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность. Были здесь вещи из разграбленных барских усадеб — старинная мебель, картины, статуи, золото и серебро... К вечеру мужики возвращались с пунктов сытые, пьяные, довольные, — они везли с собой муку, ржавые селедки, бутылки с водкой... В эту зиму много народу разжилось на чужом несчастье: каждый день от границы уходили составы с добром, вымененным за гроши на хлеб и масло.

— До чего тогда народ исстрадался, представить себе трудно, — рассказывал Федор Иванович. — Я еще божескую цену давал, а другие так задаром товарообмен производили. Тот ему самовар тащит, а этот пять фунтов муки отвешивает. Не хочешь, вези самовар свой обратно... И сколько тогда этого самого сахарину в Россию пошло — вагонами отправляли!..

— А теперь как? Контрабандой занимаются?

— Теперь ничего подобного. Совсем граница закрыта. И подходить близко не стоит...

— А не боитесь жить близко от границы?

— Привыкли. А раньше ночами не спали. Вдруг нагрянут красные, разграбят да поубивают? А потом будут говорить, что бандиты приходили... В наших местах такое дело случилось. Было это в двадцать втором году. Деревню Пустое Воскресенье на том берегу знаете? Верстах в четырех отсюда. Так вот, деревня эта была неспокойная. То ли они комиссара раз убили, то ли еще что... Только как-то ночью красные деревню подожгли со всех сторон, никого не предупредивши. Мужики из окон прыгают, а те по ним стреляют. Чтоб, значит, никто не спасся. Так всех и перебили... А в той деревне у нас родственники были — у кого брат, у кого кум, у кого зять...

Часа два просидели у Федора Иваныча, слушая его рассказы.

— Знаете ли вы историю с картузом? — спросил меня на обратном пути Трофимов. — Нет?

Живет сейчас в деревне Пыталово малый лет пятнадцати. Шустрый паренек. Хочет стать контрабандистом. Пока еще молод, но тренируется... В прошлом году малый решил купить к празднику новый картуз. Дело простое, но кто-то сказал ему, что в деревне Синий Никола картузы чуть ли не задаром дают. А надо вам знать, что Синий Никола — деревня советская, верстах в двадцати от границы. Малый уперся, твердо решил за картузом на ту сторону сходить. Раздобыл где-то червонец, зашил его в рубаху, и ночью перешел через границу.

На следующую ночь возвращается в Пыталово. На голове новый картуз.

— Где купил?

— А в Синем Николе.

— Врешь! В Вышгород ходил или в Ритупе...

Вынимает из-за пазухи пачку советских газет и с торжеством кладет на стол.

— Откуда газеты?..

— А из Синего Николы. Прихожу в деревню. Первонаперво в лавку, картуз купил. А потом пошел по деревне. Вижу изба-читальня стоит открытая. Захожу. На столе газеты лежат, а избача нет. Туды-сюды, забрал газеты, и ходу!.. К вечеру на границе был.

— Не боялся, что поймают?

— Нет, чего бояться?! Мы тутошние. Которые ночью переходят, тех подстрелить могут. А днем иди прямиком, никто не окликнет. Раз только поймал меня советский, на самой, можно сказать, границе. «Ты откуда?» — спрашивает. «Из той деревни, товарищ!» Он и поверил. «Иди, говорит, да тут больше не шатайся, а то заарестую...» Отошел он малость, а я в кусты — и через границу...

# НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

С утренним петербургским поездом отправились в Ритупе, бывшее Жогово. Это последняя латвийская станция. Дальше начинается СССР.

Пассажиров в поезде было мало. Латыши все вышли в Пыталове; в «мягком» же советском вагоне осталось всего два человека: упитанный гражданин и дама в сиреневом свитере. Оба готовились к осмотру багажа таможенниками. Для легкости упитанный гражданин сбросил пиджак. Под пиджаком оказалась шелковая рубаха с крупной монограммой: гражданин, видимо, был из важных пролетариев. Он неторопливо открыл чемодан светлой свиной кожи, а затем аккуратно и со вкусом принялся раскладывать по койке множество новых благоприобретенных за границей вещей: какие-то перламутровые зажигалки, бритву «жилет» в сияющем металлическом футляре, флаконы с духами и коробки пудры. Должно быть, это была контрабанда. Гражданин полюбовался еще раз своими покуп-

ками, просвистел под нос что-то веселенькое, и стал рассовывать коробки и флаконы по разным карманам. Покончив с контрабандой, он снял с верхней полки корзинку с провизией, закопченный эмалированный чайник и примус... Примус привел меня в умиление: человек в шелковой рубахе, должно быть, возил его по всей Европе, примус побывал в Париже и в Берлине, в первоклассных отелях, в пульмановских вагонах, в международных спальных, с ним не расставались, его хранили как зеницу ока...

На станции Ритупе из вагонов вышли решительно все, кроме гражданина в шелковой рубахе и его спутницы.

После завтрака мы выехали на границу. Проехали с четверть версты по проселочной дороге, свернули в сторону и попали на берег речонки Утроя. Рассказывали о ней такую легенду:

— Граница проходит по двум рекам: Лжа и Утроя. Поспорили раз эти реки: которая скорее до моря добежит? Условились выходить утром. Одна сдержала слово, утром побежала, а другая с ночи отправилась в дорогу. И вышло так, что выбежавшая ночью потерялась в песках и болотах. За обман этот зовут ее с тех пор Лжа. А реку победительницу называют «Утро-я»... Правда, несложно?

На советском берегу урожай был уже снят, овес стоял в пятках.

— Здесь, вдоль границы, они стараются не ударить лицом в грязь. А отойдите немного подальше, увидите, что поля стоят заброшенные, деревни полуразрушенные. Дело в том, что в прошлом году весь этот край с советской и латвийской стороны постиг неурожай. Латышское правительство выдало своим крестьянам семена, а советское ничего для своих не сделало... На посев у большевиков получили только хозяйства вдоль границы. Остальные были предоставлены сами себе. Крестьяне, конечно, побросали хозяйства и ушли в города, на заработки.

У будки № 202 мы пересекли полотно железной дороги. Справа — первая советская станция, Брянчаниново. В трех шагах от нас советская территория. На высоком шесте набита жестяная красная звезда, а на ней — серп и молот.

Тут же рядом топографическая вышка. Два устоя ее упираются на латвийскую территорию, два других находятся на советской земле. Съемки давно кончились, и на вышку эту подниматься строжайше запрещается. Впрочем, большевики однажды запрет нарушили. Произошло это при довольно забавных обстоятельствах.

Время от времени в советском Острове или латвийском Пыталове происходят совещания представителей пограничной стражи. На одно из этих совещаний приехал в Пыталово председатель ГПУ Острова Ильин. Явился вопреки международным правилам при револьвере. Вошел к капитану Янсону, не сняв фуражки. К чаю и к завтраку не прикоснулся — должно быть, боялся, чтобы его не отравили.

Вопросы, подлежавшие обсуждению, были важные. Совещание затянулось. Около шести часов вечера с поста доносят, что на топографическую вышку взобралось несколько человек. Смотрят в бинокли в сторону Пыталова.

Оказывается, встревоженные продолжительным отсутствием начальника, чекисты подняли тревогу. Из Пскова на подмогу примчались шесть автомобилей — выручать Ильина. Устроили наблюдение за станцией: куда отправят председателя ГПУ? Председателя отправили на советскую границу.

Отличные цейсы у пограничной стражи: видимость 20 километров. Вот я мысленно перехожу границу, спускаюсь с холма и иду по пыльной ухабистой русской дороге. Покос кончился; поля стоят обнаженные, мужики заняты уборкой скирд. Всюду куда хватает глаз — красные, белые, синие рубахи, раздуваемые ветром. Лохматый рыжий конек выбивается из сил — тянет в гору воз с сеном. Вдали белая церковь села Дубки. Я знаю, что следующее село — Елино, а за ним, у самого леса — Опанькино. Всего в полуверсте от меня советский сторожевой пост, но если на минуту забыть об этом, останется Россия: речка Лжа, деревушка в овраге, белая колокольня и рыжий лохматый конек...

Впрочем, забыть о сторожевом пункте не удается. На крылечке появляется пограничник. Поглядел в нашу

сторону и скрылся в доме. Через минуту во дворе уже шесть советских пограничников. Один вытащил бинокль и смотрит на нас, не отрываясь. Должно быть, наша группа его заинтересовала. Начальника района он отлично знает, помощника тоже, часовые с винтовками не возбуждают любопытства, но кто — двое штатских? Долго, вероятно, ломали они себе над этим голову...

— Видите церковь? — спросил меня сопровождавший пограничник. — Это в селе Дубки. Раз в три недели священнику там разрешают служить. А все остальное время он работает в поле, как батрак. Земли ему не дали. Как зазвонят к обедне, так сейчас весь комсомол Дубков собирается и шествует мимо церкви с пением и музыкой. Мы все это с нашей стороны отлично видим и слышим. Приходят они на двор пограничного пункта. Тут сейчас танцы устраивают, радио слушают или митингуют. Старшие в церковь идут, а молодняк на двор к пограничникам — танцы соблазняют... Вообще молодняк в пограничных деревнях — сплошь комсомольский. Они имеют оружие, им дано право арестовывать подозрительных. Комсомольцы даже премию получают за арест человека, нелегально перешедшего границу.

Мы спустились с холма и пошли низом вдоль узкой канавки, отделяющей Россию от Латвии. Канавка эта прорыта вдоль всей сухопутной границы, она совсем неглубокая — пол-аршина.

— Перешагните и вы — в России...

Должно быть, спутник мой чувствовал, что я хочу перейти запретную черту и взять немного родной земли... Это очень тяжелое чувство: Россия здесь, рядом, но доступ к ней закрыт. Всего один шаг, но как трудно его сделать!..

Мы остановились у хутора «Рощицы». Место пустынное, все вокруг спокойно. Ни души.

— Я перехожу.

В это же самое мгновение шедший за нами часовой дал резкий, тревожный свисток. Один, другой...

— Назад! Не двигайтесь!

В кустарнике, в двадцати шагах от нас, появился советский пограничник. Остановился как вкопанный.

— Назад! Иначе он будет стрелять!

Мы стоим с одной стороны канавы; человек с красной звездой на фуражке — с другой. Стоим молча, всматриваемся друг в друга. Проходит томительная минута. Пограничник вдруг делает кругом-марш и исчезает в кустах. Должно быть, залег в своей наблюдательной яме... Ждать теперь бесполезно; он, если нужно, пролежит в кустах до самого вечера.

Чтобы сбить с толку наблюдателя, заходим на хутор. Мужики где-то в поле. Дом сторожит глухая старуха и босоногий мальчонка в заплатанном полушубке.

Быстро знакомимся:

— Тебя как зовут?

— Толька.

— В школу ходишь?

Толька явно недоумевает:

— Цо?

— В школу учиться ходишь с ребятами?

— Не.

— А на той стороне бывал?

— Не... Там красные. Там шпикулянта убили.

— Какого спекулянта?

— Не знаю. Тятька сказывал. Красные убили ночью. У них и остался лежать...

Тольке всего четыре года. Про школу он никогда не слышал, но о «шпикулянте» и о том, как «красные рубают», он умеет отлично рассказать. Пограничное воспитание.

— Ну, как он?

— Лежит, не двигается!

Махнули рукой и пошли обратно к топографической вышке. Может быть, там никого не будет. Отошли с версту. Снова как на ладони виден советский пост, но до него довольно далеко. Эти не помешают.

Прыгаю через канавку. Каблуки глубоко уходят в мягкую желтоватую глину.

Восемь лет я не был в России. Теперь снова стою на родной земле. Немного кружится голова. Приятно...

Отхожу в сторону, делаю несколько шагов по полю. С латвийской стороны кричат:

— Торопитесь... Нагрянет пограничник — плохо будет!

В кармане у меня припасена бумажная торба. Высыпаю в нее пригоршни жирной, мягкой земли. Потом оглядываюсь: вдоль дороги растет милая белая кашка, какие-то стебли, травы... А рядом — лен. Нагибаюсь к сладко пахнущей земле, набираю большой букет простых полевых цветов...

Надо возвращаться. Вторично перехожу границу. Десять шагов, и я снова в Латвии...

Мы идем вдоль узкой канавки, отделяющей Латвию от России. На советской стороне три бабы собирают лен. Стоят близко, у самой дороги.

— Здравствуйте, Бог на помощь!..

Как по команде, бабы поворачиваются к нам спинами.

Немного дальше мужик пашет, готовит землю под озимые. Увидев людей «оттуда», уходит подальше в поле.

Через пять минут два пастушонка бросают коров на берегу Утроя и стремглав бегут в деревню. Всюду наше появление вызывает поспешное бегство. В чем дело?

— Страх. Людям с «той» стороны запрещается не только разговаривать с латышами, но даже смотреть на латышскую сторону. Горе тому, кто подойдет к границе и заговорит с людьми из-за кордона!

Это может показаться невероятным, но на латвийской стороне есть коммунистические деревни.

— Как могло это случиться? Люди живут у ворот «коммунистического рая». Достаточно подойти к границе и сравнить. На латвийской стороне крестьянин сыт и обут. Правительство отпускает ему лес на починку избы, в неурожайный год — семена. Хлеб и лен он продает по сравнительно высоким ценам. Русские крестьяне из Латгалии почти все в сапогах. На советской стороне крестьяне в лаптях или босиком. Это мелочь, но крестьянин ее замечает и делает из нее выводы. Крестьянам с латвийской стороны отлично известно, как живется их кумовьям,

сыновьям и невесткам, оказавшимся по ту сторону границы. Не сгладились в памяти и голодные годы, когда мужики толпами переходили границу, моля о хлебе. Помнят о прошлогоднем неурожае; весной советский крестьянин резал скотину, а крестьянин латвийский получал в это время правительственную и общественную поддержку. Отлично знают об арестах, расстрелах, выселениях. Знают, но...

— Мы, барин, не красные, — говорили мне мужики одной из «коммунистических» деревень на латвийской стороне. — И спаси Господь, не коммунисты! Это нам не подходит никак. А мы — русские. Опять же — податься некуда.

В этом «податься некуда» кроется разгадка занимавшего меня вопроса. Русские крестьяне в Латгалии живут бесконечно лучше крестьян советских, но все же положение их не особенно завидное. Земли мало (мешают болота), и родит она неважно — слишком много влаги. В этих краях, в бывшей Псковщине, крестьянин издавна привык уходить зимой на отхожий промысел. Все дороги были ему открыты: Псков, Новгород, Москва, Петербург. Проработав зиму в городе, возвращался к весне в деревню с сотней рублей в кармане. Теперь времена изменились. В Латвии безработица, и мужикам «податься некуда». Отсюда мысль:

— Это правда, что на той стороне худо. Но не может этого быть, чтобы повсюду было одинаково. Должны быть и в России места, где крестьянство живет ладно. А нет — все равно страна большая, всегда работа найдется...

Так рождается своеобразный «коммунизм».

Большевики знают об этих настроениях части латгальского крестьянства и стараются использовать их. Но как?

Рано утром латвийский пограничник находит в кустах мешок с «литературой» и сдает находку по начальству. Должно быть, агент с латвийской стороны не явился ночью на условленное место; может быть, ему просто помешали.

Капитан Янсон вскрывает мешок и начинает хохотать. Вот полный перечень агитационных брошюр:

«Мистер Троцкий на службе у буржуазии» Ярославского.

«Путь Троцкого».

«Германское профдвижение».

«Против правых примиренцев в германской компартии».

Эти брошюры о правых примиренцах предназначались для полуграмотных латгальских крестьян! Можно ли придумать лучше!

Самое доходное занятие на границе — это шпионаж и перевод на ту сторону. Для многих эта работа сделалась главным источником существования. Загулял мужик, появились у него лишние деньги — значит, дело не чисто: побывал в гостях у красных. Шпионов и переводчиков через кордон начальство знает отлично, но чтобы уличить их, нужно поймать с поличным. А сделать это трудно.

Идет по деревне мужик в новых сапогах. Спутник мой сообщает его «послужной список»:

— До прошлого года занимался шпионажем. Потом струсил — слишком рискованно стало, да и в тюрьму идти не хотелось. Теперь — мирный контрабандист и «переводчик». Только я ему не доверился бы... Пожалуй, сдаст в руки чекистов!

Поравнялись с бывшим шпионом.

— Здорово, Василий Иванович!

— Здравствуйте, Николай Павлович!

— Ну, как дела?

— Да ничего... Не жалуемся. Кое-как кормимся.

Хитро подмигнул и пошел дальше, с сознанием собственного достоинства.

В чайной к нашему столику подсаживается здоровенный мужик. Поговорили о том, о сем... Потом огляделся по сторонам, налег грудью на стол и зашептал:

— Вчерась Степка на ту сторону пошел. Вышел он рано... Да... Часов в десять вышел, торопился. А к утру не вернулся. С чего это может быть? Не слыхали чего на границе? Беспорядков никаких не было замечено?

— Нет, должно быть, сегодня ночью вернется.

— Так надо полагать. Может, часовые мешали. Так он в хлебах отлежится, а этой ночью перейдет границу. За сто латов ушел... А только мамаша беспокоится. Да. В прошлом месяце двое наших пыталовских пошли туда

по пятьдесят латов, а обратно не вернулись. И так нам неизвестно, что с ними стало: убили их или в Сибирь сослали... Ежели при самом переходе накрыли — тут, должно быть, и прикончили. А коли подальше от границы, мужики поймали, тогда значит, Сибирь будет...

Тут узнал я тариф «переводчиков». Берут разно, в зависимости от того, кого переводят, в каком участке и куда надо доставить человека. За простой перевод до большой дороги берут 100. Довести до Пскова и сдать в город на попечение верных людей стоит значительно дороже — несколько тысяч. Вопреки довольно распространенному мнению, шпионаж оплачивается гораздо хуже переводов через границу, а риска значительно больше. 20—30, максимум 50 латов — это все, что платят большевики агентам из мужиков. За эти гроши люди рискуют своей головой и, в лучшем случае, продолжительным заключением в крепости. А пойманный «переводчик» отделывается тюрьмой и высылкой из пограничной полосы.

Много людей переходят оттуда границу. Все они умоляют, чтобы их оставили в Латвии. Только один пожелал вернуться в СССР.

Это тринадцатилетний беспризорный Васька Александров, невольно побывавший за границей и этапным порядком вернувшийся в социалистическое отечество.

Летом во время великого передвижения беспризорных по всей России, Васька решил выехать куда-нибудь из Москвы. Куда ехать — было ему в высокой степени безразлично. На московском вокзале он забрался в первый попавшийся вагон, забился под скамейку и сейчас же заснул. Проспал мирно всю ночь, незаметно проехал через границу и проснулся лишь утром от мучившего голода. Поезд стоял на большой станции.

Васька решил временно прервать свой вояж и отправиться в город настрелять чего-нибудь съестного. Выбрался со станции и пошел по главной улице, внимательно приглядываясь, нельзя ли чего-нибудь стянуть.

Босой мальчуган в необыкновенных лохмотьях, с любопытством заглядывающий в освещенные окна магазинов, быстро обратил на себя внимание. Постовой задержал его.

— Ты где живешь?

— Нигде, дяденька.

— Откуда приехал?

— Из Москвы!

В участке Вася Александров рассказал историю своей бурной тринадцатилетней жизни. Родителей он потерял в восемнадцатом году. Прожил некоторое время в Казани, оттуда перебрался в Тверь, потом в Москву. Жил как все беспризорные, путешествовал из города в город, питался подаянием и воровством, ночевал в заброшенных домах, в чужих садах, на вокзалах, под открытым небом.

Был он вшивый, грязный. Мальчику дали булку с маслом. Он ел с наслаждением и рассказывал о своих впечатлениях.

— А я и не знал, что поезд заграничный. Думал, в Крым идет или еще куда. А может, в Харьков. Очень мне хотелось в Харьков попасть, да только не смел ни у кого спросить. В поезде слышал, про Двинск говорили, а я не знал, где это. Вышел из вокзала — смотрю, что-то не так. В магазинах продукты разные, а хвостов нема. Разные граждане заходят и за свои деньги покупают. Потом — мильтоны не по-нашему одеты. Васька, сказал я себе, держи ухо востро, Васька, здесь мильтоны другие! И, действительно, один из мильтонов взял меня за шиворот и стал расспрашивать на непонятном языке, а потом по-русски.

Редактор местной газеты «Двинский Голос» Н. К. Савков выслушал этот рассказ и предложил мальчугану:

— Хочешь здесь остаться? Только, брат, надо будет помыться, привести себя в порядок, да и воровство бросить. В школу будешь ходить.

— Извиняюсь, гражданин, — вежливо ответил Вася Александров, — мы эту школу знаем. В исправдом отдать хотите? Только я оттуда убегу, это нам ничего не стоит. Как я есть беспризорный московского третьего участка, то мне желательно ехать обратно в Москву.

Долго убеждали Васю Александрова. Потом махнули рукой, дали на дорогу еще одну булку с маслом и отправили на родину.

# В ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ

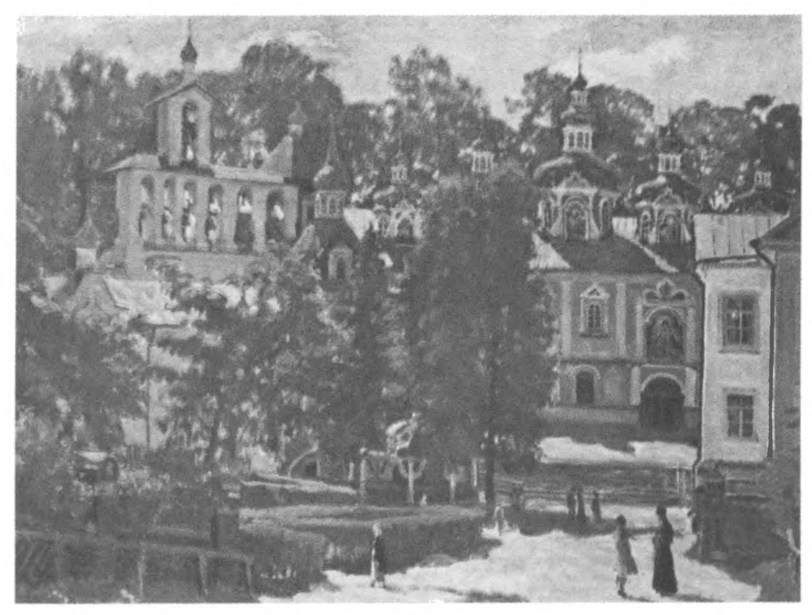
Приближался Успеньев день. По дорогам русского Причудья шли богомольцы в лаптях, с котомками за плечами, тянулись крестьянские телеги. Успение Божией Матери — храмовый праздник старинного Псково-Печерского монастыря. Было ввремя, когда к этому торжественному дню в монастырь стекались десятки тысяч верующих. С тех пор как Печерский край отошел к Эстонии, а Псков остался за Россией, монастырь опустел и обнищал. Нет больше крестных ходов из Пскова в Печеры, мало стало богомольцев, уменьшилась и братия монастырская. Но все же ко дню храмового праздника из всех окрестных деревень съезжается множество народу.

Была теплая звездная ночь, когда мы вошли в глубокие сводчатые ворота монастыря. Успенский собор не вмещал всех молящихся, и епископ Иоанн Печерский служил на паперти, под открытым небом. У иконы Божией Матери «Одигитрии-Путеводительницы» полыхало желтое пламя зажженных свечей; тоненькая восковая свеча была в руках каждого молящегося, огоньки плясали, переходили с места на место, гасли и потом снова ярко вспыхивали в ночи. Толпа пела:

— О, Владычице, Царице небесная! Ты ми мати и надежда, Ты ми упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагая и пребыстрая заступнице, покрый своим ходатайством мое преступление, защити мене от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, возстающих на мя...

Потом на звоннице ударили в колокола, начался веселый, праздничный благовест; гудели большие колокола Иоанна Грозного и Бориса Годунова, серебряными голосами отвечали им малые звоны, и под эту необыкновенную симфонию подходили богомольцы под благословение, прикладывались к иконе, били последние земные поклоны и медленно расходились с монастырского двора...

В городе, в монастырской гостинице, в покоях владыки все было полно. Эту ночь провел я в белой мона-



**Общий вид монастыря**

**Акварель акад. Сергея Виноградова**

шеской келье, которую уступил мне кто-то из братии.

С раннего утра во всех монастырских церквах и под открытым небом начались службы. Народ Причудья и Псковщины — очень набожный. Мужики, бабы, дети — все молятся с большим усердием. Но усерднее всех молятся «полуверцы». Эти люди поразили меня еще накануне, во время всенощной.

Полуверцы, или «сэты» — небольшой народец в несколько тысяч человек, остатки древней чуди. С незапамятных времен осели они у берегов Чудского озера, сохранили свой язык — не похожий ни на русский, ни на эстонский, свои нравы и обычаи. Мужчины одеты как русские мужики, но зато «полуверки» признают только свой национальный костюм: кафтан из грубого полотна, перехваченный в талии и доходящий до земли, белый накрахмаленный платок, скрывающий волосы. Девушка носит косу, замужняя женщина выпускает из-под платка вышитые полотенца. Чем богаче сэтка, тем больше у нее на груди золотых и

серебряных монет — старые царские золотые рубли, полтинники.

Сэты — православные. Почти всю службу выстаивают они на коленях, бьют поклоны, касаясь лбами каменных плит, молятся истово, крестятся широко, размашисто. Епископ Иоанн разъяснил мне, почему народ считает их полуверцами. Мужики говорят:

— Богу они молятся хорошо, а по-нашему не понимают. Значит — половинная их вера.

Так пошло с давних пор, к прозвищу этому все привыкли, и теперь сами сэты называют себя полуверцами. Русские крестьяне отлично с ними уживаются.

В монастырской лавочке — дым коромыслом. Пожилой монах степенно торгует молитвенниками, иконами, лампадами и свечами.

Старухи топчутся на месте, высматривают, чего бы купить божественного?

Одна жалостливо тянет:

— Батюшка, выбери книжечку...

— Какую тебе надобно?

— Это уж тебе виднее...

— Ну, возьми Псалтырь.

— Спасибо, отец родной... А вот дочка у меня на сносях. Какому святому молиться следует?

— В беременности Анастасия Узорешительница помогает. Роды будут благополучные и безболезненные.

Другая старуха приторговывает образ Николая Чудотворца. В сотый раз она переспрашивает монаха о цене.

— Я, матушка, уже сказал тебе: двести марок. Что ж ты все торгуешься? Не от меня цены поставлены.

— Дороговато, батюшка. А может, есть у тебя Никола поменьше?..

Бабы торгуются, потом достают из-под юбок платочки, развязывают узелки и вручают монаху мелочь и помятые бумажки. Запаслись свечами, книжечками о преподобном Корнилии Печерском и новыми образами, и пошли к монастырским церквам.

День солнечный, небо по-осеннему синее; на аллее, ведущей к Успенскому собору, березы теряют первые листья.

Тут выставлены иконы: чудотворная пресвятой Богородицы Одигитрии, св. Варвары Великомученницы, князей Бориса и Глеба, Казанской Божией Матери... Теснится вокруг народ, люди проталкиваются к иконам; священники все время служат молебны. От горящих свечей несет жаром, в воздухе струится ладан, нестройным хором мужики поют:

— Пресвятая Богородице, спаси нас... Пресвятая Богородице, спаси нас...

А вот в стороне на камнях расположились крестьяне, ждущие крестного хода. Одна баба, клевавшая носом, вдруг встрепенулась:

— Почудилось, выносят!.. Нет, еще с четверть часика обождать придется. Устала я, милые... К ранней обедне была...

Потом разулась, блаженно пошевелила пальцами и пояснила:

— Сапожки-то новые. Тесные. Вот нога и затекши.

На звоннице загудели колокола. Толпа повалила с паперти.

Выносят... Выносят...

Бородатые мужики в армяках понесли вперед тяжелые хоругви. Потом поплыли над толпой носилки с иконами. Показался епископ Иоанн, духовенство, монахи в черных клобуках. Следом хлынула давящая беспорядочная толпа. Мужики и бабы становились в затылок, бросались на землю, иконы проносились над головами распростертых людей, бабы молили:

— Матушка, Заступница!..

— Полегче, православные!..

— Не давите, отцы родные!..

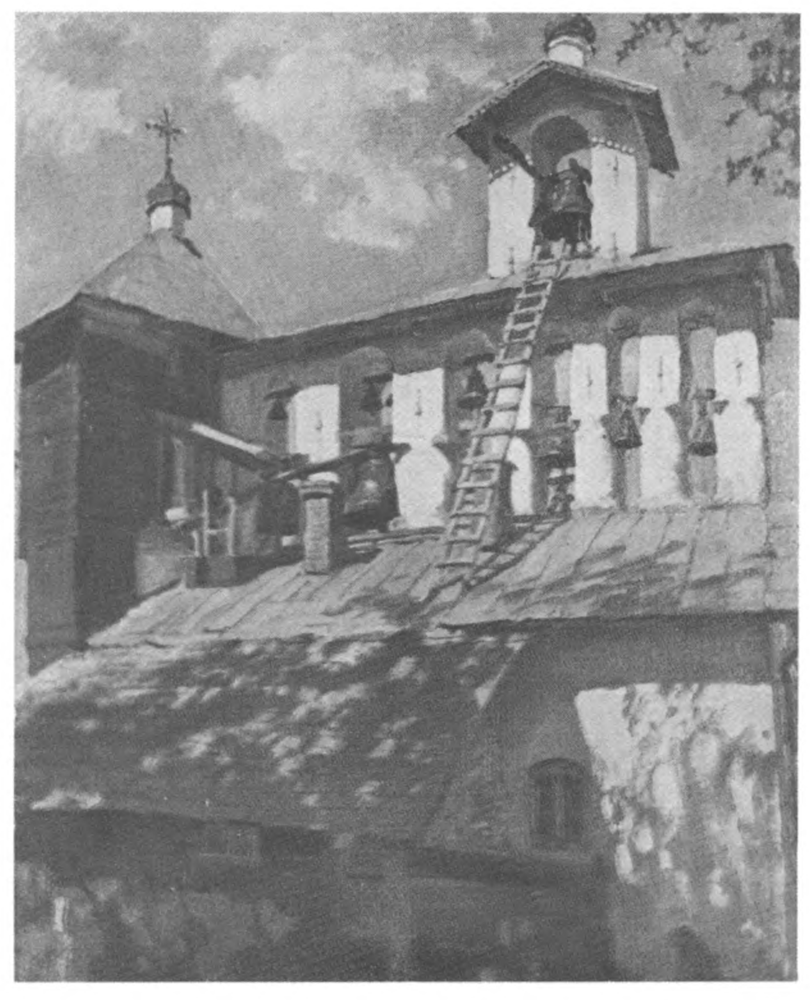
Вышли из монастырских ворот. Над Печерами несся трезвон, на солнце сияли ризы икон, далеко разносилось пение монахов. Пошли по холмам, вдоль старинных стен и башен монастырских, видевших «мор и глад людям и нашествие иноплеменник». Великую услугу оказали русскому народу эти стены и башни, расположенные на самой границе московского государства. Боролись здесь с лифляндцами, с неукротимым ливонским орденом, с поляками и шведами. Стефан Баторий, осаждавший Псков, послал на Печерский монастырь «множество вои». Плохо в эти дни пришлось монастырской братии. Уже воины Батория



**Крестный ход**

сделали в стене большую брешь, уже готовились идти приступом и снести с лица земли монастырь, но случилось чудо: видели тогда на стенах «во дни и по вся нощи некоего мужа стара, власы бела имуща, овогда ездяще на коне». Святой Николай Чудотворец уберег монастырь от разграбления: выставили монахи в проломе образ Богородицы, и отступил смутившийся враг... Потом напал на монастырь воевода Лисовский и польский пан Ходкевич... Выламывали ворота немцы — и их отразили монахи «и отидоша посрамлены, а дом Пресвятыя Богородицы сохранен бысть заступлением Ее».

Был мор от Ильина дня 1630 года до самого Рождества: 1700 человек умерло тогда в монастыре и посаде. Были пожары, бедствия разные. Но всякий раз поднимался монаастырь из развалин. В последний раз воздвиг стены Император Петр Великий, решивший покончить с набегами шведов на русскую землю. Вокруг всего монастыря сделан был «земляной вал с пятью земляными же бастионами, окладенный дерном; и вокруг всего оного вала обведен ров». «В крепости сей находилось тогда разных огнестрельных орудий по башням, стене и в клетке 428; к ним пороху в казне имелось 196 пудов 22 гривенки

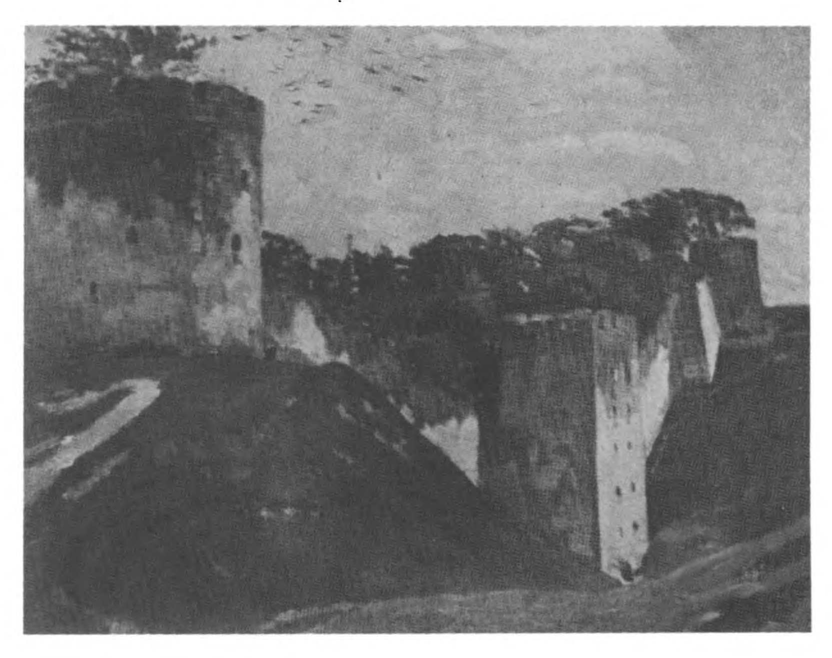


**Звонница**

**Акварель акад. Василия Синайского**

с полугривенкою; ядер различной величины 2263 пудов; к затинным пищалям железных ядер и свинцовой дроби 5 пудов и 20 гривенок; 18 корыт кусков невешенных свинцу; да карабинов 29; ремней 11; крюков 11; сайдаков 11; колчанов 15; надучников 10; по городу на цепях подъемных багров 4; подъемных канатов 2».

Только после Ништадтского мира Псково-Печерский монастырь утратил свое стратегическое значение, оказавшись вдали от границ и от опасности. Но стены и



**Стены и башни монастыря**
**Рисунок акад. Сергея Виноградова**

башни сохранились, тесным кольцом окружают они монастырь, и еще много веков будут напоминать о его славном прошлом.*

Пока служили молебен у Ручья Выбегающего, академик С. А. Виноградов, постоянно проживающий в Печерах, увлек меня к воротам монастырским. На них написано: «Любит Господь врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».

Народ ушел за крестным ходом; у ворот осталась только нищая братия. Нищих было много; они сидели

* См. прекрасно изданную монографию проф. Синайского «Псково-Печерский монастырь». Репродукции акад. В. А. Виноградова. Изд. «Рити», Рига.

и лежали у стен, греясь на солнце, выставив напоказ свои ужасные гнойники, язвы, обрубки рук и ног... Были здесь древние старухи, благочестивые слепые старцы.

Много подают в печерском краю. Но крестьяне — народ бедный, денег у них в обрез, да на всех и не напасешься мелочью. Милостыню подают здесь хлебом и творогом — так издавна повелось. У каждого нищего на коленях торба, набитая корками, и котелок или миска для творога. Приходит благочестивая сэтка, несет с собой



**Монастырские нищие**
**Рисунок акад. Сергея Виноградова**

целый каравай. Останавливается перед нищим, аккуратно отрежет ломоть хлеба и подает с поклоном. А другая принесет творогу, и каждому нищему по ложке...

Двое слепцов заунывно поют акафист Богородице. Бабы крестятся, подают и просят:

— Помолись, дед, за рабу Божию Ольгу... И раба Божия Митрофана.

— Упокой, Господи, души усопших раб Твоих Ольги и Митрофана... Во блаженном успении вечный покой, подаждь, Господи...

Проходит босоногий юродивый в отрепьях, с огромной торбой за спиной:

— Братка, дай мне хлебца! Я за тебя Богу помолюсь. Братка, дай кусочек!

Печерские нищие просят хорошо, им как-то нельзя не подать. Но ужасны цыганки. Их много в Печерах, ходят они по базару, по монастырскому двору, пристают часами и сколько бы ни дали — все мало.

— Дорога тебе, барин, дальняя предстоит. А будет через ту дорогу тебе большая радость... Выдерни, барин, карточку, дай цыганке погадать... Чайку, барин, попить хочется... А есть у тебя душа верная, только много врагов на тебя ябедничает. А остерегайся ты коня черного, женщины светлой и мыслей дурных...

Я дал ей нескольких медных монет, но она шла за мной по двору; теперь ей хотелось бараночек к чаю; она начала сначала — про дальнюю дорогу и большую радость... Проходил по двору монашек, остановился и грозно изрек:

— Устыдись, цыганка! При силе твоей и дородности надлежит тебе в поля идти, крестьянскую работу делать...

Но цыганка шла за мной следом; ей мучительно хотелось баранок. И тогда она испробовала последнее средство.

— Барин, дай хоть пять марочек! У тебя нос питерский.

«Питерский нос» привел меня в восхищение. Я дал ей десять марок. Потом до самого вечера за мной ходили толпы цыганок.

— Барин, дай десять марочек. У тебя нос питерский!!

## II

Кончился престольный праздник, отзвонили колокола, храмы опустели. Монастырская жизнь снова потекла ровно и спокойно: пост, молитва, работы. По ночам дозорный колотил в старинное било, колокола на звоннице отбивали положенное число ударов. На рассвете молился в

пещерном храме одинокий схимник. А когда солнце золотило ели на верхушке Святой Горы, тянулась к храму вся братия в черных клобуках, часами молилась, била поклоны, пела акафисты Богородице.

В эти дни монастырь стоял пустой. Можно было заходить в храм, любоваться старинными иконами, слушать рассказы о монастырском прошлом, об удивительной истории печерского края. Монахи рассказали мне, как во время оно приходили в изборскую землю «ловцы зверей», как открыли они случайно «Богом Заданную пещеру», и как некий монах Иона стал копать в горе, к западу от пещеры, церковь и две кельи. А потом пришел к отшельнику дьяк Мисюр Мунехин «и нача Мисюр по обе стороны ручья горы копати, и церковь большую созидати и в гору копаться дале и глыбже, и начаша монастырь строити в подоле меж гор... бывши славен монастырь до моря Варяжскаго». А потом сорок лет трудился преподобный Корнилий над украшением и укреплением монастыря: знал он, что придется отстаивать обитель от бесчисленных врагов земли русской — нападут на монастырь ливонские рыцари, поляки, немцы, Литва... Высокие стены и рвы спасли монастырь от «иноплеменника», но не предвидел преподобный своего собственного лютого конца. Донесли Грозному на благочестивого настоятеля, нашептали о готовившейся измене. Пожаловал в монастырь царь, пылавший ненавистью и злобой. Встретил его владыка крестным ходом, но у ворот монастырских разгневанный Иоанн собственноручно умертвил преподобного. О страшном этом конце известно из туманной летописной записи старца Питирима: «Сей достоблаженный игумен Корнилий 1-й поживе на игуменстве 41 год и 2 месяца... и от тленнаго сего жития земным царем предпослан к Небесному Царю в вечное жилище, в лето 1570 февраля в 20-й день на 69 году от рождения своего».

Ужаснувшись содеянного, отнес Иоанн на руках охладевающий труп в храм Богородицы, а потом в знак своего раскаяния пожаловал монастырю новые колокола, золото для риз и щедро наделил обитель из царской казны.

— Хотите поглядеть на дары Иоанна?

Я с радостью принял предложение архидиакона Вени-

амина. Мы пошли к ризнице, архидиакон на ходу позванивал огромной связкой ключей. Нелегко проникнуть в монастырскую сокровищницу. На огромном замке с секретом выбита надпись: «Лета 7065 (1557) замышлением раба Божия Алексея Дмитриева, сына Тверитина, положен замок Пречистой в Печеры. Мастер Левуша».

За стенами ризницы толщиной в сажень открылся сырой подвал. Здесь в стеклянных витринах лежали вещи необыкновенной красоты. Каждый предмет имел свою историю.

— Вот дары Иоанна Грозного: золотая царская цепь, нож, вилка, ложка в серебряной оправе. Труба военная, кошелек денежный, ковши серебряные... Много иного серебра оставил Грозный монастырю...

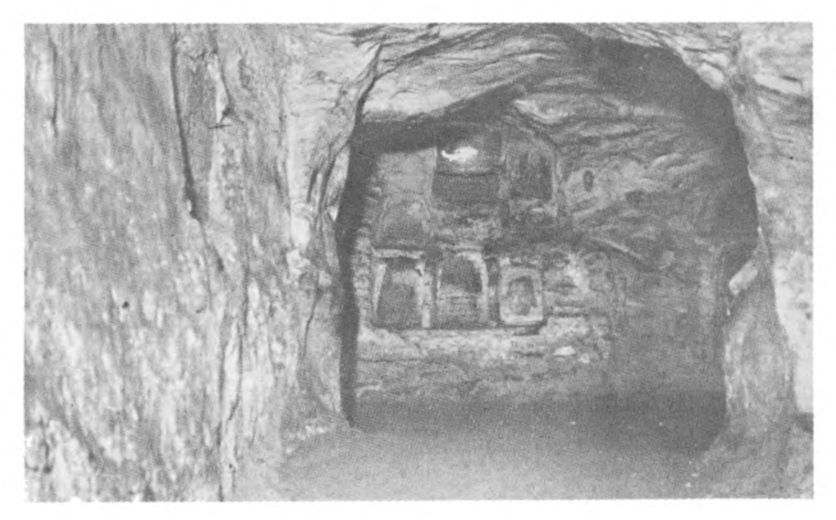
А рядом лежали царские перстни, серебряные кубки Федора Иоанновича, плащаница, вышитая золотом, — дар Бориса Годунова, чаша водосвятная Михаила Федоровича... Когда-то делались в монастырь ценные вклады не только золотом, серебром и иконами в драгоценных ризах, но и угодьями, поместьями, целыми деревнями. Теперь ничего этого нет, монастырь обнищал, от былого богатства осталась только ризница и ее музейные сокровища.

Потом мы спустились в пещеры, где испокон хоронят монахи своих покойников. Здесь было темно, сыро, по стенам струилась вода, неровное пламя тоненькой восковой свечи бросало по сторонам страшные, фантастические тени. Стояла могильная тишина.

Проходили века, люди умирали, их с пением сносили в эти катакомбы и оставляли до скончания веков, до трубного гласа... Мы склонялись к чугунным плитам и с трудом расшифровывали заплесневевшие надписи: «1654, Генваря 14 убиен бысть под Витебском Печерянин посадской человек Игнатий Дорофеев сын Себежнин на приступе».

«1650 июня при Державе Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея России Самодержца убиен бысть на ево Государевой службе под Псковом во Псковское смутное время в воровскую в Мироносицкую вылазку его Государев дворянин Иев Иванов сын Ордин Нащекин».

В зияющем провале одной пещеры лежали гробы, нава-



**Катакомбы монастыря**
**Рисунок акад. Сергея Виноградова**

ленные друг на друга. Доски давно истлели, из гробов выпирали скелеты, одетые в монашеские рясы, виднелись кости, страшные оскалы черепов. У входа в пещеру горели неугасимые лампады; изредка сюда приходили монахи и служили панихиды...

Мы уходили все дальше и дальше, и всюду смерть преследовала нас. Живые люди копали здесь свои могилы, и однажды, когда остановились мы перед пустой могилой, ждущей еще своего жильца, я понял, что ее уготовил для себя мой спутник, тихий, кроткий отец Вениамин...

Когда мы вышли из подземелья, светило яркое осеннее солнце. На Святой Горе щебетали птицы, чудесны были синие купола собора, дышать было легко и радостно.

# ПЕЧЕРСКАЯ ЯРМАРКА

Была ярмарка в Печерах. Задолго до рассвета по ухабистым печерским улицам тянулись возы, груженные всякой всячиной. Были здесь мешки с хлебом, огурцами, карто-

фелем, клетки с поросятами и птицей. В пять часов утра на главной площади нельзя было протолкаться. Всюду сновал народ, рядами стояли телеги, крестьяне раскладывали свой несложный товар. Стоял над толпой нестройный гул голосов, смех, ругань. Между возами уже расхаживал городской сборщик и покрикивал:

— Эй, борода, давай сюда 75 марок за стоянку!..

Борода испуганно шарахалась в сторону:

— Да что ты? Господь с тобой! Дай хоть малость расторговаться. Хучь яичек десяток продам, тогда и заплачу что следует.

— Смотри, в тюрьме место есть! По тебе плачется.

У следующего воза повторяется то же самое.

— Кто тут хозяин?

— Я, голубчик.

— Давай деньги за простой!

— Погодь малость. Ей Богу, нет. Акромя огурцов — ничего и нет.

— Врешь, знаю вашего брата...

— Да ты посмотри, голубчик!

Вытягивает из голенища кожаный кошель. Действительно — нет ни гроша.

Солнце начинает припекать, торговля оживляется.

— А почем, дядя, будут твои огурцы?

— Сто семьдесят пять за сотню. Один к одному, красавчики.

— А курочки почем?

— Двести семьдесят пара (20 франков).

Баба с ужасом пятится назад.

Рядом мужик с бабой взволнованно торгуют пятнистого поросенка. Двадцать раз его тянут за лапы из ящика, щупают, взвешивают и с деланно равнодушным видом бросают обратно.

— Подкормить его требуется малость. Худой-то ведь больно!

— Худой? За тыщу пятьсот худой?

— Бери тыщу триста. И то много.

— Тыща пятьсот много?..

— Бери деньги. Ей Богу, уйдем.

Баба тянет мужика; она знает, что наступил момент решительного торга: надо уходить, сбивать цену...

— Брось ты, кучерявая голова!

— Не даешь?.. Ну, в...

Плюнули и ушли.

Торговка пряниками ходит в толпе и покрикивает:

— Кому прянички с медком? Бараночки удобные, удобные...

— А сдобных нет, тетка?

Мужик берется за бока и долго хохочет своей остроте.

— Баранка пять марок, а ложка гривенник. Купи хоть ложку, гостинец домой повезешь, меньше денег пропьешь... Бараночек продаю, ложечек продаю...

Сколько праздного люда шатается по базару! Да и как не походить, когда столько дивных вещей понавезено. Тут и новые хомуты, и колеса, и дышла, и кадки, и широчайшие лоханки. В колониальных лавках бойко торговали колбасой, желтыми и розовыми медовыми пряниками в виде петушков, лошадок, свиней. Здесь табунами ходили девки, они рылись в ларьках с галантерейным товаром, примеряли пунцовые ленты, бусы, гребешки с инкрустацией, покупали кривые зеркала. А немного подальше мужики изо всех сил натягивали новые узкие сапоги, бешено торговались и уходили, ничего не купив. На самом конце ярмарки устроились торговцы ношеным платьем, народ лукавый, жуликоватый. Покупатели глубокомысленно рассматривали потертые тулупы, дырявые штаны, ковыряли в заплатах и ехидно говорили:

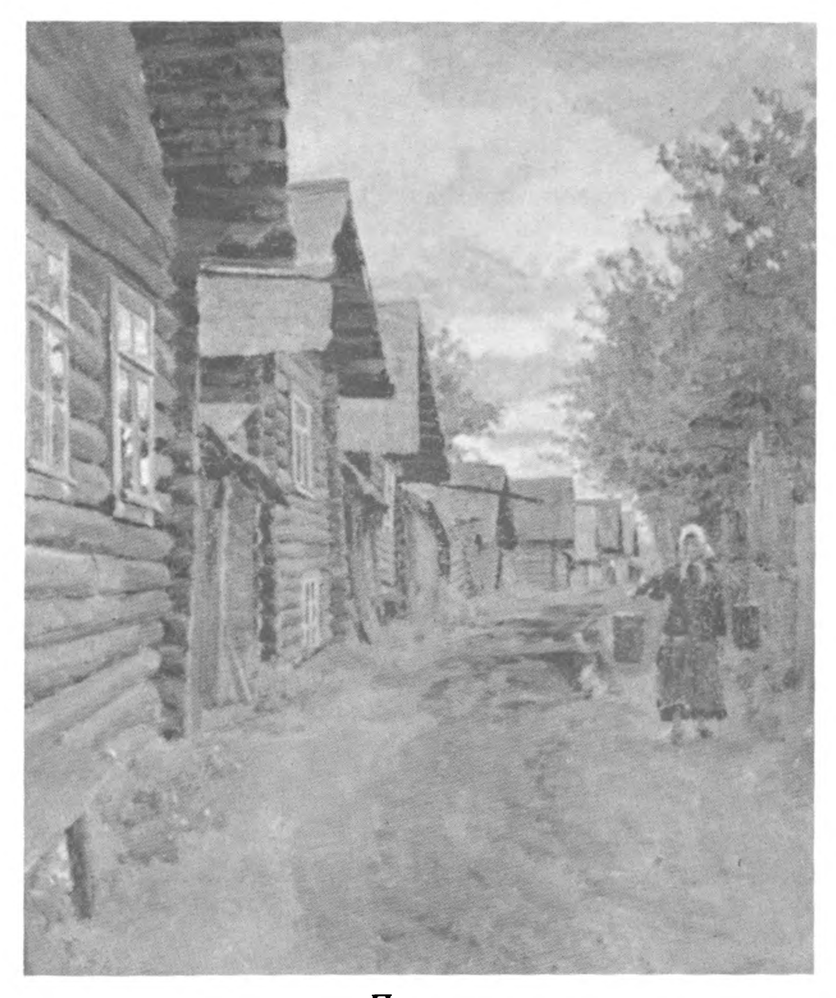
— Задница дырявая... Больше ста марок не выйдет.

Черноволосый цыган торговал у мужика телячью кожу, обливался потом, крестился, бил по рукам и уговаривал рыдающим голосом:

— Бери тыщу сто пятьдесят! Передержал кожу. Скоро совсем товар пропадет. Пропадет товар задаром, накажи меня Бог!

— Давай две тыщи, цыган!

— Тебе нельзя дать две тыщи. Тебе можно дать тыщу сто пятьдесят.



**Печеры**

— Омманываешь меня, цыган!..

В конце концов сторговались и пошли вместе чай пить...

Кто мог бы подумать, что в Печерах существует трактир с монмартрским названием «Черная Кошка»? По случаю ярмарки здесь было полно, во всех комнатах

стоял махорочный дым, пахло пивом, водкой. К двум часам базар кончился; расторговавшиеся мужики двинулись сюда пропивать деньги. Эстонская водка славится своим вкусом и крепостью на всю Прибалтику, а тут ее еще смешивали с пивом... Бородачи пили «ерша», развалившись за столами, а сбоку покорно стояли бабы, для которых не нашлось места.

Росла батарея бутылок, лица пьющих становились бессмысленными, красными. А бойкий половой метался между столиками, приносил новые графинчики, с треском откупоривал бутылки, принимал заказы.

— Два чаю и графинчик за сто! На закуску супное мясо с огурцом.

— Господин, свою водку приносить не полагается! Хозяин отпускает. Очищенная, первый сорт!..

В соседней биллиардной цокали шары, загоняемые в лузы. Четверо мастеровых в заломленных на затылки картузах ходили вокруг биллиарда, нацеливались, коротко ударяли киями. После каждого удачного удара мужики, почтительно следившие за игроками, крякали, с удовольствием крыли матом или же поощряли мастеровых:

— Не робей, ярусалимский гражданин... Тебе три шара осталось доделать.

«Ярусалимский гражданин» прищуривал глаз, ложился на биллиард и загонял шары в лузу.

— Ишь ты, удачливый!..

В уголке цыганка приставала к пьяной бабе:

— Ну, выдерни... Послухай, ну, выдерни карточку... Я тебе все расскажу, бабочка. Тебе скоро слезы будут, неприятность великая... Ну, выдерни.

— Катись, стерва, подальше. Будет тебе брехать. О прошлый год ты мне радость нагадала, а под самое Рождество мужик мой хату запалил...

— То другая цыганка была... Ну, выдерни...

К столику моему подсел человек в вышитой косоворотке, с рыжей окладистой бородой.

— Я извиняюсь, господин. Местов других нету.

Съел солянку, но к моему удивлению от водки наотрез отказался.

— Я извиняюсь, теперь уже который год хмельного в рот не принимаю. И потому я, может, в мои пятьдесят восемь лет выгляжу мужчиной в полном расцвете сил и молодости. Надо вам сказать, что и в бытность мою на государственной службе хмельного не потреблял. Тридцать пять лет, выходит, как трезвенничаю.

— А на какой вы государственой службе были?

— Городовым-с... Первого участка города Риги. В отставку вышел по слабости здоровья. Но и тогда уже работы интересной не было. Народ сильно измельчал. И, например, такого человека, как Митька Скобелев, больше Рига не увидит. Про Митьку Скобелева вы, может, и не слышали?

А был он просто бандитом, Митька Скобелев, но крови проливать не любил. Это никогда. Работал больше по банковской части. Зайдет в банк и смотрит, кто сколько денег получает. Ну, скажем, берет купец десять тысяч рублей — большая по тем временам была сумма. Идет купец по улице, о своих разных делах думает, и не замечает, как подходит до него человек и тихонько берет его за грудки: «Отдай, говорит, купец, деньги, коли тебе жизнь дорога. Я, говорит, никто иной, как Митька Скобелев». Ну, купец знает, от Митьки ему сопротивляться не следует. И дает. Даже караул не кричит, потому городовые все Митьку в лицо знали и, когда его видели, за углы хоронились... Раз погнались было за ним. Добежал он до Двины, и бух в воду. Городовые туда-сюда, моста нет, а в воду идти при полном вооружении нет охоты. Начали стрелять. А Митька Скобелев нырнет, воздуху наберет и дальше нырнет... Так добрался до другого берега и в лес ушел.

Однако решили с тем разбойником покончить. Только взять его было трудно. Силища страшная. Стало полиции известно, что Митька каждый вечер пьяный напивается и в лесу со своей девкой ночует. Окружили тот лес, было нас человек пятьдесят, и действительно заарестовали Митьку, скрутили руки канатом и повезли... Потом его осудили на бессрочную. В Сибирь отправили.

Митька, однако, вскорости бежал. И появляется он опять в Риге, только бороду большую отпустил, думает, не узнают. Но был у нас один старый городовой — он того

Митьку сразу узнал. Хватает он его деликатно за ручку и тихо ему говорит: «Митька, сукин сын, старый знакомый, ты, значит, убег!» Посмотрел на него Митька, взял осторожно за голову и стукнул той головой по забору... Потом побежал, и с тех пор не показывался в наших краях; говорят, на Волгу перебрался, пароходы чистить... Вот какие люди бывали в старину...

Допил чай, перекрестился на образ и ушел.

Дверь с визгом распахивалась, входили русские бабы или полуверки — они искали мужей, пропивавших в одном из бесчисленных печерских трактиров проданные яблоки, мед и огурцы. Бабы ходили между столиками, мужики хватали их за руки, кричали непристойности, предлагали водку и женщины испуганно уходили к следующему кабаку, в другую чайную...

— Мужей ищете, красавицы? В канавку загляните...

— Робята, пойдем сниматься! Манька, пойдем сниматься до Шмулевича. Еще пару пива и пойдем сниматься!..

— Ну, пойдемте, что ли... Допивайте, хватит вам!..

Базар кончался, мужики разъезжались по деревням, дико кричали, хлестали худых, низкорослых лошадей... Каждая телега оставляла за собой груду навоза, сена, над площадью стоял ужасный запах конской мочи и человеческой блевотины. Посреди навозных куч ходили пьяные мужики, обнимали друг друга, горько плакали, орали песни, пока не сваливались посреди дороги и не засыпали сном праведников. А пугливые староверки в белоснежных полотняных кафтанах метались по улицам городка и разыскивали своих пьяных мужей, братьев и отцов.

# В ДРЕВНЕМ ИЗБОРСКЕ

Помню, в гимназии, на уроке русской истории, заучивали мы начальные строки летописи: «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет... И пришли три брата. Старший Рюрик седе в Новеграде, а другой Синеус на Беле озере, а третий Изборьсте Трувор...»

И вот теперь, много лет спустя, еду в этот Изборск, в котором сидел таинственный Трувор. Вокруг насколько

хватает глаз — леса, холмы, озера. По этим холмам двигались некогда варяги, вызванные из-за моря. Тогда вокруг были дремучие леса, кишевшие диким зверьем, а на больших дорогах хозяйничали лихие люди, разбойники и воры. Прошли столетия, сильно обезлесили край, на месте дремучего бора теперь колосится высокая пшеница, в полях с утра до ночи мирно работают крестьяне. Россия здесь чувствуется во всем, она совсем близка. Вот на дороге покосившийся полосатый столб, а на нем дощечка: «Псков— 18 верст». Если пустить машину полным ходом, через двадцать минут можно попасть в древнейший русский город... Только в нескольких верстах отсюда, поперек дороги, протянута колючая проволока. Все предусмотрено, все сделано,

> Чтоб от Литвы Россия оградилась
> Заставами; чтоб ни одна душа
> Не перешла за эту грань; чтоб заяц
> Не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон
> Не прилетел из Кракова...

Крепко охраняется советская граница... Впрочем, на этот раз мы не собираемся ее осматривать. За крутым поворотом вдруг открывается древний Изборск; внизу потемневшие срубы деревянных изб, церковь с ослепительной звонницей, а на горе Жеравии, за высокими каменными стенами и башнями — старинная русская крепость.

На заре русской истории у берегов Чудского озера осели кривичи. Неизвестно, нашли ли кривичи уже готовый город или они-то и построили Словенск, впоследствии переименованный в Изборск. Псковский летописец не дает ответа на этот вопрос и кратко замечает: «От бытописания не обретается воспомянуто, от кого создан бысть (град) и которыми людьми, токмо уведехом, яко был уже в то время, как наехали князи Рюрик с братиею из Варяг в Словене княжити».

Долгую, тысячелетнюю жизнь прожил Изборск. Знаток и хранитель местной старины А. И. Макаровский рассказывал мне во время прогулки вокруг крепостных стен историю городка:

— Был Изборск сторожевым постом на приступах ко Пскову. Имеются лишь две летописные записи о том, как враги на короткое время обманным путем захватили Изборск. Но обычно крепость была твердыней, о которую разбивались вражеские рати.

Больше всех нападали на Изборск немцы, этот упорный, неослабевающий враг всего славянства. Борьбу с немцами Изборск понимал, как защиту своей славянской, русской культуры, как оборону православной веры против католичества. И до сих пор в башнях, с той стороны, откуда обычно приходили немцы, есть каменные православные кресты, грозившие супостату. Сколько раз враг подходил к крепости «в силе тяжце, без Бога»! Десятки раз осаждали Изборск ливонские рыцари. Сжигали посады, угоняли скот, брали в плен посадских людей, не успевших укрыться за крепостными стенами. Потом начиналась регулярная осада, иногда длившаяся целые недели. Рыцари отводили воду, защитники крепости невыносимо страдали от голода и жажды. Но отбивали они все приступы неприятеля, сами устраивали вылазки. Много ратных людей полегло тогда на соседнем словенецком поле. Сотни лет спустя находили здесь наконечники стрел, копий, ржавые кольчуги и побелевшие кости...

«Зело притужно» пришлось изборянам в ливонскую войну. Посады были выжжены, скот перебит, поля вытоптаны. В довершение беды, обманным путем, прикинувшись царскими опричниками, взяли литовцы Изборск, и псковскому князю Юрию пришлось отбивать его у врага. А потом началось смутное время, из края в край всколыхнулась русская земля. Здесь, в маленьком Изборске, тоже бушевали великие страсти. Целовали крест самозванцу и вору, пробиравшемуся в Псков «сквозь немец». Началась страшная междоусобица. Малый человек Федор Плещеев поднимал изборян против псковичей. И бились изборские ратные люди под Псковом «боем великим». Приходил потом пан Лисовский под Печеры и Изборск, творил «многие пакости», отдавал своим воинам целые области на поток и разграбление. В те страшные времена в городе Изборске случилось чудо: открыта была Корсунская икона Божией Матери, струились слезы по лику Богородицы...

Мы идем вдоль крепостного вала, останавливаемся у башен, глядим в бойницы. Торопливо убегают ящерицы, греющиеся на солнце, иногда со стены срывается камень и летит в глубокий ров, заросший сорной травой... Макаровский показывает, где начинался подземный ход, по которому осажденные ходили к ручью по воду, откуда шли на вылазки...

Потом автомобиль везет нас к древнему городищу. При виде несущегося чудовища бросаются в сторону крестьянские лошади, встают на дыбы, и потом мчатся целую версту, обезумев от страха. Не часто проезжают здесь автомобили.

Вот и городище, на вершине которого могила Трувора. Это огромная плита и тяжелый каменный крест. На плите загадочная фигура: два четырехугольника. Быть может, это знак каменщика, а может быть, и план какого-то лабиринта. Конечно, не язычник Трувор лежит под этим крестом. Много лет тому назад приезжала в Изборск научная экспедиция. Были произведены раскопки. Вскрыли и «труворову могилу». В ней обнаружили скелет покойника-христианина, эпохи, позднейшей пришествия варягов на Русь. Вероятнее всего, под монументальной плитой покоится прах какого-нибудь князя или наместника Изборского.

Давно уже городище обратилось в сельское кладбище. Всюду покосившиеся кресты, безымянные могилы, заросшие травой и кустарником. Из-за одной могилки выползла древняя старуха, закашлялась, протянула руку за подаянием:

— Спаси вас Господи, господа хорошие... Пошли вам здоровья и удачи и большие миллионы... Дайте копеечку убогой!..

Долго бродили по кладбищу. Нашли заброшенную церковку. Она стояла пустая, ободранная, с заколоченными окнами; в углу паук мирно раскидывал свою тончайшую сеть. Когда-то был похоронен в церкви некий помещик Безлелий, скончавшийся в 1817 году. Неутешная вдова его воздвигла мраморную доску с длинной надписью, но Макаровский запомнил только одну фразу: «...И сном пленительным казалися семь лет в объятиях твоих...» Бедный помещик Безлелий — даже ему отомстили больше-

вики, разбили и куда-то выбросили «несозвучную эпохе» плиту с трогательной надписью...

А поднявшись на развалины, что позади Труворовой могилы, увидели мы Россию. Желтели нивы, синел вдали лес, у ног наших рябилось городищенское озеро — широко раскинулась великая варяжская земля. Холмы прятали от нас берега совсем близкого Чудского озера, туман скрывал горизонт. Но потом разорвалась легкая туманная завеса, и как далекий призрачный мираж, как невидимый град Китеж, стал подниматься из тумана Псков. Сначала обрисовалась высокая колокольня с зеленой крышей, потом белоснежный Троицкий собор, потом еще одна церковь. С каждой минутой туман рассеивался. Появилось длинное здание — Омские казармы, какие-то другие строения, дымы фабричных труб...

Рядом со мной, на крепостной стене, стояла пожилая, усталая женщина. Она приехала в Печерский монастырь на богомолье, случайно попала в Изборск, случайно увидела призрак России. Смотрела долго, и тихо, беззвучно плакала...

Потом мы возвращались в монастырь. Всю дорогу справа от нас маячила высокая белая колокольня. Там был Псков, была Россия...

# РЕВЕЛЬ

В ревельском поезде встретил я знакомых местных жителей и разговорился с ними о положении русского меньшинства в Эстонии. Картина мрачная: беднота, безработица, неуверенность в завтрашнем дне. В материальном отношении русским в Эстонии живется хуже, нежели в Латвии.

Особенно туго приходится крестьянам. Во время войны и революции много деревень выжгли; их до сих пор не отстроили. Население густое, а земли не хватает. Общая беда чересполосица. Крестьянские семьи быстро уве-

личиваются, а земли все столько же, и приходится бесконечно дробить ее при выделах.

Печерский край, берега Чудского озера и Нарва — места особенного русского скопления. Нищета пришла сюда по пятам за русскими, забралась в крестьянские избы, в рыбачьи деревушки. У Чудского озера пять последних лет наблюдаются сильные наводнения. Причина проста: в бассейне озера вырубили леса, таяние снега теперь проходит бурно, вешние воды сбегают в озеро и, не умещаясь в нем, затопляют луга и прибрежные села.

Рыбный промысел убит, и рыбаки просто голодают. Водится в Чудском озере рыбешка, когда-то знаменитый по всей России «снеток» — без него не было русской масленицы. Раньше его солили, сушили и сотни тысяч пудов шли через Псков в Россию. Теперь рыбу некуда девать — для Эстонии улов слишком велик, да и «снеток» здесь не в особом почете. Пробовали кормить им солдат — армия чуть не взбунтовалась. Единственный верный потребитель снетка — арестанты да несчастные русские рыбаки, которым иначе пришлось бы умереть с голоду.

Эстонцы в этом конечно мало повинны, но есть вещи, против которых надо протестовать самым решительным образом. Русское население Нарвы существовало главным образом заработками на лесопильных заводах и текстильных фабриках. Когда началась безработица, русских, пользующихся одинаковыми с местным населением правами, стали увольнять. В первую очередь рассчитывали беженцев и эмигрантов, пришедших из советской Псковщины. Обездоленные люди мечтают:

— Бежать куда угодно, только бы спастись от надвигающейся безработицы!

В эмигрантский комитет, возглавляемый перводумцем Н. А. Колпаковым, посыпались просьбы о помощи. Открыли запись для желающих ехать во Францию на сельскохозяйственные работы. В короткое время записалось полторы тысячи человек. Больше тысячи уже уехали. На юго-западе Франции я видел первых беженцев из Нарвы. Они бросили насиженные места, дома, распродали жалкий скарб, наделали долгов и уехали за тысячи верст искать счастья. Нелегко, в особенности на первых порах, живется рус-

ским, «севшим на землю». Но есть свой кусок хлеба, есть надежда, и они счастливы.

Во многом виноваты сами русские. На сто тысяч русского населения за меньшинственный список было подано всего 12897 голосов. В результате в Государственном Собрании 2 русских депутата вместо 9.

В чем же дело? Десятки людей отвечали мне одно и то же:

— Не спелись. Живем вразброд. Разные партии, течения, а главное — нет авторитетных людей, которые могли бы объединить вокруг себя.

Результаты этой апатии уже сказываются. Русское меньшинство, пользующееся всеми правами, начинают третировать, как бедных, нежелательных родственников.

Первое впечатление, когда подъезжаешь в Ревелю: Вышгород. Старинная крепость на горе, острые шпицы башен и огромные, сияющие тусклой позолотой, купола Александро-Невского собора.

Собор этот в последнее время много заставил говорить



**Старые башни Ревеля.**

о себе. Ровно год тому назад в Государственное Собрание внесен был законопроект о сносе ужасного «наследия рус-

ского режима». Вокруг законопроекта создалось трогательное национальное единение: его подписал трудовик, член демократической партии, представитель новопоселенцев — словом, вся правительственная коалиция. Мотив — собор мешает правильной распланировке Вышгорода, где расположены все правительственные учреждения. Кроме того, он нарушает «эстонский стиль» города.

Целый день я ходил по городу, разыскивая эстонский стиль. Узкие лестницы привели меня на площадь, где проживает глава государства. Должно быть, живет он в бывшем губернаторском доме «гражданской архитектуры» XIX века, с белыми колонками. В таких же самых двухэтажных домах помещаются министерства. Это — еще столица. А за столицей сразу начинается тишайшая провинция: извилистые улицы, вымощенные грубым булыжником, дома каких-то странных цветов — желтые, розовые, светло-коричневые — по затейливому вкусу ревельских штукатуров. Голуби спокойно разгуливают по мостовой, в подворотнях хрипло лают цепные собаки, бабы моют окна, выплескивают грязную воду прямо на мостовую.

Эстонского стиля я не обнаружил. Но история с собором не кончилась на нелепом законопроекте. Были проповеди священников, речи Епископа Иоанна. Прокуратура начала дело о «возбуждении народных масс...» Пока что собор стоит на месте и в нем исправно отправляются все службы.

Сидел я на маленькой площади, позади немецкой кирхи. Было раннее утро; в белом домике с занавесочками на окнах уже проснулись. Чьи-то неумелые руки разыгрывали на пианино бесконечные экзерсисы.

Мимо меня шли гимназисты с ранцами за плечами — таких ранцев я не видел со времени отъезда из России. Часов в девять неторопливо потянулись чиновники. И в них было что-то от старого русского духа. Я долго старался угадать, что именно. И вдруг понял: в руках решительно у всех были важные портфели, набитые бумагами. В Париже, Лондоне и Берлине живут сотни тысяч чиновников, и ни у одного из них нет портфеля, набитого бумагами.

Потом я бродил по городу, отыскивая следы России. Их было мало, гораздо меньше, чем в Риге. Не видно русских вывесок, не слышно русской речи. Что-то от немецкого городка, чистого, делового, работящего.

Был когда-то в городе памятник Петру Великому: его убрали после революции — это было тоже «наследие царизма». Захотелось узнать, что стало с злополучным памятником. Местный старожил сказал мне, что его перевезли в домик Петра, что в Екатеринентальском парке.

Парк оказался чудесным, большим и совсем пустынным. В самом конце его нашел я домик царственного плотника. Домик маленький, покосившийся, в два этажа. За



**Домик Петра I**

дверью, покрытой густым слоем пыли, покоился бюст императора всероссийского. В спальне стояла еще широчайшая кровать под балдахином. Зеленый, истлевший от времени шелк висел лоскутьями. У кровати туфли, в углу высокие часы, выписанные из Лондона, да письменный стол со множеством ящичков и отделений. За столом этим часам работал Петр. Из мебели сохранились еще несколько крепких дубовых кресел. Это все, если не считать гипсового Посейдона, неизвестно как и зачем сюда попавшего.

Сторож обрадовался посетителю. Он повел меня и во второй этаж, показать царскую столовую на двенадцать персон. Потолок в столовой такой низкий, что гигант Петр, должно быть, касался его головой. Я спросил, долго ли здесь жил царь, но сторож ничего не знал... С трудом подбирая русские слова, он сказал мне, что это было давно — так давно, что и дед его, верно, ничего не знал о Петре...

Я ушел из заброшенного домика, бродил по осеннему парку, и потом случайно вышел на набережную. Дул свежий ветер, был шторм, белые гребни волн разбивались о подводные скалы. В такой же осенний день, 7 сентября 1893 года, где-то в море, может быть, у этих же самых скал, разбился броненосец «Русалка». Стоит над



**Памятник броненосцу «Русалка» и его экипажу**

взморьем темноликий ангел, благословляет крестом пучину, в которой погибли русские моряки. Надпись на цоколе почти выветрилась, с трудом можно разобрать отдельные слова: «Сооружен в благополучное царствование Государя Императора Николая II... На броненосце находились... Всего офицеров 12. Нижних чинов 165 человек». А вокруг, на чугунных досках, имена погибших: боцман Иван Оленин... Барабанщик Роман Петрунов...

С ночным поездом я уехал в Париж. В вагоне было тепло, фонарь за синей занавеской не мешал думать. Вспомнил вывески Московского Форштадта, бородатых старообрядцев Гребенщиковской Общины, мужиков из латгальских деревень. Потом мелькнула голова советского пограничника, узкая полоска русской земли; загудели колокола печерского монастыря, выросли стены древнего Изборска, выплыл из тумана далекий Псков...

На рассвете проснулся. Поезд стоял на пограничном полустанке. В окно врывался удивительно знакомый, старый русский марш «Прощай». Военный оркестр играл его без устали, без перерыва. Трубы надрывали душу, солдаты в зеленых шинелях кричали «ура» и качали офицеров, куда-то уезжавших... Душным августом 1914 года по всей России гремел этот самый марш, люди в серых шинелях кричали ура, качали кого-то, и потом бесконечные эшелоны уходили навстречу смерти...

Поезд тронулся. На солнце сияли трубы, марш становился все тише и тише. Через минуту стук колес совсем заглушил его. Это было последнее, что я видел и слышал там, где была Россия...

*Август — сентябрь 1929 г.*

# ДОРОГА ЧЕРЕЗ ОКЕАН

## КАЗАБЛАНКА

Тридцать лет тому назад это был пустынный берег. Теперь Казабланка большой город с четырехсоттысячным населением.

Дела в банке закончены быстро, европейский квартал нас интересует мало. Узкими улочками мы сворачиваем в арабский город, в знаменитую Мелиллу, где ютится красочная арабская и еврейская нищета.

Мы сидим на террасе марокканского кафе перед крошечными чашечками кофе. И Восток — нищий, босоногий, в лохмотьях, — Восток проходит перед нашими глазами.

Полуголые мальчишки на солнцепеке играют в какую-то азартную игру на медяки. Черные торговцы сливают воду в глиняные сосуды из козьих мокрых мехов, висящих у них за спиной. Верхом на крошечных осликах проезжают важные арабы, безжалостно колотящие ногами бока безобидных животных. Евреи-торговцы заседают в своих «суках» перед грудами кожаных пестрых башмаков, глиняной посудой, шелковыми тканями, флакончиками с духами, фесками. Идет адский торг, они запрашивают втридорога, клянутся, швыряют в отчаянии товар на пол, словно он, обесцененный покупателем, внушает им полнейшее отвращение. Бьют по рукам, уступают, наконец, и когда за товар заплачено, вдруг просят:

— Дай еще на чай! Теряю десять франков.

Арабы, сидящие часами на корточках, протягивают прохожим подносы с подозрительными сластями, солеными фисташками, семечками. Чистильщики сапог работают с остервенением. Кто скажет, почему в этом городе босо-

ногих людей такая уйма чистильщиков сапог? И нищие, жалкие старики, попрошайки — все, кому нужны деньги, клянчат, умоляют, протягивают прохожим искалеченные, высохшие, атрофированные руки, выставляют напоказ свои болячки, они идут за вами квартал, два, плачут, причитают, и приходится дать им серебряную монету, чтобы обрести наконец покой.

Мелилла переходит в еврейский квартал, где «шойхеды» в арабских бурнусах, с черными шапочками на головах, режут птицу прямо посреди улицы. На каждой лавке — еврейская вывеска.

Был субботний день. Магазины закрылись еще накануне, и евреи в черных шелковых халатах, развевавшихся по ветру, торопились в синагоги и в свои маленькие молельни. По внешнему виду марокканских евреев трудно иной раз отличить от арабов: тот же темный цвет лица, те же жесты и манера жить, те же халаты и бурнусы. Только длинные бороды у стариков, да открытые лица у женщин позволяют их отличать от мусульманского населения.

Из дома, населенного ремесленниками, вышли четыре нарядные, уже немолодые женщины, с большими медными подносами в руках, прикрытыми пестрыми платками. Выйдя на улицу, женщины засмеялись, поднесли руки к губам и громко, пронзительно начали улюлюкать.

— Что это?

— Это помолвка. Они несут на подносах подарки невесте от жениха.

Удовлетворив наше любопытство, одна из свах сверкнула великолепными своими зубами и предложила:

— Хочешь быть гостем? Пойдем с нами! Невеста будет очень рада.

Мы, отказались. Но, по-видимому, мысль привести иностранцев на помолвку очень понравилась свахам, они начали нас упрашивать, уговаривать, и устоять было трудно. Мы согласились. Процессия снова двинулась в путь: впереди свахи с подносами, за ними мы и в заключение — толпа любопытных и ребятишки.

Шли зловонными, извилистыми улочками мимо арабов,



Базар в Медине Казабланки

жаривших рыбу в котелках с кипящим маслом, месивших тут же на улице тесто для хлеба и пирожков с подозрительной начинкой, мимо шашлычников, торговцев финиками и инжиром. Наконец, процессия остановилась у домика невесты. Свахи снова начали весело улюлюкать, и из всех окон высунулись улыбающиеся еврейские лица.

...В комнате, за столом, покрытым праздничной шелковой скатертью, неподвижно сидела взволнованная и трогательная невеста, окруженная подружками. В глубине, на диване, заседали родители, раввин, какие-то старики, молча и одобрительно следившие за церемонией.

Женщины поклонились и сняли платки со своих подносов. Подарки были несложные: пара вышитых туфель, грецкие орехи, сласти, бутылка ликера, мятные лепешки.

Нас познакомили с невестой, с родителями, усадили на почетные места, и потом всех начали обносить сластями, орехами в меду, лепешками, и женщины снова улюлюкали, а невеста сидела, стыдливо потупив глаза.

Под вечер мы распрощались с гостеприимными хозяевами и выбрались на улицу. Уже темнело. Из соседнего «картье-резервэ», квартала накрашенных женщин, не носящих на лице покрывала, неслись визгливые звуки скрипок и флейт, раздавались удары бубен. Уже начинался вечный и печальный праздник, шумливый, ночной «байрам».

— Инспектор, я хочу получить разрешение на поездку в город.

Полицейский язвительно спрашивает:

— Конечно, к доктору?

— Нет, я хочу побывать в «картье резервэ».

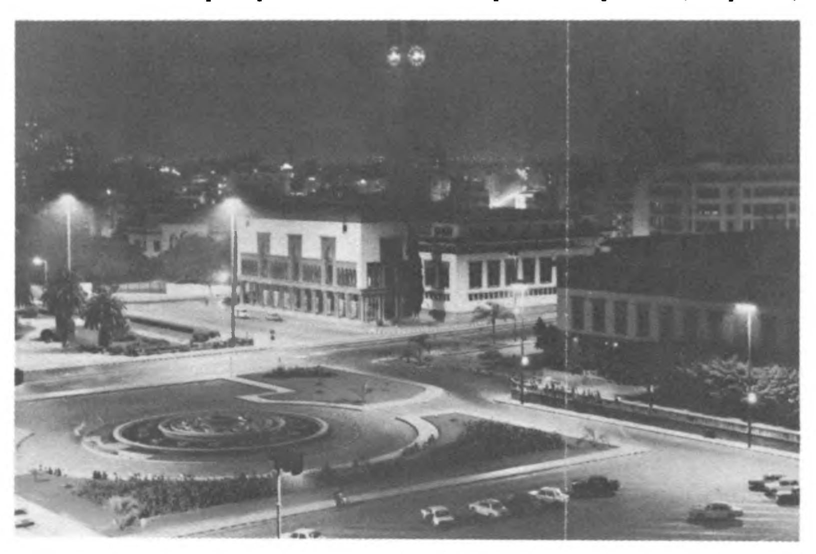
Пауза. У инспектора расширяются от удивления зрачки. До сих пор он с трудом давал разрешения только в особо важных случаях: для поездки в банк, к врачу, в таможню. Но он сам по-видимому, уже побывал в «Бусбире», и моя откровенность его разоружила.

— Вот вам пропуск. Поезжайте в «Бусбир». Я теперь принципиально не даю разрешений на поездки к доктору, меня обманывают. Но если у меня просят разрешение поехать за пирожными, чтобы покупать драгоценности или валюту на черной бирже, я не отказываю.

Полицейский явно работает под отчаянного оригинала.

Араб извозчик долго везет по каким-то кривым улочкам старого квартала. Толпы ребятишек бегут за фаэтоном, цепляются сзади, что-то кричат и выпрашивают деньги.

Жизнь в арабском городе бьет ключом. Посреди дороги какой-то знахарь разложил на коврике порошки, травы,



**Казабланка ночью**

коренья, флакончики с настойками. Он продает целебные снадобья от всех болезней, сам их тут же пробует, бьет себя в грудь, отчаянно жестикулируя, и вокруг него стоят два десятка недоверчивых, хмурых арабов.

Мы проезжаем улицы ремесленников, где стучат молотки, жужжат веретена, где на корточках, согнувшись в три погибели, работают башмачники, ткачи, лудильщики. Вдоль стен на горячем солнце десяток нищих парикмахеров бреет головы своим таким же нищим клиентам... Посреди улицы завуалированные арабские женщины торгуют птицей, яйцами, фруктами, овощами. Над толпой стоит неистовый крик, и крик этот еще более усиливается, когда мы попадаем на улицу музыкантов, торгующих марокканскими тамтамами, глиняными продолговатыми барабанами, обтянутыми кожей. Торговцы неистово колотят по этим барабанам и тянут какой-то заунывный мотив.

Проезжаем мимо султанского дворца, скрытого за высокими стенами, мимо дома казабланкского паши, у которого толпится множество арабов, и потом фиакр останавливается у высоких ворот, охраняемых туземной полицией и патрулем французских моряков. Кучер тычет в ворота кнутом и на ломаном французском языке говорит:

— «Бусбир». «Картье резервэ». Много фатьма...

Женщины в пестрых шелковых платьях, с открытыми накрашенными лицами встретили нас веселым смехом, говором и предложением «неземных радостей».

Две рослые арабки пристали прочно, отогнали всех



**Казабланка**

конкуренток и повели в свою «каза» — показывать танец живота. По пути мы успели рассмотреть этот город проституток.

«Бусбир» со всех сторон обнесен высокой стеной. Несколько типичных арабских улочек, белые домики с плоскими крышами. Арабские кофейни, из которых несется

на улицу заунывная музыка. И женщины, только женщины, старые и молодые, красивые и уродливые, полуодетые, почти совсем обнаженные. У ворот каждого домика две-три женщины встречали нас криками:

— Мсье, иди сюда! Танец живота! Любовь по-марокканскн!

Другие, увидев у меня в руках аппарат, просили:

— Сделай фотографию.

Наши «чичероне» возмутились:

— Не снимай их. Ты нас сними. Мы лучше!

Мы пришли наконец к белому домику, поднялись по наружной винтовой лестнице на террасу, потом очутились в очень чистой комнате.

Женщины закурили и лениво исполнили свой танец по всем правилам искусства: лица у танцующих были неподвижны, каменны, но зато двигались животы — сначала медленно, потом все быстре и быстрее, потом с отвратительной и судорожной откровенностью.

— Дай подарок!

Мы дали подарок за танец и не без удовольствия выбрались на улицу.

Еще час мы бродили по этому кварталу узаконенного разврата. Двенадцатилетние смуглые арабки пили вино с матросами, пели с ними в два голоса печальные песни, и потом, обнявшись, уходили в белые комнатки с низкими арабскими диванами.

# СЕРПА-ПИНТО

Восемь дней жизни в бараке на положении полуарестованных. Мы расстались с Аин Себа без сожаления — с полицейскими, смотревшими на нас, как на опасных злоумышленников, с грязью, и даже с маленькими арабами, чистильщиками сапог. В последний раз мой арабчонок постучал щеткой по своему подобию ящика и на невероятном языке закричал:

— Сирэ буц, мисье! Муа гран травайер! Сирэ буц. Дэ фран! (Два франка!)

А через час мы уже были в порту, терпеливо ожидая,

пока полиция проверит наши документы, и пока будут закончены таможенные формальности. Три часа стояния в очередях, томления у стоек, на которых пассажиры раскладывают свои чемоданы в ожидании их вскрытия. Когда наступила наша очередь, таможенник указал два чемодана наугад, мы раскрыли их, и он сунул внутрь руку. Рука его что-то нашарила, лицо стало довольным, и он сказал:

— Ага, что-то интересное.

И вытащил пакет с финиками, купленными в Казабланке.

Таможенник повертел финики, потом с разочарованием вложил их обратно в чемодан и поставил на нем свою отметку.

— Можете проходить...

У сходней я встретил полицейского инспектора, самого симпатичного из всех, который тайком от своих коллег давал нам пропуска в город. Он пожал мне руку и шепнул:

— Вы вернетесь. Не огорчайтесь, все это временное. Вы вернетесь в другую, лучшую Францию.

Через минуту мы были уже на борту португальского парохода «Серпа-Пинто». Первое впечатление: один из кругов дантовского ада. На палубе, на лестнице, в салонах — всюду невероятная теснота и давка. Непонятно, как пароход, рассчитанный на 350 пассажиров, может вместить такое количество людей? Каюты переполнены до отказа... До Кубы многие пассажиры, заплатившие за билеты по 450 долларов, будут спать в креслах, в шезлонгах, на палубе, на полу в курильной комнате, куда попасть на ночлег считается особенной удачей.

Только на борту мы узнаем, что «Серпа-Пинто» делает большой круг и идет прежде всего на Ямайку, чтобы высадить там 150 польских евреев. Люди эти много месяцев жили в Лисабоне, пока английское правительство не дало им разрешение на выезд на Ямайку, а «Джойнт» согласился оплатить их проезд. И они едут, не зная в точности, что такое Ямайка, чем там занимаются и как будут они там жить... Один из них на следующий день после отплытия жаловался мне, что он бегал по всем книжным магазинам Лисабона и спрашивал самоучитель ямайского языка, но самоучителя так и не нашел. Может быть, такого языка вообще не суще-

ствует, и там говорят по-английски или на местном наречии?

К сожалению, я не мог удовлетворить его любопытства. На Ямайке делают ром, прекрасный душистый ром, и это, кажется, все, что я мог ему сообщить. Он подумал:

— Вы говорите, ром? Тогда, конечно, им нужны ящики для упаковки рома. Деревянные ящики. Я по профессии торговец лесом.

И он сразу успокоился. По-видимому, мои сведения о Ямайке вполне его удовлетворили.

Первый контакт с мирной, давно забытой жизнью: пятичасовый чай. Чай с молоком, чай с белым хлебом, с маслом, с какими-то булочками и сухим печеньем.

Как передать чувство умиления, которое вызывает наполненная до краев сахарница? Неужели можно положить в чашку вторую ложку? Поразительная вещь: стюард явно относится совершенно равнодушно к тому, положу я вторую ложку или нет... Кладу. Какой странный вкус! Слишком сладко, невероятно, приторно сладко...

Стюард приносит чайник и спрашивает:

— Майш ша?

Мы соглашаемся выпить еще чашку горячего «ша». Два года карточной системы и продовольственных ограничений не проходят даром. Нужно постепенно перевоспитать себя, привыкнуть к новому режиму. Это нелегко. Во Франции в последнее время мы получали 180 граммов мяса в неделю на человека. В среднем — это один бифштекс. Здесь, на пароходе, мясо подают три раза в день: к «брекфесту», «ленчу» и обеду. И при виде этих толстых ломтей ветчины, кровавых бифштексов и ростбифа, становится немного стыдно за себя и бесконечно больно за тех, кто остались в полуголодной Франции, где давно забыт вкус белого хлеба и масла... Стюард почти насильно подкладывает на тарелку еще кусок ростбифа, и я вспоминаю моего обнаглевшего мясника Пьера из Ниццы. Сколько приходилось давать ему на чай, делать подарков, заискивать, чтобы получить иногда лишнюю котлету или даже простую кость для супа!

— Пьер, я принесу вам завтра коробку папирос.

Этот почти царский подарок по французским понятиям оставляет его равнодушным.

— Пьер, может быть, вы хотите шелковый галстук к синему костюму?

Он наконец милостиво соглашается и на папиросы, и на галстук, и бросает на весы лишний кусок жилистого мяса.

— Только для вас. Другие готовы платить за это по сто пятьдесят франков за кило. И то я им отказываю!

Боже, чего бы я не дал в эту минуту, чтобы Пьер видел, как стюард подкладывает мне на тарелку куски ветчины!

Чтобы улучшить пищеварение пассажиров первого класса, во время завтрака и обеда играет оркестр.

На меню обычно указывают главную вещь, которую исполнят музыканты.

Бывают недоразумения. Какой-то пассажир, не обладающий большими музыкальными познаниями, съел торт, уничтожил поставленные перед ним фрукты и потребовал у метрдотеля:

— А теперь дайте мне «Травиату».

Он решил, что «Травиата» — это мороженое.

Во втором классе едят хорошо, но оркестра нет.

В третьем классе кормят из рук вон плохо.

Я знаю: тысячи людей жаждут сейчас бежать из Европы. Они готовы ехать в каких угодно условиях — в трюме, на палубе, только бы уехать из гитлеровской Европы. Здоровые мужчины, которым угрожает концентрационный лагерь или отправка в Польшу, на работы в Германию, могут и должны принять любые условия поездки. Но женщины, но дети? Как могли отправить стариков, женщин и детей в подобных условиях? В товарном трюме, переделанном под дортуар, даже не поставили вентиляторов. Полное отсутствие воздуха, света, самых элементарных гигиенических инсталляций. И в этом трюме люди ехали почти месяц в тропическую жару!

Тот, кто был в трюме «Серпа-Пинто» во время качки, когда почти все пассажиры четвертого класса были больны, никогда не забудет этой ядовитой, тлетворной атмо-

сферы, отравленного воздуха, этих смрадных, тошнотворных луж на полу, которые никто не вытирал, стонов и воплей людей, которые не имели даже сил, чтобы подняться на крошечный клочок отведенной им нижней палубы...

Каждый день, по мере того, как мы удаляемся от Европы, приходится переводить часовую стрелку на час назад.

Часы переводят в полночь, когда все спят.

Утром начинаются драмы. Ни свет ни заря пассажиры отправляются к ванным комнатам. Стюард преграждает им дорогу:

— Но баньо! — говорит он.

Начинается сложный спор, в котором каждая сторона изъясняется на своем языке. Стюард объясняет, что нет еще шести часов. На наших часах уже семь.

— Моменто, фаш фаворе! — сердится он.

Еще хуже обстоит дело с утренним завтраком. Желудок не подчиняется переводу часовой стрелки и в привычное время требует пищи. Увы, каждый день мы получаем утреннее кофе на час позже. Пассажиры бродят по палубе как привидения и тоскуют:

— И подумать только, что в Марселе уже полдень, люди сидят в ресторанах, а мы еще чая не получили...

После завтрака нужно отправиться к карте и посмотреть, сколько мы прошли за истекшие сутки. Флажки, которыми отмечается положение «Серпа-Пинто», неизменно ползут вниз, на юго-запад, в сторону Ямайки. Кстати, пароходный комиссар сообщает, что английский контроль будет произведен на Ямайке. На дэках вывешено объявление: англичане запрещают провоз драгоценностей или наличных денег свыше чем на тысячу долларов.

При отъезде из Казабланки нам разрешили взять по пятьсот франков на человека. Желающие могли обменять эти франки на эскудосы в пароходной кассе.

С утра у кассового окошечка вытягивается хвост людей с франками в руках.

За десять франков нам выдают один эскудос. За доллар тут дают всего четырнадцать эскудосов.

Что можно получить на пароходе за один эскудос? Ничего.

Люди целыми днями заняты сложными расчетами: переводят франки на эскудосы, эскудосы на доллары, ахают, огорчаются и ничего не покупают. Какая-то дама жалуется:

— Я третьего дня выпила стакан сельтерской воды и заплатила за него тридцать пять франков. Так с тех пор у меня даже жажда пропала...

По утрам маленький грум вывешивает на палубе листок с краткой информацией о том, что происходит в мире. Увы, информация напечатана по-португальски, и мы ничего не понимаем.

Остается радио.

Два-три раза в день пассажиры собираются в баре вокруг радиоаппарата. Громкоговоритель ревет во всю:

— Говорит Лондон. Передача Свободной Франции...

И я вспоминаю: за слушание английского радио сейчас во Франции беспощадно приговаривают к тюремному заключению, а иностранцев отправляют в лагеря. По вечерам, в часы лондонской передачи, полицейские в штатском входят в дома, идут от двери к двери и прислушиваются: если слышно радио, они звонят, составляют протокол, и человек попадает в списки врагов режима со всеми вытекающими из этого последствиями...

Владелец дома, которого я знал, большой поклонник Де-Голля, нашел идеальный способ самозащиты: в восемь часов вечера он запирал нижнюю дверь. Полицейские не могли проникнуть в дом. В девять часов, когда передача кончалась, он дверь отпирал.

В Париже слушают радио, накрыв аппарат и голову толстым одеялом.

На верхней палубе прогуливают четвероногих, симпатичных пассажиров.

Мой друг, белый пудель Мики чувствует себя превосходно, не признает морской болезни и с наслаждением пожирает печенье, которое мы тащим для него тайком с чайного стола.

По существу Мики такой же пассажир, как и все остальные: за его билет заплачены сотни эскудосов, у

него настояший паспорт с фотографиями и множеством виз.

Чтобы получить право на въезд в Америку, Мики пришлось проделать немало разных формальностей.

Сначала он был у врача. Врач получил пятьдесят франков и выдал свидетельство о том, что Мики — чудесный, здоровый пес и что он не страдает никакими органическими болезнями.

Затем пришлось отправиться в комиссариат и заверить подпись врача.

После чего пошли в префектуру и заверили подпись комиссара.

Министерство Иностранных Дел на Кэ д-Орсэ любезно заверило подлинность подписи префекта. Здесь к собачьему паспорту Мики на гербовой бумаге прикрепили фотографию пуделя с тщательно расчесанной бородой и великолепным новым ошейником.

Мики побывал еще у какого-то врача, который еще что-то заверил.

В Американском Консульстве поставили визу и большую красную печать, которую Мики с наслаждением лизнул.

В испанском консульстве за триста франков получили собачью транзитную визу.

Последний визит был к консулу португальскому, который оказался большим любителем пуделей. Здесь Мики получил кроме транзитной португальской визы еще и кусок сахара и, чтобы показать свое хорошее воспитание, любезно подал консулу лапу.

Хозяева Мики жалуются:

— Мики хорошо, а у нас из-за него — собачья жизнь.

Пятый день, медленно поднимась и опускаясь, «Серпа-Пинто» режет волны океана.

Флажки на карте ползут к двадцатой параллели. Мы пересекли тропик Рака.

Радио сообщает: в Виши двадцать пять градусов мороза. В Испании снежные заносы. В Венеции каналы покрыты льдом. В Нью-Йорке — сильные морозы... А мы невыносимо страдаем от тропической жары, не знаем, куда скрыться от палящего солнца. Офицеры облачились в белые костюмы. Дамы щеголяют в летних платьях.

В каютах день и ночь гудят вентиляторы, не принося ни малейшего облегчения.

Веет горячим южным ветром. Появились летающие рыбы. Они внезапно выскакивают из воды, пролетают несколько десятков метров и снова ныряют.

Ночью над океаном встает большая, тропическая, немного бутафорская луна.

На борту радостное событие: какая-то пассажирка ночью родила дочь. Капитан, облачившись в парадную форму, в присутствии всех офицеров вписал в корабельную книгу акт о ее рождении.

По правде говоря, мать рассчитывала, что ребенок родится позже, уже по приезде в Соединенные Штаты. Она не предвидела только одного: боковой качки.

Переболев сутки морской болезнью, пассажирка разрешилась от бремени раньше срока. Вот почему девочка, рожденная на португальском пароходе, будет португальской, а не американской гражданкой.

Пассажиры от нечего делать обсуждают сложный юридический казус: впустят ли младенца, не имеющего визы, в Соединенные Штаты?

В честь парохода девочке дано имя Серапинта.

Пароход — это маленький плавучий городок с тысячным населением. Люди рождаются, болеют и умирают.

Через три дня после рождения Серапинты на борту скончался пассажир первого класса.

Мы не знали его. Это был старик голландец. Он сел на пароход в Лисабоне и ехал с женой, сыном и внуком в Нью Йорк. Было жарко, старик мучился от припадков грудной жабы и никогда не выходил из каюты... И в конце жаркого, тропического дня, путешествие его закончилось. Он прибыл в вечный, тихий порт.

Вечером капитан запретил музыку, и на мачте приспустили флаг. Люди говорили шепотом, внезапная эта смерть в океане, у самой Земли Обетованной, всех опечалила, словно речь шла о близком для каждого из нас человеке.

Днем покойника убрали, уложили в грубый деревянный ящик, покрыли голландским флагом и отнесли на корму. Его оставили под брезентовым навесом, чтобы защитить от солнца. Был горячий, душный день, от гроба уже шел легкий приторный запах тления. Старики сидели у гроба, заунывными голосами читали молитвы и плакали над судьбой человека, которому будет отказано в могиле.

Когда красный солнечный диск исчез в океане, пароход застопорил. Матросы набожно обнажили головы, подняли гроб и поднесли его к самому борту.

Ветер спал. Тропическая ночь наступила быстро. В полумраке на палубах молчаливо теснились пассажиры, пришедшие проститься со случайным своим и недолгим попутчиком. И издали доносились мудрые, всепрощающие слова последней, напутственной молитвы:

— ... Господь полон милости в небесной своей выси...

В небесной выси загорались первые, яркие звезды. Пароходная лебедка тихо подняла деревянный ящик, отвела его за борт и опустила в уровень с водой. Старый моряк наклонился над бортом, перерезал канат, мы услышали тихий плеск воды и потом снова наступила тишина. Океан принял останки человека.

...Через час, на юго-востоке, мы увидели далекий маяк Сан Доминго.

На верхнем дэке с утра до ночи работает уже немолодой португалец. Он моет палубу, чистит медь, вытирает столы; он работает медленно, методично, с видимым удовольствием, и всегда у него находится что делать.

Я обратил на него внимание в первый же день — этот человек не был одет в обычное матросское платье, на нем была черная жилетка, и он работал, засучив по локти белую рубашку.

А через несколько дней, во время прогулки по верхнему дэку, комиссар парохода показал мне человека в черной жилетке и с улыбкой сказал:

— А вот и наш «заяц». Оказался отличным работником!

Это был, действительно, трудолюбивый, тихий, аккуратный «заяц». В Лисабоне он поднялся на борт с группой уборщиков. Проработал день, а ночью забрался в товар-

ный трюм и спрятался там где-то между ящиками и тюками. Погрузка закончилась, трюм закрыли досками, парусиной, железными болтами. А через сорок часов, когда «Серпа-Пинто» уже давно была в открытом море, дежурному офицеру донесли, что в трюме происходит что-то неладное: оттуда доносятся стоны и душераздирающие крики.

— Откройте!

Когда сняли крышку и открыли трюм, на палубу вышел страшный, еле державшийся на ногах человек, почти ослепший от внезапного солнечного света. Он сделал несколько шагов, вздохнул полной грудью свежий воздух и хрипло сказал:

— Аква!

Ему дали воды, он долго и жадно пил, и потом рассказал, что он — португалец, что на родине ему нечего было делать и нечего есть, и он решил бежать в Америку... Его оставили в покое и предложили работать за пищу. Большего он и не хотел.

Его звали Сюарез. Он сказал мне позже, что работал десять лет в Париже гарсоном кафе — это было хорошее ремесло, он был счастлив, имел сбережения. Но потом пришла война. Сюарез вернулся домой, проел свои деньги, восемь месяцев ходил по Лисабону и не мог устроиться. И тогда он решил попытать счастья в новой стране, забраться на один из пароходов, идущих в Америку.

— Что со мной сделают в Нью Йорке, синьор? — спросил он. — Запрут на Острове Слез или вернут обратно, в Португалию?

И я впервые увидел человека, который мечтал попасть на Эйлис-Айленд... Сюарез вздохнул и с еще большим ожесточением начал шаркать мокрой шваброй по палубе.

Иногда я спускаюсь вниз, на крошечную палубу четвертого класса. В послеполуденные часы, изнуренные зноем и качкой, люди спят вповалку на матрасах, вытащенных из зловонного трюма, на одеялах, на брезентах.

Четверо эмигрантов примостились на пустом ящике из-под апельсинов и с ожесточением играют в карты. Рядом с ними, на другом ящике, функционирует клуб шахматистов... Группа немецких евреев, вооружившись грам-

матиками, изучает английский язык; над головами их на протянутой веревке сушится детское белье...

Предусмотрительные люди захватили с собой из Лисабона и Казабланки шезлонги, но места так мало, что шезлонги стоят тесно, один к одному, в четыре ряда, так что сидящие не могут даже вытянуть ноги... В тропическую жару в трюме нет возможности продержаться и получаса — тело покрывается испариной, начинаются приступы тошноты, и по ночам вся палуба четвертого класса превращается в гигантский дортуар, где валяются рядом полуголые мужчины, женщины и дети...

От этой тесноты, от постоянной скученности и вечного пребывания на людях нравы грубеют, характеры ожесточаются. Утром какую-то зловредную старуху, не дававшую никому спать своими жалобами и разговорами, облили холодной водой... Две пассажирки вцепились друг другу в волосы из-за места в тени... Старики жалуются, что им не дают спать: по ночам молодежь собирается в кружок и пиликает на гармонике...

Для пассажиров, едущих в «дортуаре», это бесконечное, мучительное путешествие действительно превращается постепенно в невыносимую пытку.

Однообразная, плохо приготовленная пища, вызывает у всех отвращение.

— В лагере могло быть хуже, — утешают друг друга оптимисты.

Но в лагере, по крайней мере, за такую жизнь не брали по 300 и по 400 долларов с человека...

После Кубы, когда во втором и третьем классе освободится много мест, дортуар будет фактически упразднен: почти все пассажиры будут переведены из трюма в каюты.

Мы проходим у пятнадцатой параллели, постепенно приближаясь к Ямайке. Завтра, после двенадцатидневного плавания, «Серпа-Пинто» бросит якорь в Кингстоне.

Жара невыносимая. Пассажиры большую часть ночи проводят на палубе, в шезлонгах. Над океаном стоит желтая луна.

Каждую ночь на верхней палубе бал. Офицеры обучили пассажиров своему португальскому танцу «Тироли-рало» — смеси «Ламбец-Уока» с мимикой глухонемых. Пароч-

ки приседают, прохаживаются друг перед другом, прищелкивают пальцами, подносят их к губам — мимика должна изображать встречу влюбленных и идиллический роман.

Музыканты поют в такт:

A tocar a concertina
Ea dancar o tiroliralo!

После «тиролирало» оживление спадает. Музыка еще играет, но парочки расходятся любоваться лунным сиянием на воде.

Люди, страдающие бессонницей, находят последнее убежище в баре, за стаканами виски-сода.

# ЯМАЙКА

На девятнадцатый день плавания вдали показываются зеленые гористые берега Ямайки.

«Серпа-Пинто» стопорит машины на рейде Кингстона и выбрасывает сигнал:

«Пришлите лоцмана!»

Через несколько минут к нам подходит катер, на носу которого, рядом с лоцманом в широкой панаме, стоит рослый канадский офицер в шортах, колониальной каске и рубашке цвета хаки. Катер описывает полукруг, пришвартовывается. Офицер поднимается на борт. Одновременно «Серпа-Пинто» салютует: трепеща по ветру, на мачте взвивается большой английский флаг.

Почти два года никто из нас не видел этого флага. И внезапно долго сдерживаемые чувства прорываются: пассажиры парохода разражаются бурными рукоплесканиями. Только в эту минуту каждый из нас отчетливо, почти физически начинает ощущать, что мы ушли из гитлеровской Европы и что мы прибыли наконец в лагерь друзей.

Вслед за офицером на борт поднимаются два десятка канадских солдат с револьверами, винтовками, даже

с ручными пулеметами, в железных накаленных от солнца касках на головах.

Мы в английских водах. И наш пароход символически «оккупирован» англичанами.

Винты снова пущены в ход. За кормой бурлит. «Серпа-Пинто» начинает медленно и осторожно пробираться вперед, между песчаными мелями и буйками, указывающими дорогу в порт. Постепенно перед нами открывается панорама необыкновенной красоты. Просторная, закрытая от ветров бухта, со всех сторон окружена зелеными горами. По зеркальной поверхности воды тихо скользят маленькие лодки с квадратными парусами. Над самой палубой пролетают большие, никогда не виданные черные птицы с красными клювами. В прозрачной воде плывут и играют изумрудного цвета рыбы. Но все взгляды устремлены в самую глубину бухты, где постепенно вырисовывается Кингстон, столица Ямайки. Хотелось бы сделать несколько снимков, но с того момента, как англичане поднялись на борт, нам предложено было сдать наши аппараты. Мы в зоне военных действий и делать снимки воспрещается.

Особенное волнение царит на палубе третьего класса, где толпятся будущие «ямайцы» — 150 поляков, которые должны высадиться в Кингстоне. Как их встретят здесь? Как устроятся они в новой, экзотической стране? Вдруг на палубе раздается дружный хохот, и десятки людей показывают в сторону первого портового амбара, мимо которого мы проходим. На амбаре громадными черными буквами выведено: «Ямайский ром Мейера».

На Ямайке есть Мейер, найдутся, конечно, и другие соплеменники, и польские евреи быстро успокоились. А через час принесли местную английскую газету. На первой странице мы увидели объявление, которое окончательно разуверило нас относительно дальнейшей судьбы остающихся в Кингстоне:

Каждый вечер в ресторане «Пальм Бич»
поет цыганские романсы
СОНЯ МОЛДАВСКАЯ
Изысканная русско-польская кухня

...Двенадцатая параллель, тропик Рака, поникшие от жары пальмы, 50 градусов выше нуля — и зразы по-польски, водка со льда, цыганские романсы Сони Молдавской...

Положительно, ничего нового нет под луной.

В Кингстоне по требованию английского контроля нам пришлось простоять пять дней.

Если бы не совершенно невыносимая влажная жара, мы об этом не пожалели бы. Смуглые, рослые ямайцы начали приносить на борт свежие фрукты. Какая-то дама дала негру доллар, попросив его купить апельсины. Через час негр поднялся на борт, обливаясь потом. За спиной у него была громадная корзина, доверху наполненная бананами, грейпфрутами, апельсинами, кокосовыми орехами и какими-то экзотическими фруктами, названия которыых никто не знал. Дама, мечтавшая о десятке апельсинов, получила за доллар содержимое целой фруктовой лавки! Впрочем, «получила» она в действительности очень мало: в мгновенье ока дети и взрослые расхватали почти все, что было в корзине. И потом в течение целого дня чернокожие носильщики, полицейские и портовые чиновники, делавшие все возможное, чтобы доставить нам удовольствие, приносили фрукты, и люди ели их до бесконечности, до одурения. Громадного роста ямаец с тонким, умным лицом, немного говоривший по-французски, научил меня, как разбивать свежий кокос, чтобы не потерять ни одной капли белого, душистого, сладковатого молока.

Он взял молоток, осторожно постучал по диагонали ореха, и громадный кокос вдруг раскололся пополам. Внутри оказался стакан живительной влаги, прекрасно утоляющей жажду. О, эта невыносимая тропическая жажда! Я лежу целый день в «рокинг-чер» на верхнем дэке, где есть немного воздуха, лежу с закрытыми глазами и мечтаю о горячем душе, после которого белье не будет липнуть к телу, о бесчисленных стаканах воды со льдом, о том, как хорошо было бы броситься за борт, выкупаться в океане. Я перебираю в памяти все существующие ледяные напитки. Самый лучший напиток была бы хрустальная, ледяная вода из источника «Саук-Су», в горах под Феодосией, где я родился. Мальчики ухо-

дили в кизильник пить эту воду, и какая бы ни стояла жара, вода в источнике всегда была ледяная, от нее стыли зубы, и мы пили долго, с ожесточением. Говорят, в этом климате нужно пить как можно меньше. Нет, это невозможно.

— Синьор! Фаш фаворе — бутылку минеральной воды.

Синьор приносит бутылку минеральной воды и, желая научить меня еще одному португальскому слову, тычет пальцем в нарисованного на наклейке зеленого попугая и говорит:

— Папагай!

И его очень удивляет, что я сразу запоминаю это слово.

Папагай, папагай целый день, со льдом — как в гимназические годы, до одурения, до зубной боли!

Английский контроль действует решительно: завтра в шесть часов утра пассажиры должны спуститься на берег со всеми своими вещами.

— А багаж, находящийся в трюме?

— Багаж, находящийся в трюме, будет также выгружен. Пароход должен быть совершенно очищен, чтобы мы могли его обыскать.

Дамы в отчаянии.

Нужно начать укладываться, мять летние платья, замыкать неимоверно распухшиее в пути чемоданы... На пароходе свыше 800 пассажиров, у них тысячи чемоданов, сундуков и ящиков, все эмигрантское имущество людей, быть может, навсегда покинувших свои дома и забравших максимум того, что можно было взять. В течение дня чернокожие носильщики с криком волочили на берег, в таможню, наши вещи, и люди волновались, как потом они найдут свои чемоданы в этом хаосе?

Другое неожиданное известие: так как англичане решили основательно обыскать пароход, всем пассажирам придется его покинуть. На два-три дня они будут помещены в лагерь... Это уж вызывает настоящую панику. Добрая половина пассажиров «Серпа-Пинто» имеет о лагерях весьма точное представление. Многие сидели в Дахау. Другие познакомились с прелестями французских концентрационных лагерей, где не было даже немецкой гигиены

и чистоты. Все мы были интернированы неделю в Казабланке, в бараках, где спать приходилось на полу, на грязных мешках, заменявших матрасы... И теперь, вырвавшись из Европы в свободные страны, мы снова должны попасть в лагерь, за колючую проволоку!

День прошел в мучительном ожидании. Старая женщина, соседка по каюте, тряслась, как в лихорадке, и горько плакала. Какой-то злой рок преследовал эту несчастную. В Германии она сидела два года в лагере. Потом ее выслали во Францию — гитлеровская власть любит таким путем освобождаться от ненужных ртов. И во Франции ее немедленно посадили в лагерь, где люди умирали с голоду. И теперь снова, опять, до бесконечности?

Люди ходили с мрачными лицами и злобно говорили:

— Вот, мы мечтали, что нам разрешат высадиться на Ямайке и осмотреть город. Вот и дождались — нам теперь покажут.

И нам показали.

Пассажиры медленно спускались с парохода по шатким сходням. У всех в руках были чемоданчики и, несмотря на адскую жару, у многих были накинуты на плечи шубы на енотовом и волчьем меху, каракулевые дамские манто, видавшие лучшие виды, громадные шубы, не влезавшие в чемоданы и казавшиеся здесь, под тропиками, каким-то чудовищным анахронизмом... Пассажиры исчезали один за другим в воротах таможни, и больше мы о них ничего не слыхали.

Мы знали, что англичане обыскивают основательно, что подозрительных раздевают донага... Потом всех сажают в автобусы и куда-то увозят. И след людей теряется, и оставшиеся на борту больше ничего не знают об их судьбе.

Так прошел день, два, три. Уже спущены были все «ямайцы», уже прошли через осмотр эмигранты для Кубы. Оставалось только проверить пассажиров первого и второго классов, ехавших в Соединенные Штаты. Наступила наконец и наша очередь.

Громадный зал таможни, куда нас ввели, кишел, как муравейник. Люди, руководствуясь еще какими-то непонят-

ными для нас указаниями, переходили от одного стола к другому. На одном столе они оставляли свои паспорта, и здесь пассажиров тщательно допрашивали. На другом нужно было разложить все бумаги, дальше — предъявить деньги.

— Это все, что у вас есть?

— Все.

Чиновник тщательно просчитывает протянутые ему банкноты, испытующе смотрит и заключает:

— Хорошо, я вам верю.

А затем остается самое неприятное: идти разыскивать свои чемоданы и сундуки и присутствовать при их вскрытии. Чемоданы разложены бесконечными рядами, и пассажиры долго бродят вдоль этих рядов, пытливо присматриваясь к наклейкам, и это чем-то напоминает людей, которые разыскивают на кладбище нужную им могилу и не могут ее найти...

Офицер «Интеллидженс Сервис», к которому нас направили, оказался человеком сведущим и любезным — он много лет жил в Париже, в Латинском квартале, прекрасно говорил по-французски, и то обстоятельство, что ему попались русские «клиенты», было ему, видимо, особенно приятно: в этот день известия с русского фронта были весьма утешительные. Он задал несколько вопросов: что делал я в Константинополе 22 года назад, как жил после бегства из Парижа, каковы мои политические убеждения, тщательно записал ответы, и несколько минут спустя формальности были закончены.

От личного обыска мы были избавлены. Обыскивали, как можно было судить, только заранее намеченных людей или показавшихся почему-либо подозрительными, и в этих случаях обыск был беспощадным, он продолжался час, два, все вещи извлекались из чемоданов и сундуков. Каждая мелочь — от носового платка до складки галстука — подвергалась тщательному осмотру. Обыск давал иногда интересные результаты.

Однофамилец знаменитого на весь мир пианиста был, вероятно, потрясен, когда офицер, просматривавший его паспорт, вдруг спросил:

— А где ваш ключ?

— Какой ключ?!

— Ну, вы отлично знаете, какой. Дайте мне его.

Дальнейшее препирательство было бессмысленно. Пассажир вынул из кармана ключ — самый обыкновенный ключ, и офицер высыпал из него на стол несколько каратов мелких бриллиантов, которые торговец хотел контрабандным путем ввести в Соединенные Штаты. Всего на «Серпа-Пинто» было найдено таким путем сто сорок каратов скрытых бриллиантов.

Конечно кто-то из знавших секрет ключа «продал» его в контроле. И так же продан был секрет поляка, который высадился на Ямайке, и в каблуках которого нашли десять тысяч долларов. Офицер действовал безошибочно. Он не обратил никакого внимания на ботинки, бывшие на ногах у пассажира, а прямо взял из чемодана нужную ему пару поношенных туфель... Человек, имевший в каблуках десять тысяч долларов, больше года жил в Лисабоне на счет благотворительных организаций и приехал на Ямайку за счет «Джойнта». Это не выдумка, я знаю его фамилию, и я видел другого, который горько плакал: у него отобрали 750 фунтов и бриллианты, которые он пытался скрыть от контроля. Впрочем, это исключения. Большинство пассажиров, имевших при себе свыше тысячи разрешенных долларов, сдали их англичанам под расписку и получили заверение, что деньги эти будут им возвращены.

Отыскался и русский переводчик, человек, говорящий на двенадцати языках. Он быстро просмотрел все мои бумаги и все вернул... Когда формальности по контролю были закончены, офицер «Интеллидженс Сервис» извинился за причиненное беспокойство и предложил вернуться на борт «Серпа-Пинто».

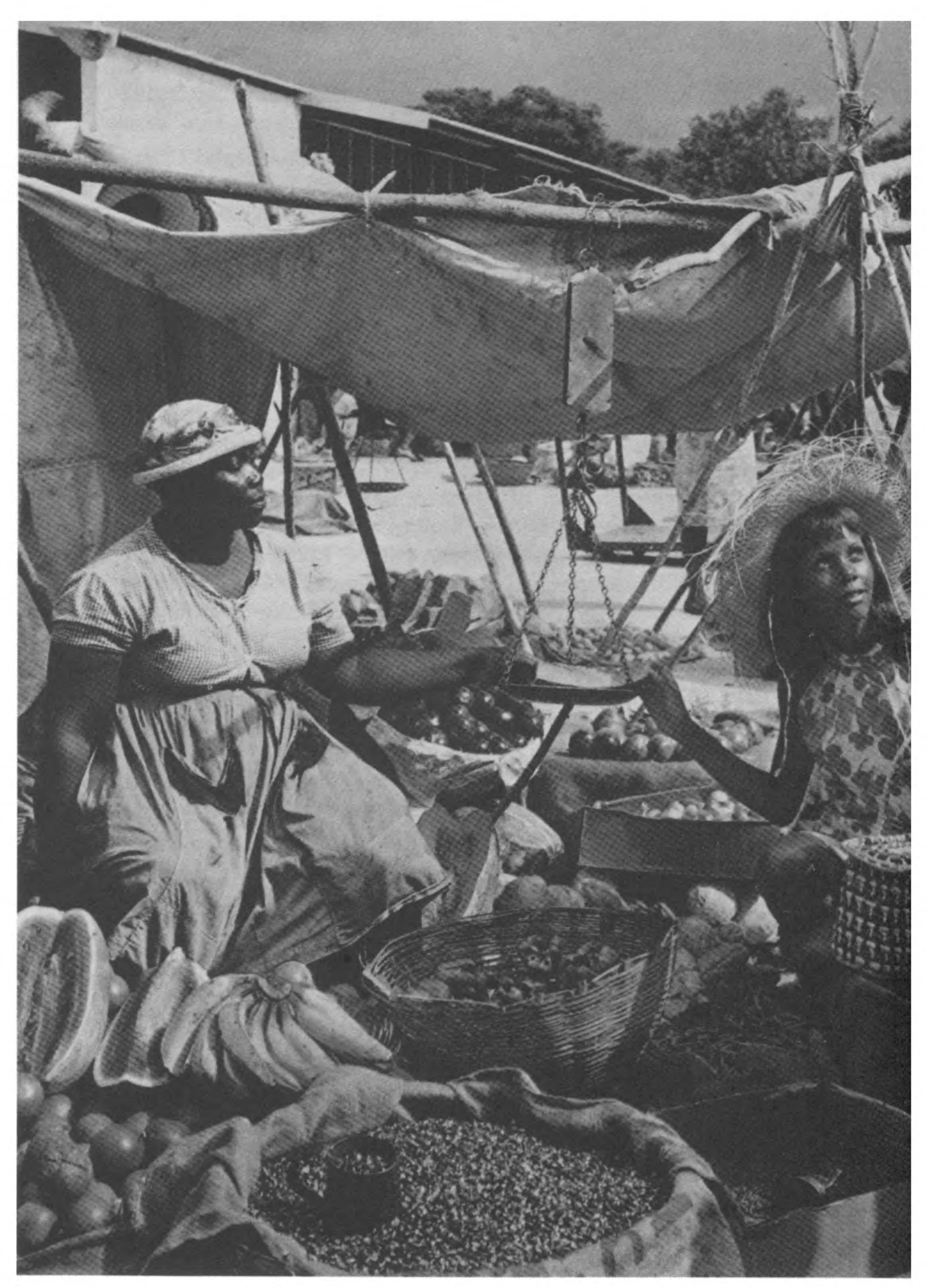
— Разве вы не пошлете нас в лагерь?

— Очень рад, что избавлен от этой необходимости.

По-видимому, лицо мое не изображало особой радости, потому что офицер не без удивления спросил:

— Вы как-будто недовольны? На пароходе вам будет гораздо удобнее.

И тут начался изумительный торг. Журналист просил, чтобы его отправили в лагерь «хотя бы на один день». Офицер уверял, что не может, не понимает этого желания — первый раз в жизни он встретил человека, упра-



**Рынок на Ямайке**

шивавшего послать его в лагерь, фактически лишить его свободы.

— Доставьте мне это удовольствие...

— Разрешите мне лишить вас этого удовольствия...

Скрепя сердце пришлось вернуться на пароход. Воображение рисовало самые мрачные картины: конечно, пассажиров первых двух классов и американских граждан в лагерь не отправили, потому что там плохо, что-то вроде бараков в Аин-Себа...

В эту ночь, как всегда, на палубе играл оркестр. Но никто не хотел танцевать. Мы страдали за друзей, отправленных в лагерь.

На следующий день, около полудня, из лагеря пришел первый автокар с освобожденными пассажирами. Поднявшись на пароход, они бросились к нам навстречу:

— Бедные, как мы жалели, что вас не посадили в лагерь! Эти три дня были для нас настоящей радостью, душевным и физическим отдыхом.

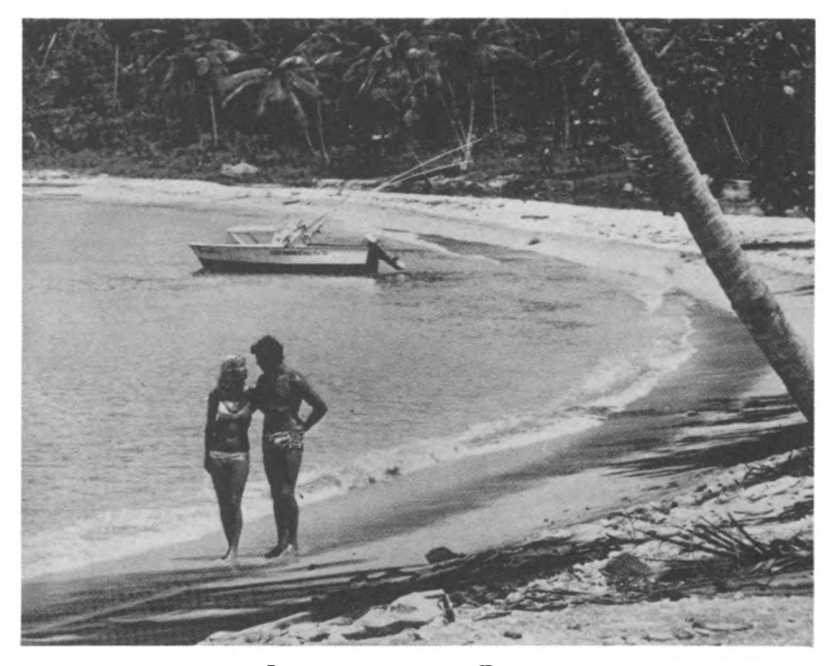
Остроумие показалось довольно плоским. Но подходили все новые автокары, из них выходили люди с сияющими лицами, и постепенно из рассказов их выяснилась изумительная картина того, что пришлось им пережить в английском «концентрационном» лагере.

Сначала их повезли городом, английским провинциальным городом, с «бонгало» по обеим сторонам просторной улицы, с бесчисленными садиками, в которых цвели розы, и их поразило, что на улицах почти не видно белых людей. На улицах сновали чернокожие ямайцы, метисы — люди различных оттенков кожи, но одинаково приветливые и радушные. Потом красножелтые автокары ускорили ход, потянулись поля, сады, и через четверть часа они остановились у ворот, над которыми развивался британский флаг и висела надпись: «Лагерь Гибралтар».

Лагерь этот был выстроен, главным образом, для англичан и их семейств, эвакуированных из Гибралтара. Потом к ним начали присоединяться беженцы из других концов Империи, затронутых войной.

Внешний вид был не особенно радостный: долина, окруженная со всех сторон горами, проволока и дальше,

куда хватало глаз, бесконечные деревянные бараки на сваях, которые предохраняли таким путем от сырости... Удивление началось с того момента, когда директор лагеря вышел приветствовать прибывших, обратился к ним



**Один из пляжей Ямайки**

с краткой речью и заранее просил извинить за то, что не все готово к приему: он рассчитывал на 150 гостей, и только за час до этого его предупредили, что пришлют свыше 600 человек.

— Но завтра, леди и джентльмены, все будет в порядке.

Скауты подхватили у леди и джентльменов все их вещи вплоть до зонтиков и проводили в отведенные бараки. И тут у людей, ждавших на основании казабланкского опыта, спанья на полу, на соломе, захватило от удивления дыхание. В безукоризненно чистых бараках типа швейцарских «шалэ» стояли рядами кровати, выкрашенные белой масляной краской. На кроватях были отличные шерстяные матрацы, подушки и ослепительно белое, безукоризненное белье. На новеньких розовых, голубых и зеле-

ных одеялах лежало по большому мохнатому полотенцу и сверху — кусок туалетного мыла.

Столик у каждой постели, на нем зеркало в раме. Не хватало только цветов. Но они были — эти яркие розовые, желтые, зеленые одеяла, эти белые постели, на которые через широко распахнутые окна лился свежий воздух и яркий солнечный свет.

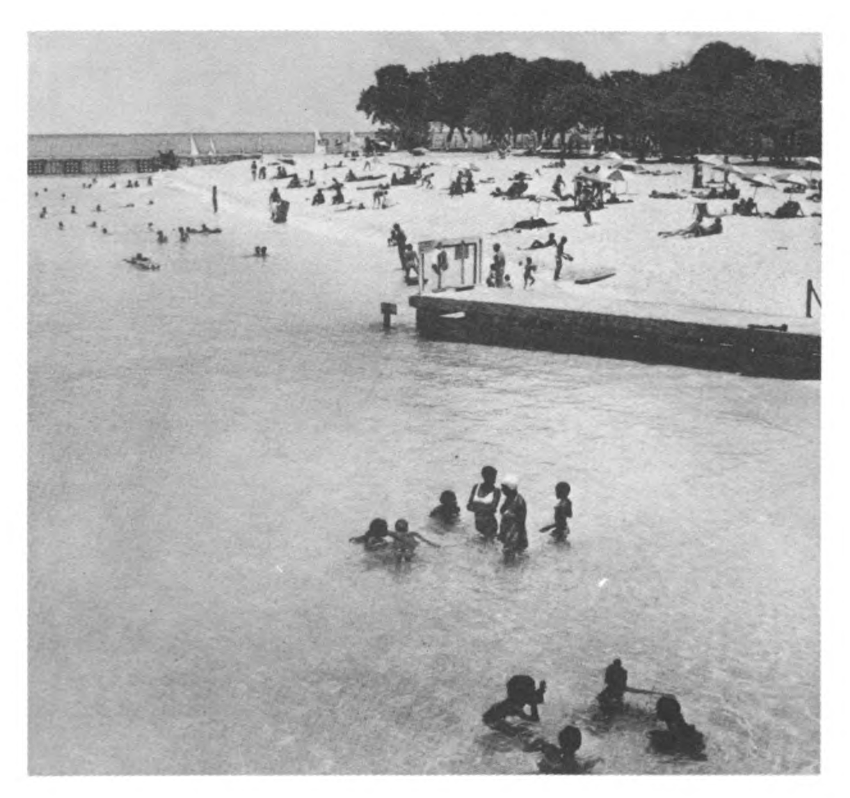
Потом их повели дальше. В особом бараке были установлены эмалированные ванны и души, функционировавшие целый день. В столовой, в громадных термосах, фильтрованная вода со льдом и рядом термосы с кипятком. Когда раздался гудок к обеду, они прошли в столовую, где сервировали веселые, очаровательные испанки из Гибралтара, и впервые после двухнедельной жизни на пароходе им подали настоящий, вкусный обед — не из консервов и мороженой рыбы и мяса, а из свежих, очень хорошо приготовленных продуктов. И гибралтарские барышни подкладывали в тарелки порции без устали, — одну, две, три, им, вероятно, казалось, что эти замученные люди, приехавшие из голодной Европы, ничего не имели во рту уже несколько дней.

После обеда они пили кофе со свежими сливками. А потом целый день специальный автокар возил их в кантину лагеря, где за несколько пенни можно было съесть порцию мороженого, купить шоколад, баночку варенья, фрукты, т. е. все те вещи, от которых давно отвыкли люди, приехавшие из опустошенной немцами Франции.

Когда наступила ночь, пришли скауты — они хотели развлечь гостей. На лугу был зажжен большой костер, скауты пели и плясали вокруг огня, и те, для кого они сделали свой ночной праздник, долго будут вспоминать о нем с благодарностью. И в бараках пассажиров пели, танцевали. Часов в одиннадцать ночи появился веселый чернокожий повар с громадным подносом, на котором лежали груды горячих пирожков и сандвичей на тот случай, если люди проголодались. На дессерт повар принес рисовую бабку с изюмом и ямайским ромом, и бабка имела заслуженный успех.

Пассажиры с «Серпа-Пинто» быстро обжились, изучили лагерь, рассчитанный на тысячи людей и постепенно

обстраивавшийся и совершенствующийся. Их поражало все: механический способ мытья посуды, гигиенические аппараты, которых лишены в Европе первоклассные отели. Эмигранты отдыхали на террасах в шезлонгах и деревян-



Пляж бухты Монтего

ных дачных креслах, побывали в клубе, заглядывали на теннисные площадки, в гимнастический зал.

На каждом шагу они видели необыкновенную заботливость англичан. Вот характерная мелочь. Дамы хотели прогладить помятые с дороги вещи, и целый день специальный человек был занят только тем, что разогревал для них утюги. Утром всем раздавали газеты, а затем подавали первый завтрак, состоящий из грейпфрута, порриджа, белого хлеба, масла, чая и кофе с молоком. И

все это было в неограниченном количестве, все дышало здоровьем, чистотой, радушием.

Кто-то обеспокоился:

— Сколько же придется нам за это заплатить?

Англичанин, которому задали этот вопрос, жестоко обиделся.

— Разве принято платить в гостях? Вы наши гости!

Читатель, быть может, не поверит и пожмет плечами. Что за чушь! Ведь в конечном счете это лагерь, в котором люди живут за проволокой, из которого в город выпускают только с особого разрешения, по записке коменданта. Это правда, и это самое ценное. Лагерь, но я говорил с людьми богатыми, сытыми, ехавшими на Кубу в каютах первого класса, со всеми удобствами, и они были в отчаянии, что провели в лагере только три дня, что каникулы кончились так быстро и нужно возвращаться на пароход. В конце концов дело не в постелях с белоснежным бельем, не в грейпфрутах и пирожных — многие имели это и на пароходе, — дело в том, что эмигранты, для которых не нашлось больше места в Европе, которые чувствовали себя затравленными зверьми, добычей для тюремщиков и политических садистов, снова почувствовали себя людьми, впервые встретили внимание, ласку, подлинно дружеское к себе отношение.

Вот почему, когда к концу пятого дня «Серпа-Пинто» покинул Ямайку, все пассажиры от мала до велика бурно рукоплескали англичанам, оставшимся на набережной. А англичане махали нам платками до тех пор, пока мы не вышли из порта.

Спуск багажа, контроль, личный осмотр — все это было забыто. У каждого из нас, даже у тех, кому не удалось побывать в лагере, было чувство благодарности к друзьям, случайно найденным на Ямайке.

Через час после отплытия мы вышли из бухты и остановились у предела британских территориальных вод. Военный конвой — два десятка веселых «томми», расположившихся на капитанском мостике, неуклюжих со своими спасательными поясами на груди, покинули «Серпа-Пинто» и спустились в свой катер.

Мы проводили их криками, аплодисментами. Каждый

солдат поднял свой большой палец и пожелал нам на прощанье «гуд лак». Катер отвалил.

Пароход взял курс на Гавану.

# ГАВАНСКИЕ ПРОГУЛКИ

Спать легли поздно, было слишком жарко, и в баре весь вечер капитан показывал необыкновенные фокусы: в магическом платке исчезали стаканы, зажженные папиросы, он безошибочно угадывал задуманные карты... Оказалось, что и другие офицеры нашего парохода обладают талантами престидижитаторов. Очевидно, показывание фокусов входило в программу развлечений пассажиров, замученных слишком долгой поездкой. И весь вечер в баре происходили чудеса с магическими бутылками, поддельными домино и бездонными бокалами.

Утром проснулись позже обыкновенного, от топота ног над головой и криков на палубе. И первое, что мы увидели в иллюминаторы каюты, были проплывавшие мимо, совсем рядом, мачты больших рыбачьих судов и стены старинной крепости: мы проспали прибытие в Гавану.

Первыми на борт поднялись полицейские в поэтических нежно-голубых формах, в фуражках с громадными полями и козырьками, а за ними ринулась толпа носильщиков, телеграфистов «Вестерн Юнион» и торговцев сигарами. Все они неслись по палубе, словно за ними гнался какой-то невидимый враг, совали пассажирам в руки свои номерки и телеграфные бланки и вопили по-испански:

— Телеграмос!

— Абана, синьор?

— Тобакко! Сигаро! Чоколат!

Через минуту у всех курящих уже были «гаваны», которые стоят здесь очень дешево — от двух до десяти центов за штуку, и весь пароход в мгновение ока был наполнен запахом сладкого сигарного дыма. В Гаване курят исключительно сигары. Человек с папиросой в зубах — довольно редкое явление. А табак для трубки — вещь просто несуществующая. Пришлось побывать в десяти

лавках, прежде чем удалось найти коробку табака, да и то американского, довольно дорогого.

Но главный успех выпал на долю предприимчивого газетчика, опередившего всех своих конкурентов. Мы истосковались по новостям, его пачка газет и журналов исчезла в одну минуту. Этого момента я ждал давно: взять в руки газету, напечатанную на двадцати четырех страницах, с хорошими фотографиями, купить толстый американский «магазин» на меловой бумаге, с многокрасочными объявлениями... За последнее время во Франции все газеты превратились в тощие листки: две страницы, из которых половина занята объявлениями и которые можно прочесть в пять минут. Впрочем, и пятиминутного чтения этих казенных листков было вполне достаточно, чтобы вызвать у вас чувство тошноты и отвращения.

Пароход наш стоял еще посреди гавани, когда от берега отвалило несколько моторных лодок, направившихся полным ходом к «Серпа-Пинто». Катера были переполнены эмигрантами, прибывшими на Кубу раньше, обосновавшимися здесь и теперь искавших среди пассажиров своих друзей и родственников.

Между катерами и пассажирами на борту мгновенно установился контакт. Какой-то толстяк, сложив руки рупором, кричал нам:

— Сема! Где ты, Сема?

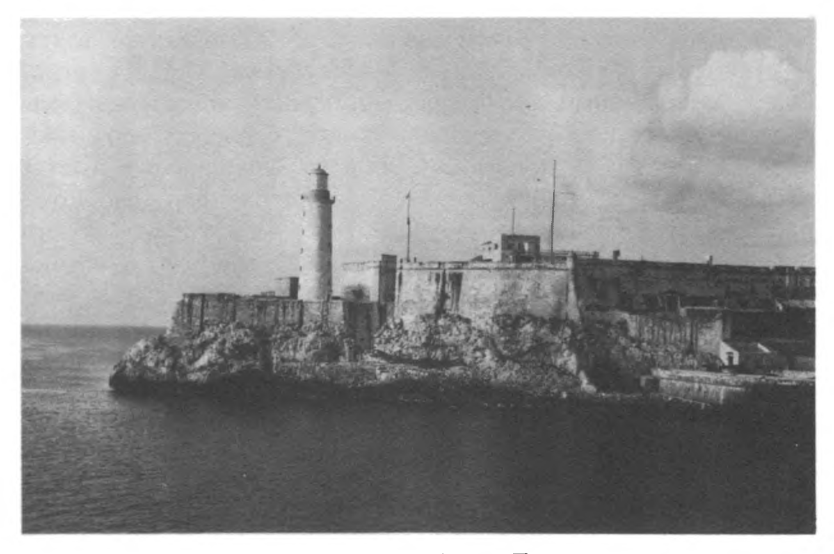
Через минуту Сема нашелся. Он свесился над бортом так, словно хотел броситься в воду, и его пришлось держать за пиджак. Между Семой и братом, бывшим в лодке, завязался взволнованный диалог:

— Когда нас спустят?

— Сегодня! Тебя повезут в лагерь, но ты не беспокойся! Главное, никому не давай денег, сколько бы ни требовали!

И в то же время с других лодок кричали на всех языках: по-русски, по-еврейски, по-польски, по-немецки, по-английски... Выкрикивали фамилии; до нас долетали только обрывки фраз, тонувших в общем шуме. Это напоминало свидание в тюрьмах с родственниками: их разделяет пустой проход, по которому взад и вперед прогуливается полицейский, две решетки, и люди прижимают лица к этим решеткам и кричат изо всех сил,

стараясь, чтобы их услышали с другой стороны... Лодки продолжали прибывать к нам непрерывно, и на одной из них я увидел друзей — журналиста из парижской еврейской газеты, который еще два месяца назад ходил по



**Маяк у входа в бухту Гаваны**

Марселю и боялся зайти в кафе, чтобы не попасть в облаву, а в другой был известный русский балетмейстер, просто приехавший на пароход, чтобы поискать друзей.

Около трехсот пассажиров должны были остаться в Гаване. Путешествие их благополучно окончилось, но мытарства были еще впереди. Их собрали на отдельной палубе, и полицейские в трогательной небесной форме долго проверяли визы и паспорта. А затем у всех отобрали багаж, даже ручной, посадили в лодки и отправили в лагерь «Трисконья», по другую сторону залива.

О лагере этом ходили довольно противоречивые слухи. На следующий день мне удалось повидать одного пассажира, заключенного в лагерь и выпущенного на два часа в город по срочному делу. Человек этот заплатил за свою визу, внес полностью залог, но за спиной его, как за важным преступником, все время шел поли-

цейский. И когда мы захотели зайти на минуту в кафе, чтобы купить сандвич, полицейский этому воспротивился... Из рассказа приятеля я узнал, что в лагере живется из рук вон плохо — он не оборудован. Еда, за которую берут один доллар в день, настолько отвратительна, что к ней не прикасаются, и все нужно покупать в кантине, где цены по сравнению с городскими — грабительские.

Есть постели и простыни, но нет ни одеял, ни полотенец, а между тем у пассажиров отобрали весь их багаж, и у многих нет при себе самого необходимого. Возможно, однако, что недостатки лагеря воспринимались особенно болезненно, так как свежи еще были воспоминания о приеме на Ямайке. Но самое мучительное — это полная неизвестность, в которой находятся заключенные: сколько времени их продержат в лагере? Известно только одно: быстрое освобождение зависит от каких-то местных посредников, от расхода в 300—500 долларов, и люди, не имеющие таких денег, должны сидеть и ждать, хотя визы их в полном порядке, и их вообще должны были бы немедленно освободить... Проходит неделя, и тариф за освобождение понижается наполовину... После двухнедельного сидения отпускают на свободу за сотню долларов, а то и еще дешевле. И эта система узаконенного «бакшиша» вызывает у людей естественное чувство негодования и протеста.

В конечном счете выпускают всех. Но сколько это стоит здоровья, нервов и денег!

Через час после прихода «Серпа-Пинто», «Вестерн Юнион» известил, что на наше имя прибыла телеграмма. По правилам военного времени прислать ее на борт не имеют права. Нужно лично явиться в контору с паспортом.

Человек, ведавший выдачей пропусков для спуска на берег, прочел письмо из телеграфного общества и сказал:

— Разрешение поехать в город будет стоить десять долларов.

— Почему?

— Если хотите спуститься на берег, заплатите десять долларов на благотворительные цели.

Не знаю в точности, какие именно благотворительные

организации имел в виду чиновник, десять долларов он положил в карман, но пропуск выдал. Благодаря этой картонке мы были почти единственными из пассажиров, которым удалось провести три дня в Гаване. О «пожертвованных» десяти долларах мы не пожалели.

Если не считать Казабланки, которая тоже начинает узнавать все лишения, связанные с войной и поражением



**Гавана. Фабрика сигар**

Франции, это был первый «настоящий» город, который мы видели после разоренной и нищей Европы. Гавана произвела необыкновенно сильное впечатление. Вероятно, нечто подобное испытывает человек, у которого долгое время на глазах была черная повязка и которого вдруг сразу вывели на яркий солнечный свет.

Два года мы не видели автомобилей, одичали и теперь боялись перейти дорогу перед этой непрерывной вереницей блестящих громадных «бюиков», наполнявших старые улицы торгового города. Мы останавливались,

как дикари, перед витринами магазинов и любовались булочками, пирожными, колбасами, сырами. В витринах высились горы американских консервов, сверкали банки с конфетами, веерами были разбросаны плитки шоколада. В магазинах лежали громадные окорока, жареные куры. От всего этого мы давно отвыкли, и это казалось странным: покупатели не стояли терпеливо в очереди на улице перед магазином, им заворачивали покупки в бумагу и — величайшая роскошь — даже завязывали пакеты шпагатом!

Нас, привыкших к ценам «черного рынка», поразила дешевизна продуктов. В «дульсерии» подали пирожные,



**Гавана. Старый квартал**

кофе с молоком, содовую воду, и за все это мы заплатили 25 центов. По европейским понятиям это было совсем даром.

К кофе почему-то подали сахар и соль. Мы сначала не обратили на это внимания, но кубинцы, заходившие в «дульсерии», неизменно подсыпали в свое кофе сначала соль, а потом чуть ли не четверть стакана сахара... Попробовал и я такое соленое кофе — оказалось очень вкусно.

Потом, пренебрегая богатым очень красивым, но современным кварталом Ведадо, мы бродили по улицам старого города, с сильным испанским колоритом, где на каждом

шагу попадались дома с балконами, украшенными цветами. Было жарко. В кафе и барах, на открытом воздухе или под колоннадой, люди пили замороженный ананасовый сок, и это были почти исключительно мужчины, все безукоризненно одетые, в широкополых шляпах, с гаванами в зубах. Иногда по тротуару проходили смуглые, пышнотелые красавицы, и десятки синьоров, словно по команде, поворачивали головы и провожали их долгими, одобрительными взглядами...

На площади, залитой горячим солнцем, стоит худощавый негр в узеньком пиджаке, не совсем черный, а цвета «кофе с молоком», больше кофе, нежели молока, и мечтательно смотрит на повозку торговца фруктами. Повозка эта — произведение искусства, симфония всех существующих цветов. По бокам свешиваются гроздья розового калифорнийского винограда и целый лес желтых и зеленых бананов. В ящиках лежат желтые и красные яблоки, апельсины, громадные грейпфруты, ананасы по 10 центов штука и неизвестные нам экзотические фрукты; красные внутри, приторно сладкие папаи, фрукт, напоминающий картошку, и какие-то зеленые дыни, непохожие на своих европейских сородичей.

Вывожу негра из созерцательного состояния:

— Как пройти к Капитолию?

Негр понимает по-английски. На Кубе очень сильно американское влияние, но местное население почти исключительно говорит по-испански с примесью кубинского наречия, и встретить человека, с которым можно объясниться, очень приятно.

Капитолий в двух шагах, негр обязательно хочет проводить нас туда. По дороге мы узнаем, что он шофер такси, британский подданный и родом из Ямайки, и когда мы рассказываем ему, что только что побывали на Ямайке, он в восторге.

— Вы сами из какой страны? — вежливо осведомляется он.

— Мы — русские.

Тут происходит нечто неожиданное. Наш чичероне присаживается на корточки, потом подпрыгивает вверх, начинает

неистово, восторженно хохотать и бросается пожимать мне руки...

— Русский! — кричит. — Синьор — русский?!

Мимо проходят два каких-то смуглых кубинца. Он останавливает их, тычет в меня пальцем:

— Синьор — русский! Синьор — из Москвы! Русские — самые лучшие и самые смелые люди в мире. Русские бьют немцев!*

Кубинцы тоже останавливаются, начинают улыбаться и пожимают нам руки. Очевидно, русские сейчас очень популярны на Кубе... Наш негр сдвигает свою соломенную шляпу на затылок и, захлебываясь от восторга, говорит:

— Меня зовут Макензи, как канадского первого министра. Вы можете располагать мной. Я больше не буду работать, я хочу показать вам Гавану. Я готов бесплатно чистить вам сапоги. Я покажу вам, где покупать самые лучшие сигары, и я повезу вас на ликерную фабрику, и вы бесплатно будете пробовать все существующие ликеры, и вы можете ничего там не купить... Раз вы русские — вы самые дорогие гости, вы имеете право на все лучшее. Макензи ваш друг и ваш слуга... Первым делом я должен познакомить вас с одним русским. Это — мой друг. Он уличный фотограф на площади Капитолия. Это храбрый русский синьор, и его здесь на Кубе все любят и уважают. Идемте!

Мы пошли за нашим новым и восторженным другом.

Храбрый русский синьор действительно стоял со своим аппаратом на площади Капитолия, перед зданием кубинского парламента.

— Говорят, вы русский? — спросил я, приближаясь.

— Немножко русский, немножко еврей...

В это время другой фотограф, стоявший на противоположном тротуаре, оставил свой аппарат и бросился через дорогу:

— Землячки приехали! Вы откуда будете?

* Это происходило в 1942 году.



**Гавана**
**Макензи и его пассажиры**

Он был украинец и жил на Кубе чуть ли не двадцать лет. Мы познакомились. Фотографы решили:

— Нужно вам побывать в нашем украинско-белорусском клубе. Там рады будут свежему человеку.

Они объяснили Макензи, как пройти к клубу, и мы двинулись в путь. Но едва мы пересекли площадь, как третий фотограф, внимательно следивший за тем, что происходит у конкурентов, помахал рукой и закричал:

— Здорово, товарищ! Откуда приехал?

Как выяснилось впоследствии, все уличные фотографы в Гаване — русские, украинцы или белорусы, живущие здесь уже много лет. Южане — народ тщеславный, любят фотографироваться на фоне Капитолия, и дела их процветают.

Русско-украинско-белорусский клуб, куда мы скоро пришли, помещается в двух просторных, скромно обставленных комнатах. Первое, что бросилось в глаза, были портреты Шевченко, Пушкина и... Сталина. По-видимому, клуб был коммунистического направления, и газеты на столе были коммунистические. Отступать было поздно, я назвал себя, и хотя газета моя была буржуазная, руководители клуба приняли нас приветливо. Это были люди, не очень искушенные в политике, да я и не счел нужным заводить с ними разговор на эти темы. Они рассказали, что раньше, до войны, на Кубе было всего человек сто русских. Половина из них кое-как пристроилась на заводах, в ресторанах, ремесленничают, ездят на такси, а другие влачат довольно тяжелое существование и нуждаются в поддержке более зажиточных земляков. В последнее время из Европы приехало много новых русских — тысячи, но в большинстве это люди состоятельные, и держатся они в стороне, посещая свой «либеральный» клуб и свои рестораны.

Несколько минут спустя мы вышли на улицу, предшествуемые Макензи, который совершенно обезумел от контакта с русскими, мечтал вслух о немедленном походе на Берлин и требовал создания мирового русского правительства с обязательным участием в нем президента Рузвельта и Черчилля.

Наступила теплая гаванская ночь.

В центре города, над Прадо, загорелись бесчисленные огни световых реклам. На «Пасео Марти» играл оркестр военной музыки. Город постепенно просыпался после дневной спячки, после жары, люди выходили на бульвары

подышать свежим воздухом, кафе и рестораны были переполнены. В толпе появились разносчики сладостей. Торговцы лотерейными билетами несли над головой плакаты со своими номерами и громко выкрикивали ходкий на Кубе товар:

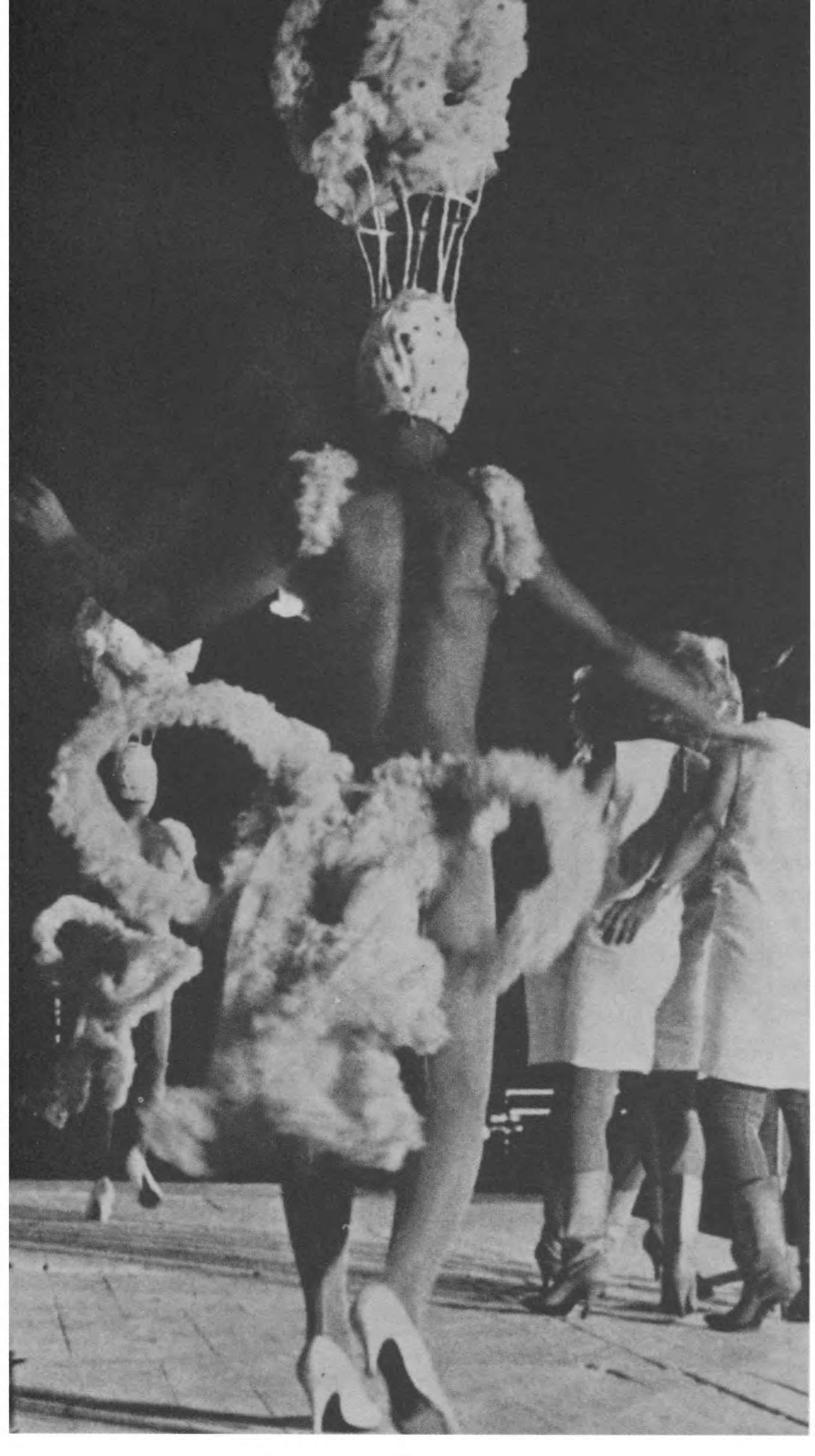
— Лотириа! Лотириа!

«Лотириа» шла бойко: оказывается, тираж производят каждый вечер, причем за десять центов можно максимально выиграть сорок долларов.

По мере того, как часовая стрелка приближалась к полуночи, движение на улицах все усиливалось. Автомобили, внутри которых сидели нарядные дамы, шли по Прадо сплошной стеной. Знакомый кубинец объяснил мне потом, что здешнее «высшее общество» пешком не гуляет: большую часть ночи богатые люди ездят по городу и кружат по Прадо в своих машинах. Иногда останавливаются у кафе, не слезают — лакей приносит им стакан освежающего питья или мороженое, они съедают его внутри машины и едут кататься дальше... Вообще едят и пьют в Гаване во всякое время дня и ночи, установленных часов для этого нет, и рестораны работают лучше ночью нежели днем. И еще одна забавная деталь поразила меня: чистильщики сапог работают всю ночь, причем надо отдать им справедливость — это великие мастера своего дела.

Мы бродили по самым людным и оживленным улицам, и потом снова выходили на Прадо. Вдоль тротуара шеренгами стояли элегантные молодые люди в широкополых шляпах, с подбритыми наполовину тоненькими усиками и любовались женщинами, которые прогуливались попарно вдоль главной аллеи. На Прадо гуляли больше темнокожие женщины, среди них были красивые и элегантные, но белых почти не было видно... Наглядевшись вдоволь на красавиц, молодые люди входили в ближайшее кафе и заказывали «Куба Либри» — душистую прохладительную смесь из кубинского рома и кока-колы со льдом, или пили выжатый апельсин, взбитый, как сливки. Время от времени на террасе кафе показывались уличные гитаристы. Они играли «Кукарачу», еще две-три вещи, получали несколько центов и уходили дальше.

В полночь на Прадо высыпали маски — где-то был костюмированный бал. Красные и желтые домино, девуш-



**Карнавал в Гаване**

ки в «парео» с распущенными волосами и обнаженными спинами бежали вдоль Прадо, и со всех сторон по их адресу раздавались приветственные крики и аплодисменты. В эту минуту я случайно взглянул на здание муниципального театра. На стене красовалось гигантское «V», внизу были расклеены афиши с призывом защитить демократию, и тут только я вспомнил, что Куба тоже воюет. Но как мало напоминало все здесь о войне, в какой удивительной беспечности продолжали жить счастливые, невозмутимые кубинцы!

На следующее утро, часов в десять, как только мы появились на площади Капитолия, Макензи прыгнул в нашу сторону с ловкостью молодой пантеры. Сначала он снова повторил, что русские самый храбрый народ в мире, что он молится за их победу, а затем после этого предисловия неожиданно предложил отправиться на сигарную фабрику.

Фабрика, по правде говоря, оказалась небольшой мастерской, где выделываются сигары знаменитой на весь мир марки «Корона»; такие мастерские попадаются здесь на каждом шагу. Четверо рабочих ловкими, привычными движениями выбирали из пачки широкие табачные листья, скручивали их, подклеивали, укладывали в деревянный пресс, и минуты через три сигара принимала свою окончательную форму. Оставалось только подрезать один ее конец, закруглить и подклеить другой, и затем «корона», украшенная бумажным кольцом, попадала в коробку или прямо на прилавок. В Гаване фабрикуется бесконечное количество сортов сигар, ценой от одного цента до доллара за штуку.

Покончив с сигарами, мы решили ознакомиться с другой важной отраслью кубинской промышленности и побывать на фабрике рома. После ямайского, ром Кубы считается лучшим в мире. Фабрика помещалась далеко за городом. Мы долго ехали узкими, плохо вымощенными улицами, миновали «Чайна-Таун», китайский городок, и наконец остановились у ворот здания, в котором производилась дистилляция.

Служащие повели нас по громадному фабричному кор-

пусу насквозь пропахнувшему крепким запахом рома. Вдоль стен лежали гигантские бочки с ромом, некоторые из них были запечатаны лет 70 назад, и нам сказали, что откроют их только в 1975 году, и что в этих бочках хранится состояние в сорок миллионов долларов. Мы видели процесс очистки, продолжающийся двадцать четыре часа. Ром по тонким трубкам перегоняется из бочки в бочку, и когда нам открыли последнюю, в нос ударил крепкий, необычайно пьянящий запах, тот самый «букет», который ценят знатоки, и который они вдыхают с наслаждением из широкого бокала... В нашем «бокале» было сорок ведер рома!

— Не угодно ли коктейль?

Был слишком ранний час, но мы все же отведали два-три сорта рома и коньяка, выбрали то, что нам понравилось и, наконец, выбрались на свежий воздух... Тут только я заметил, что с нашим чернокожим спутником происходит что-то странное. Макензи отказался осматривать с нами фабрику, и все время, пока мы ходили по громадному зданию, просидел в зале бесплатной дегустации... По-видимому, он очень усердно приналег на ром, потому что движения его на обратном пути стали неуверенными и соображения высокой военной политики начали смешиваться с рецептами каких-то необыкновенных коктейлей, которые он попробовал во время нашего отсутствия.

— «Дайкири» — это простой напиток, его можно получить в любом кафе: треть рома, треть лимонного сока и толченый лед... Но ничто не может сравниться с «Либерал-Коктейлем»: две трети старого белого рома, треть французского вермута, капля пикона, толченый лед. Хорошо смешать, сэр, и после третьего стакана вам станет ясно, что Куба — лучшая страна в мире, даже лучше Ямайки, и что единственный ее недостаток — это отсутствие русских...

Он долго еще что-то бормотал, благодарил, и мы расстались с ним друзьями неподалеку от Капитолия, где он еще накануне вечером бросил свою машину. «Либерал-Коктейль» вызвал в нем жалость, угрызения совести, и Макензи решил отвести машину в гараж.

Никогда не следует строго судить ближнего. На следующий день с нами случилась почти такая же авантюра, что и с Макензи. Началось с того, что в обществе приятеля мы отправились покупать ром к Бокарди — самой знаменитой кубинской фирме. Покончив с деловой частью разговора, служащий подвел нас к элегантному старику, который сидел в холле, и сказал:

— Вот наш заведующий приемом гостей, «пэппи» Валиенте. Лучший и самый популярный человек на Кубе!

«Пэппи» встретил нас как старых закадычных друзей и сейчас же поволок наверх, в бар, украшенный портретами и автографами коронованных особ и голливудских ведетт, побывавших в этом баре.

— У меня двадцать альбомов с фотографиями всех знаменитостей, — гордо заявил «пэппи».

Мы начали перелистывать эти альбомы. Здесь, действительно, было немало знаменитых артистов, писателей, королев красоты, чемпионов бокса, политических деятелей и американских миллионеров. Среди артистов мы нашли несколько русских знакомых... Тем временем бармен принес коктейли для нас и стакан с минеральной водой для бедного «пэппи»: человек, выпивший за свою жизнь бесчисленное количество белого рома, теперь был переведен врачами на режим минеральной воды...

И тут началось необыкновенное соревнование между барменом и гостями: не успевали мы прикоснуться к бокалу и сделать один глоток, как бокал исчезал и на столе появлялась новая серия бокалов, еще крепче замороженных... Чем больше мы сидели у Бокарди, тем чаще менялись бокалы. Валиенте рассказывал, как недавно он получил открытку из Филадельфии. На открытке вместо адреса было написано только: «Гавана. Куба» и рядом была наклеена его, «пэппи», фотография. Ровно через двадцать четыре часа открытка с фотографией была доставлена в бар Бокарди. На Кубе нет человека, который не знал бы в лицо «пэппи» Валиенте.

Когда он выпустил нас наконец на свободу, снабдив на дорогу каким-то необыкновенным ромом, нам показалось, что мы снова на «Серпа-Пинто», что порядочно качает и палуба уходит из-под наших ног. Но качка на этот раз была довольно приятного свойства. Мы осто-

рожно прошли боковыми улицами, минуя Капитолий, где нас несомненно подкарауливал Макензи, бедняга никогда не простил бы нам того, что мы отправились бесплатно пробовать ром и не взяли его с собой.

# НЬЮ-ЙОРК

«...Наконец, 11 октября вечером, Колумб заметил вдали островок, а в два часа ночи пушечный выстрел с корабля «Пинто» возвестил об открытии новой земли.

Когда взошло солнце, 12 октября 1492 г., корабли стояли в виду Нового Света».

*Большая Энциклопедия*

Три дня в Гаване прошли незаметно.

За час до отплытия я в последний раз вошел в маленький портовый кабачок выпить на прощанье стакан холодного рома с лимонным соком. Бармен поставил напиток на цинковую стойку и что-то сказал по-испански.

Я не понял и ответил по-английски. Он перешел на немецкий язык.

Я предпочитаю говорить по-французски... В это время зазвонил телефон. Бармен снял трубку и сказал:

— А, это ты, Петя? Ладно, сегодня вечером... Ну, пока.

Так мы нашли общий язык. Бармен был родом из Орловской губернии. Двадцать лет назад он случайно заплыл на Кубу на торговом пароходе, остался здесь, получил кубинский паспорт и совсем свыкся со своим новым положением, считая себя чистокровным кубинцем.

— Вы на каком пароходе плаваете?

Он очень удивился, что я не плаваю, а еду как пассажир в Америку. В этот бар заходили только моряки, и каждый, в зависимости от национальности, имел свой излюбленный напиток: виски, абсент, пиво, вино... Мы выпили с кубинцем родом из Орла по рюмке какого-то необыкновенного черного рома, — он не захотел взять денег с земляка, — и расстались, только когда заревел призывный гудок «Серпа-Пинто».

А на следующее утро пассажиры увидели солнечные берега Флориды, белые виллы Майами, казино Палм-Бича. Здесь надо было проститься с солнцем и жарой. Лето кончилось. Еще несколько часов плавания, и синее небо начало покрываться тучами. Вода из изумрудной стала мутной, серой, и по гребням волн пошли гулять курчавые белые барашки, предвещавшие боковую качку. С океана внезапно подуло холодным северным ветром.

Палубы опустели. Пассажиры бросились извлекать из чемоданов теплые вещи. Изнывавшие от жары люди вдруг почувствовали, как холодно в каютах, как дует из плохо задраенных иллюминаторов, как тянет ледяным воздухом в коридорах. И в баре уже заказывали горячий грог.

Глухо ударяют волны о борта парохода. «Серпа-Пинто» скрипит, дрожит всем своим тяжелым корпусом, поднимается на волнах и ныряет носом в пучину. Низкое, тяжелое, свинцовое небо, такое странное после неба Казабланки, Ямайки и Кубы. Мороз, белый пар, выходящий изо рта, обледеневшая, скользкая палуба, которую приходится посыпать песком. И на капитанском мостике человек, еще день назад разгуливавший в белом кителе, а теперь закутанный в меховую шубу, теплую шапку с наушниками, человек, не спящий уже вторые сутки и внимательно вглядывающийся в горизонт... Где-то здесь, совсем близко, может быть, рядом притаились германские подводные лодки, подстерегающие свою добычу. День и ночь радист принимает «СОС». Между Кубой и берегами Соединенных Штатов тонут американские и нейтральные корабли, и потом патрульные суда ищут в бесконечности океана спасательные лодки или плоты с уцепившимися за них полузамерзшими людьми... В тот день, когда «Серпа-Пинто» подходила к Нью Йорку, был особенно велик урожай у подводных пиратов, и вечером пришло известие о гибели бразильского парохода, взорванного прямым попаданием мины. Уже не верилось, что путешествие это кончится благополучно и что мы ступим когда-нибудь ногой на твердую землю...

Земля обетованная открылась нам на рассвете холодного февральского дня. Впереди шел катер под звездным

флагом, мы следовали за ним среди минных полей, и в тумане уже где-то вырисовывались небоскребы и железная громада Бруклинского моста. Пассажиры толпились на носу, не обращая внимания на ледяной ветер, дувший в лицо, пытливо вглядываясь в сторону Нью Йорка — туда, где из тумана должна была показаться Статуя Свободы.

Сколько раз в кинематографах мы видели, как пароходы прибывают в ньюйоркский порт и проходят мимо Статуи Свободы. Всю дорогу ждали этого момента: увидеть высоко поднятую над океаном руку, с зажженным факелом, указывающим дорогу свободным людям... И — это была такая горечь, такое разочарование!.. — мы прошли как-то стороной и не увидели статуи... Пароход ушел вглубь бухты, далеко от Нью Йорка, и пристал к набережной в глухом месте.

Это был первый пароход, пришедший из Европы после вступления Соединенных Штатов в войну. Никто не знал, как нас встретят. Может быть, всех без исключения интернируют на Острове Слез, а потом разберутся. На Ямайке и в пути предупреждали, что обычно строгий контроль эмиграционных властей теперь, конечно, будет еще строже. И вместо придирчивых, пытливых сыщиков мы увидели добродушных, любезных и благожелательных людей, которые задали нам два-три вопроса и немедленно разрешили сойти на берег; и таможенные чиновники, открыв все чемоданы, напрямик спросили, что в них есть? И было так мало, что они скоро махнули рукой и велели все запирать.

— Вы теперь свободные люди.

— А визы? У нас все отобрали... У нас нет документов, доказывающих, что мы въехали в Америку на законном основании.

— Вам не нужны документы. В Америке не нужны документы.

Мы бежали по дебаркадеру, бросив все вещи и багаж на произвол судьбы, бежали к деревянному барьеру, за которым из тысячи людей мы сразу увидели родных, близких, и ничего, кроме их лиц, мы уже не замечали.

*Нью Йорк, февраль 1942 г.*

# ЛЕТО В ИТАЛИИ

## ВЕНЕЦИЯ

Венеция, город вечных вдохновений.
*С. Дягилев*

Старый бронзовый мавр на Торе дель Ороложжио медленно поднял молот и ударил в колокол. И в то же мгновение грянула полуденная пушка. Над площадью Св. Марка взметнулись тучи голубей. Напуганные, пронеслись они в сторону Дворца Дожей и уселись в тени, терпеливо выжидая, когда перестанут бить колокола и все успокоится.

Через минуту голуби вернулись к своим прерванным занятиям, снова принялись клевать кукурузные зерна из рук туристов и позировать фотографам. Можно ли представить себе площадь Св. Марка без голубей, без всей этой праздничной, ленивой толпы, за которой наблюдали мы, сидя под прохладной колоннадой в кафе Флориана?

Еще вчера был Париж, шумный лионский вокзал — преддверье юга, — зеркальные стекла голубых вагонов симплонского экспресса. Всю ночь шел дождь. Швейцария наутро тонула в густом, молочном тумане. На мгновенье поднялся из озера, как призрак, Шильонский замок, а потом снова туман, дождь, протяжные заглушенные свистки локомотива, входящего в туннель, в ночь, в темноту.

Но Италия не разочаровала — встретила синим небом, ослепительным солнцем, чудесными пейзажами Ломбардии. Из экспресса поезд вдруг превратился в омнибус, останавливался на каждой станции, и после скучных, деловитых швейцарских вокзалов все вокруг ожило, зашумело

бестолково и весело, и камерьеры из буфетов, появившиеся на перронах, толкали перед собой тачки и певуче выкрикивали:

— Вино... Фрутти... Джелатти!

Поезд подходил к Венеции.

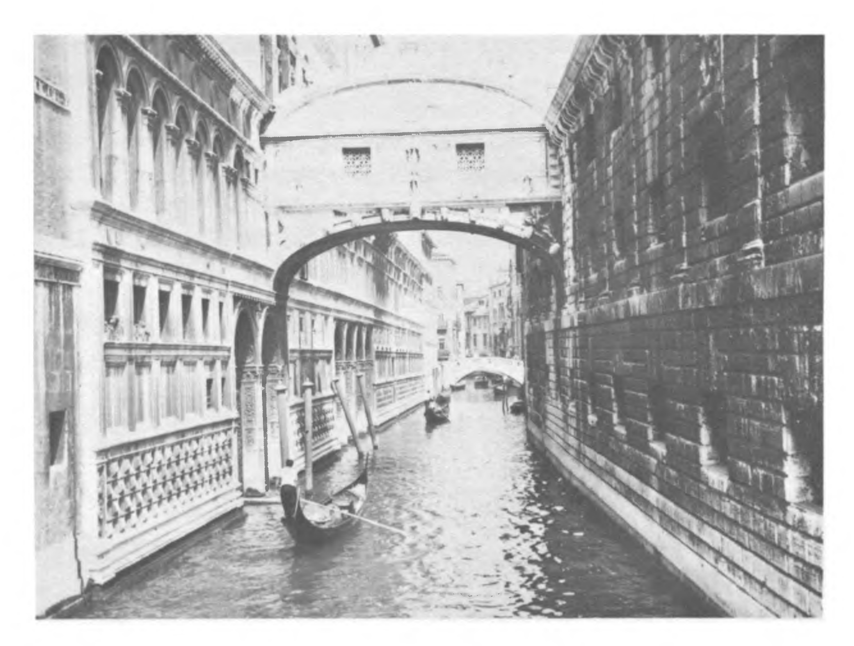
Гондольер берет наши вещи, и вот мы на Канале Гранде, в котором тихо плещет какая-то необъяснимо притягивающая к себе зеленая вода. Черная гондола бесшумно скользит, проплывает мимо дворцов, обгоняет другие такие же гондолы; гондольеры в соломенных шляпах с лентами, стоя на корме, наваливаются на длинные весла, перебрасываясь друг с другом ленивыми фразами, и показывают нам на ходу достопримечательности города... Солнце давно уже зашло, но в сумерках отчетливо вырисовываются фасады палаццо и церквей, и мраморные статуи святых, благословляющих город Дожей.

Помнишь, порою ночною
Наша гондола плыла...



**Венеция. Гондолы на Большом канале**

Нет, не так, и, верно, цитата, как всегда, переврана... Гондольер делает еле заметное движение веслом, и гондола послушно сворачивает в узкий, темный канал. На каменном мостике стоит парочка; они молчат, смотрят на воду. Почему-то я вспоминаю в эту минуту о великом венецианском авантюристе Джакомо Казанове. Он первый заставил меня полюбить Венецию, ее каналы, площади, дворцы. Образ Казановы будет меня преследовать в Венеции неустанно — под колоннадой на площади Св. Марка, на пиацетте, даже в страшной каменной тюрьме дворца Дожей, откуда Казанова все же умудрился бежать. Некоторые главы «Мемуаров» Казановы и его страх Совета Десяти я понял, только побывав в этой «приджиони», в каменных «колодцах», в которых держали пленников Венецианской Республики. В «колодцах» нижнего этажа, расположенного на уровне канала, сырость и темнота ужасающие. По сравнению с этой тюрьмой Бастилия была, вероятно, уютным пансионом — государственным преступникам разрешалось обставлять камеры собственной мебелью,



**Малый канал**

пищу им доставляли рестораторы фобура Сент-Антуан и можно было принимать посетителей. Не то было в венецианской «приджиони».

Гондола сделала большой круг и снова вышла на Канале Гранде.

Откуда-то из темноты донеслась песнь, потом пение оборвалось и раздался женский смех. Жена, мечтавшая о серенадах, заволновалась:

— Почему наш гондольер не поет?

— Ты слышала его голос?

— Да. Голос пропойцы. Хриплый. Лучше пусть молчит

Гондольер наш и не собирался петь. Впрочем, серенаду мы все же услышали. На вторую или третью ночь мы шли по набережной Скьявони и остановились на мостике, переброшенном через узкий канал. Перед нами был исторический Мост Вздохов, названный так не в честь влюбленных, а потому, что через мост этот водили из соседней тюрьмы во Дворец Дожей государственных преступников. На одну какую-то секунду через прорезы в каменных стенах моста видели они голубое небо и зеленую воду канала и, может быть, слышали веселые голоса праздничной толпы на набережной... Так вот, в эту ночь под Мостом Вздохов стояли несколько гондол с фонариками. Мужской, очень красивый голос пел что-то о несчастных пленниках из «приджиони нуова»; певцу аплодировали люди в гондолах и те, что стояли на берегу.

Эта венецианская серенада была устроена компанией Кука для своих туристов.

Я часто думаю: что стало бы со многими обычаями итальянской старины без их верных блюстителей — Кука и «Американ Экспресс Компани»?

В XVIII веке Венецианская Республика, накопившая много славы и богатств, медленно умирала. И как всегда случается с обреченными режимами и народами, Венеция лихорадочно старалась жить и наслаждаться. Карнавал продолжался чуть ли не шесть месяцев в году, венецианцы не расставались с масками, появлялись в них на улицах, в гостях, в игорных домах, во дворце, на базаре. От этих былых великолепных празднеств остались лишь рас-

сказы мемуаристов да старинные гравюры, на которых изображена площадь Св. Марка в дни Карнавала, с живописными группами синьоров и синьорин в ярких шелковых плащах, домино, «бауттах», в маскарадных пестрых костюмах,с кружевными масками на лицах. Остались еще удивительные статуэтки в магазинах под колоннадой Прокураций, статуэтки из цветного стекла, изображающие героев Комедиа Дель Арте и венецианских Пьеро и Коломбин. К сожалению, не удалось в этот раз побывать на стекольных заводах Мурано, но мы все же посетили небольшую фабрику в центре Венеции, где выделывают такие статуэтки. Мастера вытаскивали из печей металлические стержни с кусками мягкого цветного стекла, резали его ножницами и придавали щипцами нужную форму, потом снова отправляли в печь и снова подправляли фигурки. В соседнем доме видели мы фабрику венецианских кружев. Старухи в черных платьях, с наколками на головах быстро, не глядя, перебирали шпульки и плели лучшие кружева в мире.

Но главное событие венецианской жизни — это выставка Джованни Беллини во Дворце Дожей. Любимейший из сыновей Венеции как никто выражает душу города каналов, и недаром одна из его наиболее значительных символических вещей «Летейские воды» написана на фоне венецианской мраморной террасы и канала. Строги и задумчивы Мадонны Беллини, нет в них ни итальянской, немного греховной красоты, ни чрезмерного опрощения — Мадонны его внутренне сосредоточены, и в позе Богоматери, склонившейся над Младенцем, уже выражены тревога и скорбь... Но что же мне писать об этой удивительной выставке? Будет правильнее отослать читателя к «Образам Италии» П. Муратова. «Беллини не только здесь родился и вырос, но живопись его так расцвела здесь, что долго Венеция не хотела знать никакой другой, и десятки художников повторяли, списывали и даже подделывали ее. Беллини был понят и любим, и его искусство выражало чистейшую линию в душевном сложении Венеции».

Дни в Венеции проходят легко, радостно, незаметно. Часами можно сидеть в маленьком кафе на набережной Скьявони, перед чашкой крепчайшего кофе и стаканом

ледяной воды. У пристани покачиваются черные гондолы, ждущие американцев. Иногда в сторону далекой лагуны, поблескивающей на солнце, проходит пыхтя пассажирский



**Венеция. Пиацетта и Дворец Дожей**

«вапоретти» и издает страшные гудки. Я заметил: чем меньше судно, тем громче оно гудит. У венецианских «вапоретти» гудки ничем не уступают «Квин Элизабет».

Нигде в мире я не видел такой праздной, такой беспечной толпы, как в Венеции. Сюда приезжают люди, желающие быть счастливыми и влюбленными. Они кормят голубей на площади Св. Марка, бродят по церквам, выискивая Тинторетто и Тицианов, их можно встретить на пиацетте и в маленьких тратториях, где подают розовое веронское вино.

Случайная прогулка привела нас по узким средневековым улицам к церкви, у стены которой приютилась под открытым небом такая траттория, и потом мы уж приходили сюда всякий день. Луиджи оказался славным трактирщиком, настоящим персонажем из комедии Гольдони... Внутренним, профессиональным чутьем он почув-

ствовал во мне чревоугодника и ценителя итальянской кухни и решил показать себя подлинным венецианским патрицием. Не успевали мы сесть за стол, как Луиджи начинал тащить все чудеса свой кухни — какие-то фарши-



**Большой канал.**
**Церковь Санта Мария де ла Салута**

рованные огненные перцы, баклажаны, помидоры во всех видах, «фрутти ди маре» с лагуны, телячьи котлеты по-болонски... Сколько бы ни уничтожали пищи клиенты Луиджи, цена всегда была одинакова, очень низкая, и нигде уж потом в Италии не ели мы так вкусно, как в траттории «Чита де Милано».

Пока мы знакомились с тайнами итальянской гастрономии, к столу нашему подходили люди с улицы — нищие старухи, торговцы открытками, коралловыми ожерельями и муранскими бусами, какими-то музыкальными шкатулками... Каждые десять минут из-за угла показывался человек в матросской куртке с синим воротником, в соломен-

ной шляпе с лентой, и небритым лицом разбойника. Человек подходил к столику и хрипло нас подгонял:

— Гундола, гундола, гундола!

И в последний раз гондола отвезла нас по Канале Гранде к вокзалу, мимо мертвых дворцов и романтических садов, мимо церквей и зеленоватых мраморных ступеней, спускающихся к лениво плещущейся воде.

Впереди были города Тосканы и Рим.

# РИМ

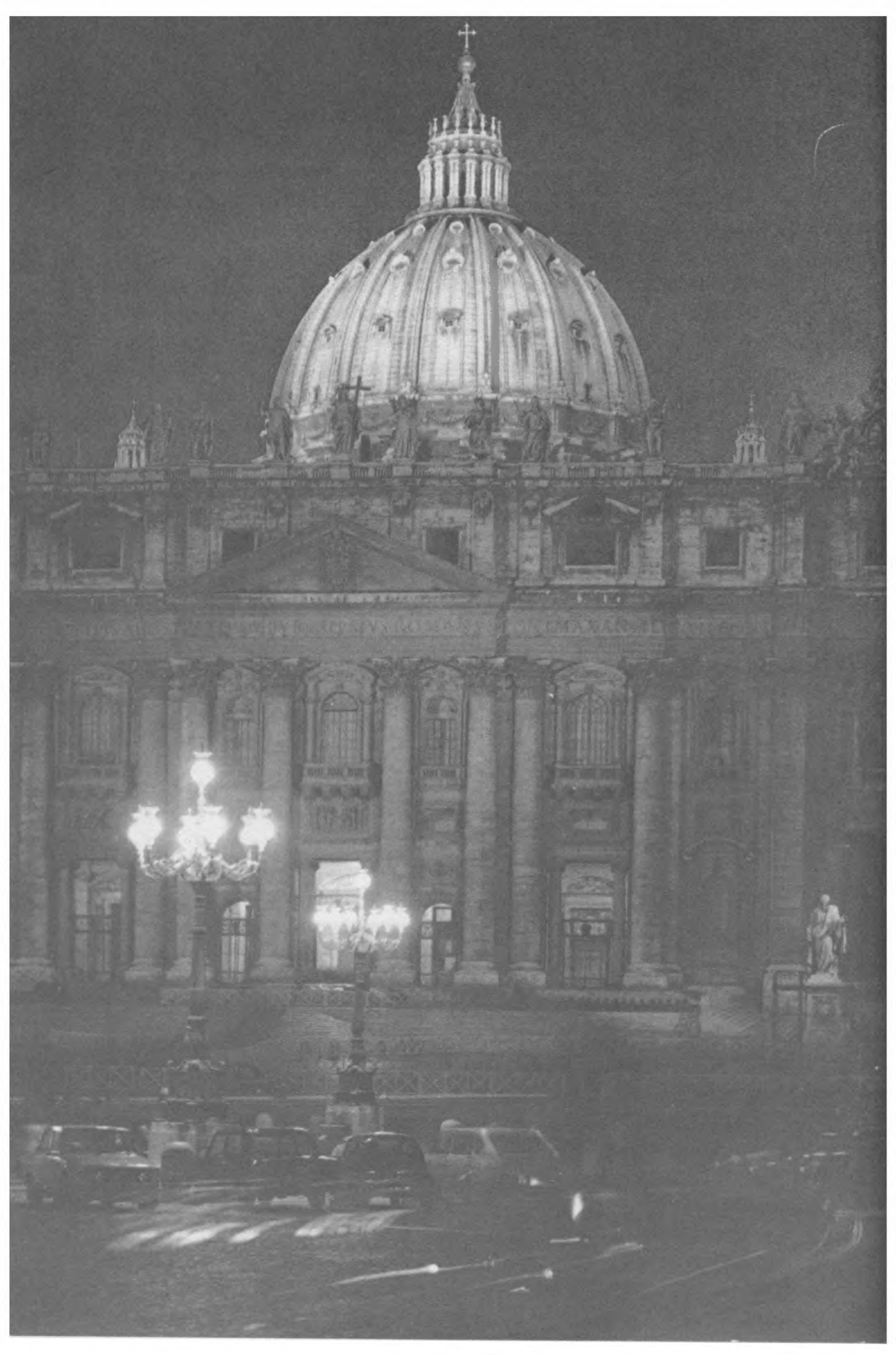
Not that I loved Caesar less,
but that I loved Rome more.
*Shakespeare, "Julius Caesar" III,2*

К Риму всегда подъезжаешь с душевным волнением. Что же есть в этом городе особенное, делающее его таким близким и нужным каждому человеку? Великое прошлое, или своеобразный и неторопливый уклад его нынешней жизни, дворцы, живописные развалины, многоводные фонтаны на площадях, или просто улицы и народ, гордый и приветливый «пополо романо», равного которому нет во всей Италии?

Есть особое чувство Рима, — только постепенно оно охватывает путника. Гаспар Валет в своей книге «Отражения Рима» так определил это душевное состояние: «Очарование Рима не есть нечто мгновенное и внезапное. Оно не действует на приезжего сразу, не поражает его, как молния. Оно медленно, постепенно и неуклонно просачивается в его душу, мало-помалу входит в нее, проникает в нее все больше и больше, захватывает и, наконец, поглощает на всю жизнь».

«Поезжай в Рим, — писал когда-то Шелли. — Ты найдешь там одновременно рай и могилу, город и пустыню».

Пожалуй, нет лучшего определения сущности Рима. Все здесь причудливо переплетается — могилы и памятники прошлого и свидетельства того, что современный римлянин остается артистом и созидателем великолепного города, раскинувшегося на семи холмах. Несмотря на продолжающуюся жизнь, в этом городе никогда нельзя изба-



**Собор Св. Петра**

виться от чувства какой-то музейной тишины и заброшенности... В том, что римляне остались великими строителями, можно убедиться еще из окна вагона. Поезд, подходящий к Риму, в течение получаса пересекает предместья, сплошь застроенные домами современной конструкции, с традиционными итальянскими террасами и балконами, и это не квартиры для богатых людей, а для рабочего люда, среднего класса и интеллигенции.

В Рим мы приехали 15 августа, в день «феррагоста». Город по случаю праздника вымер — жители выехали к морю, на соседние пляжи Остии, и безлюдные площади и улицы, залитые ярким солнцем, напоминали о римской «пустыне» Шелли. Только из храмов, где кончалась поздняя месса, выходили верующие и вслед им из широко распахнутых церковных дверей гремели органы.

Поезд наш уходил в Сицилию поздно вечером, впереди было несколько свободных часов. Мы решили объехать давно знакомые места, совершить паломничество — слишком короткое и поспешное. Но как же остановиться в Риме и не побывать на пьяцца Навона или у Тревийского фонтана?

Из всех бесчисленных римских площадей я больше других люблю пьяццу Навону — продолговатую, с обелиском и фонтанами, украшенными статуями четырех рек. Почему-то женская фигура, символизирующая Нил, закрывает глаза рукой. Долго я не мог понять причину, пока не вычитал объяснение, которое дают римляне этой аллегории.

Нил закрывает глаза рукой, потому что не знает происхождения своих источников. Но в действительности Бернини просто не хотел, чтобы его статуя глядела на уродливый фасад соседней церкви и прикрыл ей глаза.

Когда-то на этой площади император Домициан устраивал олимпийские игры и состязания колесниц. Площадь в старину во время летней жары наполняли водой, превращая в гигантский бассейн для плавания... Все это в далеком прошлом, но и теперь еще ребятишки из квартала Парцоне раздеваются и тайком от карабинеров залезают в раковины фонтанов Бернини под потоки

льющейся на них сверху прохладной воды и наслаждаются жизнью.

Форум заснул под палящими лучами солнца. Даже самые неутомимые туристы не решаются спуститься вниз в эти полуденные часы. Зато на площади Капитолия прохладно, часть ее в тени, и только Марк Аврелий на бронзовом коне покорно стоит на солнцепеке... Нет в мире площади, с которой было бы связано так много истории, как с Капитолием. Внизу, в самом конце лестницы, был когда-то лес Кампидолио. В этом лесу волчица выкармливала Ромула и Рема. Здесь проходил Цезарь и прогуливался с друзьями Цицерон... А вот пословица лжет: от Капитолия до Торпейской Скалы не «один шаг», а гораздо больше, прогулка эта занимает несколько минут. И скала, свесившаяся над «пропастью», выглядит не так уж страшно: жертвы, сброшенные вниз, пролетали не больше двух десятков метров.

От жары Тибр совсем обмелел, стал скучным и мелководным, и какой-то непропорционально громадной кажется теперь на его берегу крепость Св. Ангела, за стенами которой в трудные минуты укрывались папы. В прошлый приезд в Рим мы были внутри башни, поднялись на верхнюю террасу и видели мрачную тюремную камеру, в которой умер маг и искатель философского камня Калиостро... Автомобиль проезжает мимо не останавливаясь и вывозит на площадь Св. Петра. Солнце слепит невыносимо, но под колоннадой Бернини тень и продувает ветерок. Жители соседнего квартала отдыхают под колоннадой на принесенных с собой стульях и табуретах — женщины вяжут, весело между собой болтая, а мужчины, уже успевшие позавтракать, клюют носом. Наступает блаженный час сиесты.

Два босоногих монаха с непокрытыми головами пересекают площадь и идут к Бронзовым Воротам Ватикана. И здесь тишина. Стоит, опираясь на тяжелую алебарду, солдат папской гвардии в своем ярком средневековом одеянии. Форма эта, сделанная когда-то по рисункам Микеланджело, не меняется уже пятое столетие. За Бронзовыми Воротами начинается другой мир. В Граде Ватикане вряд ли наберется тысяча жителей, но духовная власть папы распространяется на миллионы человеческих душ. Если

отойти немного от Бронзовых Ворот и взглянуть наверх, на третьем этаже справа можно увидеть окна, за которыми живет Пий XII. Жаль, на этот раз не удастся побродить по Ватикану и посмотреть его вокзал без поездов, его почту, телефонную и электрическую станции, обслуживаемые монахами, редакцию и типографию «Оссерваторе Романо». Есть в Ватикане даже собственная тюрьма без узников.

Дальше, — мимо Колизея, мимо бесчисленных церквей, уличных фонтанов, мимо раскаленных от солнца лестниц Пьяцца Д'Эспанья. На Корсо закрыты все магазины. Закрыто на лето и кафе Греко. Здесь сиживал за столиком Николай Васильевич Гоголь, обдумывая «Мертвые души». В жаркие дни в этом кафе прохладно, под потолком вращаются деревянные пропеллеры вентиляторов, полумрак. В дальнем углу на стене небольшой портрет Гоголя. Не Бог весть какой, но все же приятно.

Пора подумать о завтраке. Можно войти в одну из остерий с прохладными, сводчатыми залами, в которых всегда царит полумрак... Расторопный хозяин принесет блюдо с дымящимися макаронами, густо политыми томатным соусом, и щедро посыпет их острым натертым сыром «пекорино», — что же может быть в мире вкуснее спагетти, запитых стаканом янтарного фраскати?

— Нет, — говорят путешествующие с нами по Италии друзья, — если уж оскоромиться и есть макароны, так у Альфредо. Таких фетучини нет во всем Риме.

И вот мы сидим на террасе у Альфредо, и три толстых неаполитанца — скрипач, мандолинист и гитарист — уже ходят между столиками, наигрывая какую-то живописную чепуху для туристов вроде «О, соле мио». И сам Альфредо с пышными вахмистерскими усами, которым мог бы позавидовать покойный король Умберто, хриплым голосом отдает свирепые приказания, умиленно прижимает руку к сердцу и всячески изображает из себя гостеприимного хозяина. Конечно, синьоры начнут с фетучини, это — спечиалита, гордость Альфредо, и это будет заправлено им самим, при помощи золотой ложки и вилки, подаренных ему Мэри Пикфорд и Дугла-

сом Фэрбанксом... Для супа сегодня слишком жарко, но зато филетти ди солиола ал вино бианко совершенно бесподобные... Дальше синьоры решат сами: куриная грудинка с ветчиной и сыром, в марсале, или... Что было дальше, мы не слышали, потому что лакеи внесли на подносе громадное блюдо фетучини — широко нарезанной тончайшей лапши, за которую принялся Альфредо.

Нельзя было не залюбоваться им в эту минуту. Казалось, вдохновение подлинного артиста снизошло на него — он подбавлял в фетучини масло, щедро сыпал пармезан, а затем быстрыми и точными движениями перемешивал все, фонтаном поднимал фетучини кверху, снова бережно опускал их на горячее блюдо и морил дальше, разложил порции, сам подал и, став в позу римского императора, громко и гордо сказал:

— Фетучини ориджинале Альфредо!

И было в нем в эту минуту столько настоящего удовлетворения и даже благородства, что, отведав действительно изумительно приготовленное блюдо, мы не выдержали и по-итальянски, особенно четко выговаривая «р», закричали:

— Браво! Браво!

Артист сыграл свою роль, сорвал аплодисменты и



**Пьяцца Навонна**

скромно удалился за кулисы. Больше мы уж его не видели до тех пор, пока не собрались уходить и он пришел проститься, прося расписаться в книге гостей.

Пока мы ели и пили прошло несколько часов. Уже начала спадать жара, подул с холмов ветерок «полленца» и мы отправились пешком по все еще пустынным и сонным улицам в сторону нового вокзала, сделанного из алюминия и стекла. Архитектор очень умно вклю-



**Фонтан Треви**

чил в свою постройку остатки старинной стены, проходившей в этом месте. Так, в новом римском вокзале причудливо сочетаются достижения современной Италии с ее великим прошлым.

Можно ли расстаться с Римом и не побывать у фонтана Треви, не испить хрустальной воды из источника «Аква Вирджиния»? Мы выпили воды, посмотрели на бронзовых тритонов, трубящих в раковины и бросили несколько мелких монет в фонтан — залог вечной любви и обещание вернуться когда-нибудь в Рим.

В пламенеющем закате поезд уносит нас по пустынной и торжественной Кампанье в сторону Неаполя, Мессины, Сицилии.

Здесь уже сильно чувствуется юг, его беднота и суровая, библейская красота. По склонам голых холмов спускаются террасы, сложенные из камня, с низкорослыми оливковыми деревьями, мелькают совсем черные, прямые и одинокие кипарисы. Вдоль пути гигантские кактусы, а на станциях белые и красные олеандры во всем цвету растут уже не в кадках, а прямо в земле.

Между Римом и Неаполем поезд останавливается часто, и на каждой станции толпы людей штурмом берут и без того переполненные вагоны. Люди сидят в купе, в коридорах, во всех проходах, везде чемоданы, узлы, какие-то клети с курами, корзины с помидорами и кукурузой, и над всем этим царит веселый, бодрый шум, — все уже знакомы между собой и все оживленно разговаривают, перекидываясь шутками... «Скузи!» — в купе втискивается еще один пассажир, вытирающий пот цветным, в клетку, платком. Каким-то чудом и для него находится место.

По перрону снуют черноволосые «факини» — носильщики. Мальчишки катят коляски с сандвичами, фруктами, бутылками кьянти и выкрикивают на разные голоса:

— Джелатти! Аква минерале...

Жара нестерпимая, всех мучит жажда, и мы пьем эту акву до бесконечности, в особенности холодную «Пилигриммо», чем-то напоминающую наш кавказский«Боржоми», и все смотрим в окна на пальмы, олеандры, уже темные на фоне медленно блекнущего заката. И вдруг сразу на повороте открывается неаполитанская бухта с далеким Капри, и на несколько мгновений показывается расположенная вблизи вокзала Порта Капуана с ее тяжелыми башнями. Но Везувий виден все время, и вид его изумляет и разочаровывает: куда девался столб дыма и огня у кратера, который я видел в первый мой приезд в Неаполь в 1920 году?

Мы тогда поднимались на самую вершину вулкана, видели на дне кратера огонь, дымящуюся лаву, облака дыма и пара, все кипело и клокотало внутри, а теперь ни облачка, ни огненного зарева...

— Везувий больше не дымится, — сказал мне итальянец проводник, говоривший по-английски и по-французски. Он потух девять лет назад. Что будет с Неаполем без Везувия? Туристы больше не приезжают... И это страшно: когда вулкан молчит, неаполитанцы не знают, что он им готовит. С прошлого года температура на восточном склоне стала повышаться, она поднялась с 400 до 670 градусов. Есть и другие признаки приближающегося извержения: начались оползни... Синьор, неаполитанцам нужен дым над Везувием, но не настоящее извержение, спаси нас Мадонна и Бамбино!

Поезд начинает двигаться. Медленно проплывают фасады желтых, розовых и серых домов, узкие и темные улочки с бельем, развешенным на веревках. На террасах и балконах сидят неаполитанцы, вышедшие подышать свежим воздухом после душного августовского дня. Наступает ночь, город оживает.

Снова поезд идет берегом залива. Вдали рассыпаны огни Капри. Где-то в стороне, в быстро надвигающейся темноте, остается мертвая Помпея. Как быстро кончается наш «Вечер в Сорренто»! Поезд останавливается здесь всего на пять минут, и снова стучат колеса. В последний раз, перед сном, выглянув в окно, я вижу ярко освещенную платформу. Что это, Салерно? Ну, конечно, высадка американцев, кровавые бои, во время которых все вокруг было разрушено, и все уже восстановили трудолюбивые итальянские руки.

Я засыпаю и сквозь сон слышу, как мальчишка пронзительно кричит у окна купе:

— Джелатти! Аква минерале...

# ТАОРМИНА

В четыре утра стук в дверь купе и голос проводника:

— Поезд подошел к Реджио Калабриа. Если синьор хочет полюбоваться Мессинским проливом, нужно выйти!

Поспешно натягиваем пальто прямо на пижамы и выходим из поезда, уже стоящего на ферриботе. По крутым лестницам поднимаемся на верхнюю палубу, где толпятся

полуодетые люди с заспанными, помятыми лицами. Все смотрят в сторону Реджио Калабриа, оконечность «итальянского сапога», который мы сейчас покинем. В самое страшное землетрясение 1908 года, когда была разрушена Мессина по ту сторону пролива, от Реджио тоже не осталось камня на камне. В тридцать две секунды «терамоти» седьмая часть населения города погибла под развалинами, а затем море хлынуло на берег и затопило все и всех... Здесь, на юге Италии, и в особенности в Сицилии, на каждом шагу встречаешь следы былых катаклизмов. Местная хронология так и ведется по катастрофам — 1905, 1907, 1908 годы, и в Катании на памятнике можно видеть надпись о том, что город восемь раз был разрушен и восемь раз восстановлен.

Еще ночь, синяя и прозрачная, горят яркие звезды, но на востоке уже бледнеет небо — близится рассвет. Пароход быстро скользит по зеркальной поверхности пролива. Где же Сцилла и Харибда, сторожившие во времена Гомера Мессинский пролив? Двенадцатиногая Сцилла проглотившая шестерых спутников Одиссея, на этот раз не показалась, и на мессинском берегу встретила нас вместо грозной Харибды гигантская статуя Мадонны, благословляющая путников.

Рядом со мной на палубе стоял молодой сицилианец с тонким, смуглым лицом. Не знаю, долго ли он был в отсутствии из дому, но юноша явно волновался и все показывал рукой на быстро приближавшуюся ярко освещенную набережную Мессины, на какие-то «монюменти» и на Мадонну, покровительницу города:

— Мадонна манифика! — сказал он.

И в голосе его столько гордости, что нельзя не согласиться — манифика! Он говорит по-итальянски, мы отвечаем по-французски, и как-то друг друга понимаем. Правда ли, что в Нью Йорке больше сицилианцев, чем во всей Сицилии? Он тоже хочет уехать в Америку, разбогатеть и выписать туда свою невесту, живущую с родителями в Палермо... Вся беда в том, что очень трудно получить американскую визу.

Я не стал его разочаровывать. Много сицилианцев в Нью Йорке, но не такие уж они богатые. Позже, побывав в Сицилии, я понял эту всеобщую тягу в Новый

Свет. Бедно, убого живут сицилианцы, так бедно, что последний чистильщик сапог на ньюйоркской улице кажется им миллионером. Видел я людей, не имеющих крова над головой, зиму и лето живут они в пещерах и каменоломнях, как какие-то троглодиты. Чего уж Сицилия — даже в Риме можно увидеть детей, спящих на улицах и в подворотнях домов. А в горных сицилианских деревушках есть семьи, где на десяток ртов только два добытчика — отец да старший сын, и хорошо еще, если они имеют работу.

Часто я задумывался над вопросом, откуда пошла и почему так прочно привилась нелепая легенда об итальянской лени? Не потому ли, что для многих итальянцев попросту не хватает работы? Тот, кто видел итальянского крестьянина в поле или на винограднике, кто наблюдал, как с рассвета до темноты работают на постройках итальянские каменщики, не разгибающие спины, или как рабочие с обнаженными торсами дробят камни на шоссейных дорогах, тот никогда уж не скажет ни слова об «итальянской лени».

От Мессины до Таормины, конечной цели нашего путешествия, поезд идет берегом Ионического моря. Сицилия сразу раскрывает всю свою особенную, экзотическую красоту.

Мы на острове, природа которого гораздо ближе к Африке, чем к Европе. С одной стороны бурые скалы и внизу необыкновенной чистоты и прозрачности изумрудное море; с другой — бесконечные рощи апельсинов, зеленые виноградники, террасы с оливковыми деревьями, спускающиеся по склонам каменистых холмов. Все это свидетельствует об упорном труде — каждую горсть земли крестьяне приносили на эти холмы в корзинах, по крутым тропинкам, проложенным здесь, быть может, еще две тысячи лет назад, во времена греческого владычества. Виноградники сменяются пальмовыми рощами, мелькают в окне вагона цветущие желтым цветом кактусы ростом с дерево, а потом — хаос африканских джунглей, широколиственные банановые деревья, какие-то заросли, лианы и странные, никогда не виданные цветы. Удивительно просто и хорошо сказал о Сицилии Бунин:

...Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

Чем дальше к югу, тем выше и темнее кипарисы, тем шире раскидывают пинии свои зеленые зонты. И вдруг внезапно, непонятно почему, эти эдемские сады кончаются, и куда хватает глаз — белый камень, холмы с выжженной, порыжевшей травой — печальный и торжественный пейзаж древней Эллады... Нигде античная Греция не чувствуется с такой силой, как в Сицилии, бывшей на заре истории первой, самой могучей и самой богатой греческой колонией. Сицилия — земля легенд и языческих богов. Здесь грохотали, извергая огонь и лаву, дьявольские кузницы Вулкана; здесь Плутон увлек в подземелье беззащитную Прозерпину; в этих рощах гигант Полифем преследовал своей любовью юную Галатею.

После победы над Карфагеном греческая культура в Сицилии достигла своего наивысшего расцвета, сюда устремились поэты, философы, зодчие. Остров покрылся великолепными мраморными храмами, дворцами, амфитеатрами. Все эти памятники греческой культуры пережили нашествия римлян, варваров, арабское владычество, и многое сохранилось до наших дней... Даже тип людей в Сицилии особенный, смешанный, сочетающий расовые признаки всех завоевателей — европейских, африканских и азиатских. На побережье, от Мессины до Сиракуз, целые деревни сохраняют греческий тип, а в городах можно встретить сицилианцев блондинов, потомков пришельцев — норманов. И уж, верно, в каждом сицилианце можно найти немало арабской крови: не отсюда ли все эти заунывные восточные мелодии, которые часто слышишь в Сицилии, и любовь к ярким краскам, и пестро разукрашенные повозки, и красочная сбруя мулов и осликов?

Но вся эта греческая и африканская сущность Сицилии станет ясна не сразу, а постепенно, по мере посещения городов и деревень. А пока путешественник сидит у

окна вагона, как зачарованный, и не отрываясь смотрит на быстро меняющиеся перед ним картины.

Вот идет по дороге серый ослик с перекидными корзинами, доверху нагруженными овощами; на спине сидит босоногий черномазый мальчуган. Братишка его плетется сзади и держится за хвост ослика, а еще дальше идет мать, вся в черном, с круглой корзиной на голове. Идет прямо, не сгибаясь, и сколько свободной грации и красоты во всей ее фигуре и в каждом движении! Низкорослые мулы и ослики в горах Сицилии являются главным и едва ли не единственно возможным способом транспорта и гужевой силой. Они легко взбираются по лестницам, по скалистым тропинкам, на них едут в поле, на виноградник, в гости, их украшают султанами из ярких перьев, венками из бумажных цветов, и когда видишь на пустынной дороге библейскую картину — ослика, на спине которого сидит женщина в черном, держащая на руках младенца, как не вспомнить о бегстве в Египет? К слову сказать, сицилианцы убеждены, что Богоматерь бежала с младенцем от Ирода не в Египет, а в Сицилию, и около Таормины показывают пещеру, где Она остановилась на ночлег...

Пышность садов как-то не соответствует убогости человеческих жилищ. Дома в городах старые, облупленные, покосившиеся, но зато на балконе у самого бедного человека — кадки и горшки с цветами, целые висячие сады из глициний, разросшихся в человеческий рост кустов герани, вакханалия плюща и ползучих роз. А в деревнях дома попросту сложены из местного камня, и уж окон в них нет никогда: хватит и одного прореза для двери, который завешен тряпкой или тростниковой цыновкой. Отопления, конечно, нет никакого, благо зима не очень холодная; живут при лучине или керосиновой лампе, воду приносят из городского фонтана, иногда Бог знает откуда, на спине, в медных плоских бидонах.

Сколько старух в черном! Либо сидят они на стульях перед своими жилищами, повернувшись спиной к улице, и занимаются вышиванием, либо несут на головах корзины с тяжелой ношей или глиняные амфоры со свежей водой. А старики отдыхают на скамье, на пьяцце, в

тени деревьев, или около церкви. Перекидываются изредка словами — все давно уже известно и все друг другу рассказано.

Поезд останавливается в Таормине, где когда-то любил проводить зимние месяцы Вильгельм II. В несколько минут «Фиат» поднимает нас на вершину горы. Здесь расположен старинный городок и отель Сан Доменико, обращенный фасадом к удивительной по красоте бухте.

Представьте себе небо глубочайшей синевы и куда хватает глаз лазурное море. Справа четко вырисовывается Этна с дымящимся кратером вулкана. Есть дни, даже в августе, когда вершина Этны покрыта снегом, сверкающим под солнцем. А внизу у подножия вулкана раскинулась одна из плодороднейших долин в мире — гигантский сад, в котором собраны причудливые цветы и деревья, где все благоухает и блещет яркими красками.

В XII веке здесь был монастырь Св. Доменика. Постепенно он разрушался и в конце концов был переделан в отель, сохранивший в своих стенах средневековую монастырскую архитектуру. Громадные сводчатые коридоры, вдоль которых развешены картины старинных мастеров на религиозные темы, мраморные статуи, глиняные амфоры с цветами. Над каждым апартаментом проставлены не прозаичные номера, а церковные названия: «Агнус Деи», «Санта Агата», «Санта Лючия»... Посреди коридора бывшая монашеская келья, переделанная в часовню. Дверь открыта день и ночь. Перед деревянной статуей Мадонны горят лампады и стоят букеты цветов... От древнего монастыря остался еще клуатр — двор, окруженный колоннадой, превращенный в зимний сад, да по соседству церковь Св. Доменика, разбитая бомбардировкой во время последней войны.

Долго в этот первый день мы бродили по парку отеля, террасы которого спускаются вниз, по склонам горы. Нигде я не видел таких цитрусовых деревьев, как в Таормине, и таких великолепных цветов, как в этом саду. Несколько дней спустя мы познакомились со стариком садовником, и он сказал, что летом сад выглядит плохо, все сгорает от солнца и цветов мало.

— А вы приезжайте к нам в январе или в феврале.



**Отель Сан Доменико**
**Кельи, превращенные в комнаты для туристов**

Вот когда вы увидите настоящие цветы. У нас зимы нет, снег лежит только на Этне, а весна начинается в феврале, когда зацветает миндаль... Будете гулять в саду и срывать с деревьев апельсины.

До зимы еще далеко, а пока солнце палит невыносимо и горячий воздух струится вдоль гор и спускается вниз, к берегу моря. Но жара особенная, сухая, не утомительная, и как только зайдет солнце, она исчезает — с гор потянет прохладным ветерком, а ночью нужно будет одеяло.

Солнце скрывается за Этной очень рано, быстро наступает ночь. Пахнет влажной, только что политой землей, зеленью и цветами. Над Ионическим морем поднимается большая зеленоватая луна, проливает странный, фантастический свет на развалины римского амфитеатра на горе... Хочется сидеть на балконе всю ночь, смотреть на это море, по которому тысячелетия назад плыл Одиссей, на горы, где жили Музы Виргилия, вдыхать прохладный воздух... Но всех клонит ко сну, сказались две ночи в поезде, усталость дорожная, бесконечный день.

Мы ложимся, быстро засыпаем, и мне кажется, что в ту же минуту я слышу странную, нежную, ласкающую слух музыку... Я открываю глаза, смотрю на часы: полночь. Спал я не больше часа. Музыка не исчезает, а становится все громче и громче, она раздается в саду, прямо под нашими окнами... Что же это? Встаю с постели, выхожу на балкон. Внизу, на террасе, пятеро музыкантов дают полуночную серенаду в честь наших дам, — особое внимание директора отеля.

Возвращаюсь в спальню и бужу жену:

— Проснись скорее, нужно выйти на балкон... Серенада!

В ответ слышу несколько слов, чрезвычайно нелестных для моего самолюбия.

— Серенада...Вставай, надо выйти!

— Не калечь меня, — говорит жена. — Какая серенада?! Умоляю, дай спать!

Но она уже не спит, невольно прислушивается к звону гитар и мандолин и с покорным вздохом встает и выходит наружу. А на соседнем балконе стоят наши друзья, улыбаются в темноте музыкантам, играющим «Сицилианскую тарантеллу» и благодарят:

— Грациа... грациа...

Музыканты тихо перебирают струны и потом начинают под сурдинку «Пастораль». Сон окончательно прошел, и жена уже не жалуется, что я калечу ее жизнь, а с улыбкой слушает серенаду... Цикады в саду устали от пения и умолкли, луна стоит теперь высоко, горы залиты ярким, голубым светом и море — потоки расплавленного серебра... Какая ночь!

## СИЦИЛИАНСКИЕ БУДНИ

На рассвете будит пение, доносящееся откуда-то издалека. Выхожу на балкон. Солнце недавно встало, море еще по-утреннему бледно-молочного цвета, и особенно четко вырисовывается Этна с клубами дыма над кратером.

Снизу по крутой тропинке поднимаются в гору два человека. На спине у них бидоны с водой, и чтобы облегчить подъем и скоротать время, поют они что-то

заунывное, какой-то восточный мотив, сохранившийся тысячелетие со времен арабского владычества над Сицилией. Эти два «аквауоло» — так называют здесь водоносов, — целый час поднимающиеся в гору со своей тяжелой ношей за спиной, — символ обездоленной, безводной Сицилии. Счастлив крестьянин, имеющий свой колодезь. Но если виноградник его и дом расположены высоко на горе, а воды поблизости нет, нужно идти Бог весть куда, к фонтану, чтобы принести бидон с драгоценной аквой. Таких водоносов в горах встречаешь немало, и эти двое станут меня будить своей песней каждый день на рассвете, и я буду выходить на балкон, словно у нас заранее условлено было свидание. Проходя мимо, они на мгновение прерывают пение, делают приветственный жест рукой и говорят:

— Бонджорно!

И через минуту водоносы скрываются за поворотом тропинки. Только песнь долго еще доносится до меня.

За отелем Сан Доменико расположена площадь с фонтаном и старинным собором «Дуомо», а дальше начинается узкая и длинная улица, закрытая с двух сторон средневековыми башнями. Это — торговый центр Таормины,



**Собор «Дуомо» в Таормине**

и здесь с утра до ночи снуют туристы и местные жители, отправляющиеся за покупками.

Таормина славится своими вышивками, скатертями, блузками, но так уж повелось, что торговцы запрашивают втридорога, а туристы торгуются, стараясь сбить цены. Чудесная скатерть, над которой немало часов просидели местные вышивальщицы, раскинута на прилавке. Продавец с жаром расхваливает свой товар на фантастической помеси итальянского, французского и английского языков.

— Лаворе фино... Мане... Квесто: чинкванта милле...

— Дорого!

На лице торговца — глубочайшее огорчение. Мгновение спустя на прилавке разбрасывается другая скатерть. И опять:

— Лаворе фино... Мане... Вери гуд. Квесто: куаранте милле...



**Главная улица Таормины**

В конце концов вы уходите из магазина со скатертью, с сицилианскими шапочками и другими очаровательными и ненужными безделушками.

Зашел я как-то в магазин «античных» вещей, увидев

в окне терракотовую статуэтку фавна с отбитой ногой.

— Куанто? — спросил я, показав на статуэтку.

— Дуэ милле чинкваченто, — ответил он.

И, подумав немного, добавил:

— Антика ориджинале...

Тут меня разобрал смех: 2500 лир (около 4 долларов) за «настоящую» античную статуэтку! Торговец говорил по-французски, и когда я сказал, что он должен побояться Бога — такая настоящая статуэтка стоит 200 или 300 тысяч лир, — смущенно улыбнулся, и уже с видом сообщника сказал:

— Это, конечно, подделка, синьор. Но это очень хорошая подделка. Так сказать, подделка ориджинале...

В конце концов одноногий фавн перешел в мою собственность. С тех пор мы не расставались. Фавн стоит на полке моей библиотеки, постепенно покрывается пылью и, вероятно, скоро станет настоящей античной статуэткой.

Таормина живет туристами и местное население привыкло разговаривать с ними на каком-то красочном волапюке, но сговориться можно... Как не вспомнить здесь, что писал по этому поводу еще Гоголь? Любознательный Анучкин в «Женитьбе» расспрашивает видавшего виды Жевакина:

«— А как, позвольте еще вам сделать вопрос, на каком языке изъясняются в Сицилии?

— А натурально все на французском.

— И решительно все барышни говорят по-французски?

— Все-с решительно. Вы даже может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски... возьмите нарочно тамошнего простого мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба», — не поймет, ей-Богу, не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pano» или «portate vino!» — поймет, побежит, и точно принесет».

Впрочем, очень быстро мы убедились, что сицилианцы понимают в случае нужды даже по-русски. Как-то в траттории приятель мой подмигнул служащему и совершенно по-гоголевски сказал:

— А ну-ка, братец, убери грязную тарелку.

Расторопный малый мгновенно сообразил, что от него требуют, ринулся к столу, и грязная тарелка к нашему великому восхищению немедленно исчезла. Был у меня другой опыт с итальянцем, «понимавшим» по-русски, но уже в Нью Йорке. Мы обедали как-то в итальянском ресторане, где играл крошечный оркестр. Узнав, что обедает русская компания, музыканты заиграли «Очи черные, очи страстные». И хозяин, суетившийся у стола, вдруг сделал томное лицо, по-оперному закатил глаза и, обращаясь к моей жене, сказал с тремоло в голосе:

— Очи страцция...

Много часов провели мы, разгуливая по узким улицам Таормины. Взбирались по лестницам, заходили в прохладные храмы, отдыхали на террасах кафе за чашечкой крепчайшего «эспрессо» или порцией сицилианской «кассаты» — мороженого, вкус которого до сих пор тревожит мой покой.

На итальянской улице всегда есть на что посмотреть. Проезжает повозка фруктовщика, артистически разложившего арбузы, желтые дыни, корзины с виноградом, свежими фигами, зелеными перцами и ярко-красными помидорами. Из окна третьего этажа раздается крик, и толстая матрона, высунувшись наружу, что-то спрашивает у торговца. Затем спускается на веревке корзина с лежащей на дне ее сотней лир. Зеленщик отбирает помидоры, хозяйка сверху командует, бракует, жестикулирует, торговец тоже волнуется, и наконец корзина с помидорами поднимается наверх — синьора побывала на базаре. На смену зеленщику через минуту покажется в улочке человек бандитского типа, полуголый, давно не бритый, мрачный и ожесточенный. В корзинах у него рыба, пойманная прошлой ночью в бухте. Из нашего окна вижу по ночам рыбачьи лодки с ярким светом на корме. Рыба плывет на свет и они берут ее в сети, а что покрупнее — бьют острогой. Поймать рыбу — задача не трудная, а вот продать ее таорминской хозяйке будет нелегко. Тут уже торг идет не из окна. Синьора спускается на улицу, лично перебирает рыбу, открывает жабры, нюхает, безбожно торгуется, и рыбак в гневе уходит, потом

возвращается, и спор продолжается... Среди уличных торговцев очень быстро появился у меня знакомый — старый Гвидо, который в самые жаркие часы устраивался в тени деревьев, у входа в отель Сан Доменико. Гвидо снабжает туристов сувенирами, открытками, но, верно, никогда бы ничего не продал без помощи Торридо.

Торридо — это маленький ослик, по-сицилиански украшенный ярким султаном и цветами. Его вечно заедают



**Ослик Торридо**

мухи. Стоит он с понурым видом, запряженный в свою тачку. Так как каждому хочется познакомиться с Торридо, приласкать и дать ему кусок сахара, приходится покупать у Гвидо заодно его открытки. Гвидо приветлив с туристами, суров с Торридо, и всякий раз, когда ослик дергает тележку и хочет стать в тень, старик бормочет сквозь зубы:

— Бестия инграта... Каналья!

Современная Италия — это не только солнце, цветы, живописные люди и чудесные пейзажи. Это — разрушенные здания, тяжелые и еще не зажившие раны войны.

Однажды, возвращаясь в отель, я прошел боковой улочкой и набрел на церковь Св. Доменика. В отеле нашем во время германской оккупации помещался штаб генерала Кессерлинга. Американцы избрали его своей мишенью. Кессерлинг остался жив, но в небольшой Таормине, к несчастью, погибли от бомбардировок четыреста жителей. Было разрушено немало домов, и среди них самая старая и красивая церковь Сан Доменико.

Уцелел только главный алтарь, а своды и стены рухнули. Теперь между цветными мраморными плитами из земли выросли целые деревья. Разбиты старые могилы у боковых приделов, лежат на земле рухнувшие колонны и осколки изуродованных статуй святых, и все это постепенно зарастает одичавшим бугенвилем, красными и фиолетовыми цветами Сицилии.

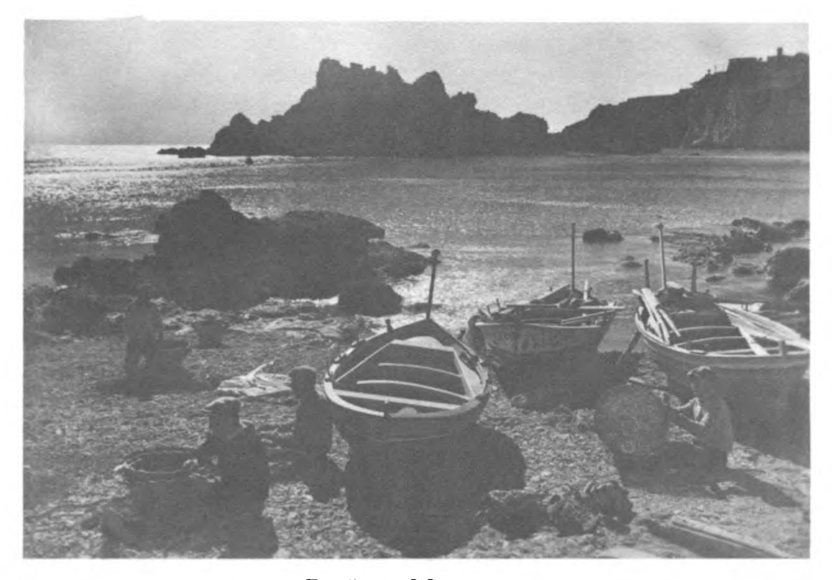
Среди развалин ходил старик в какой-то рваной накидке. Он взял меня за руку, подвел к алтарю с обезглавленными статуями, пытался что-то объяснить, но я не понимал его сицилийского наречия и лишь догадывался, что он рассказывает, как красив был когда-то этот храм и как жаль, что до сих пор его не реставрировали.

Удивительная вещь: четыреста человек погибли в этом городке от американских бомбардировок, до сих пор еще носят женщины траур по погибшим, а со стороны местных жителей американцы не чувствуют ни малейшей неприязни или злобы. Все поняли, что так было нужно и приняли свое несчастье покорно и с достоинством. Может быть, помогло и другое: слишком много было в истории Сицилии нашествий, войн и разрушений, слишком хорошо знают сицилианцы свою историю. Время сделало их философами: могилы зарастают травой, дома восстанавливаются, жизнь продолжается.

Внизу, у подножья Таормины, расположен пляж и крошечная бухта Мацарола, со всех сторон закрытая скалами от ветров. На берегу видны развалины крепости, защищавшей в греческие времена вход в бухту. Прямо в лодке туристы въезжают внутрь башни, под камнями которой мальчишки ловят крабов и морских коньков.

Зеленая, необычайно прозрачная вода лениво набегает

на гальку. Здесь рядом Африка, но никогда не жарко — весь день с моря дует прохладный ветерок. Купальщики лежат в креслах, под цветными зонтиками, смотрят на море, на бурые скалы с пиниями и оливковыми рощами или просто дремлют. В самом конце пляжа спят под



**Рыбаки Мацаролы**

баркасами или чинят сети рыбаки. Всю ночь они провели в море и на рассвете вернулись с уловом скампи, какой-то красной рыбой, и с фрутти ди маре — устрицами и морскими ежами.

Каждый день по пляжу, по раскаленным камням, проходит босоногий рыбак Марио. В руке у него корзина, прикрытая сверху водорослями и мокрой парусиной. Время от времени, завидев клиента, Марио присаживается на корточки, бросает короткое «бонджорно» и показывает свой товар.

Нет ничего вкуснее его фрутти ди маре. Марио — тонкий психолог и даже не спрашивает, хочу ли я их отведать. Из кармана он извлекает ложечку, трет ее песком и промывает в морской воде, затем ловко вскрывает ножом колючего ежика и протягивает мне угощение. Крошечные моллюски пахнут иодом, свежестью моря, я начинаю их

глотать с наслаждением, и скоро дюжина раскрытых ежиков бесславно кончает свое существование.

— Кванте?

— Дуочента лира, — запрашивает Марио.

Я знаю, что итальянец даст ему за дюжину ежиков не двести, а всего пятьдесят лир и Марио запросил на всякий случай, чтобы потом всласть поторговаться. Но так хороши его ежики и так красочен сам Марио в разорванной рубахе, с необычайно загорелым рыбачьим лицом, что я протягиваю ему две сотенные бумажки. Марио берет, благодарит, но его, видимо, мучает совесть. Порывшись в корзине, он извлекает веточку красных кораллов и сухую морскую звезду и дает все эти сокровища в виде бесплатного приложения.

Солнце поднимается все выше и начинает сильно жечь. Я впадаю в дремоту и вдруг меня будит голос все того же Марио, подъехавшего к берегу на своей лодке. Решив, что он имеет дело с американским миллионером, рыбак задумал покатать меня по морю.

— Гротти, — говорит он. — Визитати гротти!.. Коралли.

Мне хочется в грот с голубой водой, с красными и желтыми кораллами на дне, но сейчас слишком жарко, и пока доберешься туда в открытой лодке, можно получить солнечный удар. Я благодарю, отказываюсь, но Марио долго стоит у берега и укоризненно повторяет свое «Гротти, визитати гротти...».

# ЭТНА

Мы выехали из Таормины пораньше, чтобы добраться до вершины Этны засветло. Дорога идет сначала среди садов и виноградников, но постепенно пейзаж меняется. Чем выше в гору, тем меньше зелени и суровее природа. Больше нет апельсиновых и лимонных рощ, исчезают даже оливковые деревья — голая земля, камень, скудные пастбища. И внезапно за поворотом дороги открывается пейзаж дантовского ада: все вокруг черно, земля, скалы, какой-то первобытный хаос и нагромождение. Шофер замед-



**Вершина Этны. Лава.**

ляет ход машины, протягивает руку в сторону этой черной пустыни и говорит:

— Лава!

Потом в течение доброго часа машина поднимается среди застывших потоков былых извержений. Время от времени видны группы рабочих, разбивающих лаву кирками и молотами, — это строительный материал, из которого на десятки миль вокруг сооружают дома, складывают террасы висячих садов, даже мостят им дороги. Из лавы, перемолотой в порошок, добывают великолепное удобрение, высоко ценимое садоводами Сицилии.

Но какой это подавляющий, мрачный пейзаж! Постепенно разговоры в машине затихают, мы молча смотрим на этот хаос, извергнутый из недр земли. Этна остается действующим вулканом. Еще два года назад огненные потоки уничтожили несколько деревень. Что заставляет людей возвращаться в это опасное место, на старое пепелище? С незапамятных времен города и деревни у подножия и по склонам Этны разрушались землетрясениями и заливались потоками лавы, а через несколько лет, когда затвердевала кора, люди возвращались и отстраивали все заново. И места здесь бедные. Но всего в часе езды есть плодородная земля, отличная вода для питья и орошения, а вот не уходят крестьяне Этны на новые поселения, и после каждой катастрофы упорно берутся за кирки и лопаты и отстраивают старое жилище. Как не преклониться перед этим человеческим упрямством и привязанностью к родной земле — грозной, убогой, но все же своей испокон веков?

Мы продолжаем подъем и скоро исчезает солнце, вершина горы затягивается тучами. Начинает моросить мелкий, холодный дождь. Кончается шоссейная дорога, дальше ехать нельзя. Но альпинисты с опытными проводниками, знающие все склоны вулкана и опасные места, могут подняться почти к самому кратеру. К услугам их в конце дороги небольшая гостиница типа швейцарского горного «шале», где можно переночевать и нанять гида. Несколько человек, приехавших до нас в автобусе, с мешками за спиной и полным снаряжением альпинистов, тяжелым шагом направляются к гостинице. Они начнут подъем завтра на рассвете.

В стороне от дороги стоит часовня, сложенная из неотесанных камней. Перед статуей Мадонны горит лампада и вянут букеты цветов.

Мадонна охраняет жителей долины от извержений.

Мы долго стоим у часовни. Дождь все еще моросит, но облака на несколько мгновений разрываются и мы



**Часовня Мадонны у вершины Этны**

видим радугу и вершину вулкана, над которой клубящийся пар и дым поднимаются к небу фантастическим грибом, словно от взрыва атомной бомбы.

Возвращаясь к машине, подбираем на память несколько тяжелых кусков лавы, похожей на шлак из доменных печей. Лава эта затем бережно укладывается в чемодан, где лежат всевозможные сувениры. Но при каждой перепаковке чемодана один кусок таинственно и бесследно исчезает. Так с аэростатов когда-то сбрасывали постепенно мешки с балластом, чтобы немного облегчить вес воздушного шара и лететь дальше... В конце концов до Нью Йорка я довез один-единственный кусок лавы.

После мрачной экскурсии на Этну особенно радостно было поехать в Кастельмоло, крошечный городок, распо-

ложенный над Таорминой, на самой вершине горы. Когда-то здесь была крепость, от нее остались только развалины, но даже в последнюю войну крепость сыграла свою роль: три немецких солдата залегли в развалинах с пулеметами и несколько часов задерживали наступление английской части, пока стрелков не перебили... Под стенами крепости теснятся прижавшиеся друг к другу домишки без окон, с одним прорезом для дверей. Улиц, собственно, нет, а больше лестницы, узкие проходы между домами, напоминающие осушенные венецианские каналы, а наверху, над протянутыми веревками с бельем — безупречная синева сицилианского неба.

Главная достопримечательность Кастельмоло — это, конечно, не крепость и не старинная церковь, а кафе и лавка сувениров синьора Бландано. У синьора Бландано имеется книга для гостей, в которой собраны сто тысяч автографов и мудрых изречений туристов. Кроме того, на крыше кафе устроена терраса, откуда открывается действительно замечательный вид на все побережье.

Терраса эта однажды сыграла с синьором Бландано дурную шутку. В Таормину на своей яхте прибыл миллионер Вандербильд. В городке узнали, что вечером он приедет в Кастельмоло любоваться солнечным закатом. Сицилианцы обладают пылким воображением. Кто-то пустил слух, что солнечный закат — это только предлог; в действительности Вандербильд собирается «дать городу воду». До недавнего времени в Кастельмоло не было ни одного колодца или фонтана, и воду привозили издалека на осликах. Мэр в срочном порядке созвал городской оркестр; аббат, настоятель местной церкви, надел новую сутану. Площадку перед кафе тщательно подмели и даже поставили полицейского, которого специально ради торжественного случая выписали из Таормины.

В ожидании прибытия миллионера полицейский дал инструкции толпе: никто не должен целовать Вандербильду руки или просить его благословения; нельзя бросать в миллионера цветами и вообще рекомендуется держать себя с достоинством, подобающим каждому настоящему сицилианцу.

На случай, если высокий гость проголодается, синьор Бландано добыл у знакомого повара из отеля Сан Доме-

нико половину лангусты и порцию «русского салата». Он приготовил фиаску самого лучшего кьянти и даже купил в аптеке бутылку минеральной воды, цена которой показалась синьору Бландано грабительской... Покончив с приготовлениями, несмотря на то, что день был будний, он побрился, помылся и надел чистую рубаху. Оставалось только ждать.

Наконец великолепный «рольс» выехал на площадь и остановился перед кафе. Оркестр грянул марш из «Аиды». Мэр и аббат вышли было вперед, но Вандербильд, явно не поняв, что встреча устроена в его честь, ни с кем не поздоровался и прямо поднялся на террасу.

Оркестр умолк. Толпа ждала, затаив дыхание. Вандербильд уселся в удобное кресло и погрузился в созерцание. Закат был на редкость красивый. Небо непрерывно меняло краски, из золотого стало желтым, потом сиреневым. Море было розовым. Этна пурпурной... Наконец Вандербильд и его свита поднялись с мест.

— Не угодно ли гостям отведать лангусту с русским салатом и запить угощение стаканом кьянти?

Мистер Вандербильд не голоден. Мистер Вандербильд не хочет пить кьянти. И он не дает автографов.

Благодетель города спустился с террасы. Оркестр снова грянул марш из «Аиды». Полицейский отдал честь. Автомобиль загудел и медленно двинулся вперед. Вот он исчез за поворотом, а затем прожекторы его показались на дороге, ведущей в Таормину... Толпа разразилась смехом: сицилианцы не лишены чувства юмора, отходчивы, и в ту же минуту забыли о мистере Вандербильде и его миллионах. Оркестр заиграл веселый мотив и на площади начались танцы.

Синьор Бландано удалился к себе наверх, запер двери кафе и долго о чем-то думал. Затем он высыпал русский салат в чашку для своей собаки, взял лангусту и поднялся на террасу. «Рольс» Вандербильда еще был виден на петлистой горной дороге. Синьор Бландано размахнулся и запустил лангустой ему вслед.*

* Эпизод этот великолепно рассказан в книге французского писателя Роже Пейрефита «От Везувия до Этны».

На этот раз в Кастельмоло не было оркестра и никто не подмел площадь перед кафе. Синьор Бландано угощения не предлагал, но мы купили у него втридорога какие-то сувениры. На каменном парапете сидел аббат в затрапезной сутане и весело разговаривал с группой молодежи. Босоногий мальчишка гнал по лестнице козу, вероятно, единственное богатство семьи и ее кормилицу. Шли женщины за водой, но уже не за тридевять земель, а к фонтану: Кастельмоло все-таки получил водопровод, правда, не от Вандербильда, а от американского правительства в порядке экономической помощи.

На улице к нам подошел старичок с веселой улыбкой и протянутой для рукопожатия рукой.

— Американо? — спросил он.

Получив ответ, он совсем обрадовался, долго жал руки и сказал, что он сам был американо — приехал в «Нев-Иорко» в 1895 году и прожил там семь лет, работая каменщиком. Когда заработал достаточно денег, отправился домой в Кастельмоло, женился и купил по ту сторону горы виноградник. И пока был молод, все мечтал вернуться с женой в Америку, да всегда что-то мешало: то урожай винограда был слишком хороший, то слишком плохой. Пошли дети и вдруг он незаметно стал старым и ехать было уже поздно... Он все тянул нас к парапету, хотел показать вид на долину и твердил:

— Панорама уника!

Панорама, действительно, была уника: на горизонте возвышалась Этна, окруженная цепью мелких, давно потухших вулканов; вниз сбегали горные тропинки к Таормине, Джардино, Катанье, а дальше, на горизонте, — море, все время менявшее свои цвета, и далекие паруса рыбачьих лодок.

Американо все что-то объяснял. Я решил, что он просто хочет получить сотню лир и протянул ему бумажку. Это была явная бестактность. Старик отступил на шаг и с обиженным видом замахал руками: он не гид и не нуждается, им руководили чувства нобилиссима: желание быть полезным бывшим соотечественникам и гордость кастельмолийца. Он начал просить нас зайти к нему в дом, выпить стакан вина, но мы, к сожалению, не могли принять приглашения: наступил вечер и обратная поездка

по горной дороге в темноте нам не улыбалась. Мы пошли к автомобилю, и на пути американо все показывал местные достопримечательности. Показал даже одноэтажный дом средневековой архитектуры, с решеткой на окне, и сказал, что это кастельмолийская тюрьма и там сидит один арестованный.

— Кто же за ним следит? — спросил я. — Ведь у вас здесь нет ни полицейских, ни тюремщиков?

— За ним никто не следит, — ответил старик. — Он местный человек и никуда не убежит. Это — бандит чести.

— Но кто же его кормит?

Старик сделал неопределенный жест рукой и сказал, что кормит его весь город — кто хочет. Женщины приносят заключенному миску супа, остатки полленты, а кто бутылку вина. В тюрьме он даже располнел. Но в чем заключалось преступление бандита чести, я так и не понял — старик пустился в сложные объяснения и окончательно перешел на сицилианское наречие.

На деревянных воротах церкви я с удивлением увидел нарисованный краской серп и молот. Аббат, сто раз в день проходящий мимо, почему-то не стер этот коммунистический знак. Тут впервые пришлось столкнуться с неко-




Таверна «Парадизо»

торыми особенностями итальянского коммунизма. Меня заверили, что сицилианцы, голосующие за коммунистов, в глубине души считают себя роялистами и, во всяком случае, остаются верующими католиками. Вот почему в Италии на дверях дома можно увидеть серп и молот, а внутри — лампаду, зажженную у статуи Мадонны.

В Сиракузах несколько дней спустя я сфотографировал трактир, над которым висела вывеска:

«Альберго Парадизо».

И под этой надписью хозяин приклеил плакат:

«Вотати коммюнисти».

Хозяин явно страховался на два фронта: с одной стороны сулил своим клиентам рай, парадизо, а с другой призывал голосовать за коммунистов.

Кажется, дела его процветают.

## СИРАКУЗЫ

От Таормины до Сиракуз три часа езды по железной дороге. Поезд идет медленно, останавливается на каждом полустанке и имена станций звучат для меня, как названия итальянских опер: «Маскатти», «Рипосто», «Бикокка»... На платформах невероятная суета и толкотня. Человек уезжает из Катаньи в соседние Сиракузы, а провожает его вся семья, словно он едет за океан, и когда поезд трогается, провожающие начинают шумно аплодировать. Поезд переполнен до отказа, в вагонах третьего класса нельзя пройти, да и в первом классе не лучше. В моем купе полный комплект пассажиров: священник, всю дорогу погруженный в молитвенник; капитан карабинеров, как две капли воды похожий на бывшего кандидата в президенты Стивенсона; молоденькая и очаровательная балерина-итальянка, едущая на гастроли в Катанью, и американка с двенадцатилетней дочерью, путешествующая по Италии.

Балерина, веселая, добродушная и восторженная, немедленно взяла под свое покровительство американку с дочерью. Все время она указывает им в окно на какие-то

достопримечательности, восхищается, сыплет объяснениями, а американка, едущая из Рима и уставшая от бессонной ночи, с трудом на все это смотрит и уже не имеет сил восхищаться. Девочка ее спит на плече матери.

— Берег Атлантов, — говорит Стивенсон, показывая на пляж и бурые скалы.

— А где Атланты? — сонно спрашивает американка.

— Это — мифология, — кротко отвечает ей капитан карабинеров.

После этого балерина принимается за капитана. Уговаривает его бросить службу и стать депутатом: балерины, во всяком случае, будут голосовать за него... Через час мы все уже подружились, и когда поезд приходит в Катанью, помогаем балерине вынести чемоданы, не без сожаления пожимаем друг другу руки и расстаемся.

Капитан делается молчаливым и на следующей станции забирает свой саквояж и тоже сходит.

Почему-то мне кажется, что он вернется в Катанью посмотреть балет.

После Катаньи пейзаж резко меняется. Исчезают сады, нет больше апельсиновых и лимонных деревьев, не видно цветов и нет даже кактусов. Поезд идет вдоль голого и унылого берега. Все выжжено неумолимым солнцем. Всюду, куда хватает глаз, — камень, пески и степи, покрытые выгоревшей травой, да русла высохших рек. Ни городов, ни деревень. Только изредка попадается хижина, сложенная из камней, прислонившаяся к отвесу скалы, или пещера, в которой живут люди. Что они делают в этой пустыне, где берут воду, чего ради поселились в этом обездоленном месте? Неужели из-за двух коз, которые щиплют жалкую траву на дне высохшего ручейка?

Пейзаж этот только отражает судьбу Сиракуз — города, бывшего две тысячи лет назад «царицей Средиземноморья». Когда за шесть веков до нашей эры на восточном побережье Сицилии высадились греки, места эти были цветущими. Цицерон называл Сиракузы «самым большим греческим городом и самым красивым в мире». Но греки принесли Сицилию не только высокую культуру, зодчество и изысканный образ жизни, но и бесконечные

войны, сначала с Карфагеном, а затем с Римом. И в результате вторжений и длительных осад все было сожжено, разрушено, уничтожено, и земля перестала родить, в развалины были превращены великолепные храмы эллинских богов, а Сиракузы, в которых при тиране Дионисии было 500 тысяч населения, теперь едва ли насчитывают 30000 жителей.

Нигде не ощущаешь с такой силой хрупкости цивилизации, как на этом сицилианском побережье. В голой, мертвой степи вдруг появляются развалины античного храма... Должно быть, на заре истории в месте этом был город, и в центре его высился храм, воздвигнутый на вечные времена для поклонения эллинским богам. И камня на камне не осталось от этого города, исчезли следы его — голая земля, да лежат в траве только несколько разбитых колонн и на фоне синего безоблачного неба четко вырисовывается чудом уцелевший портик.

В начале IV столетия до Р. Х. Сиракузы соперничали с Афинами и с Карфагеном. На высотах города возвышалась крепость Эвриалус — самая большая в античном мире. В центре стояли храмы Геркулеса и Аполлона, десятки других храмов и самый большой греческий театр в мире. Здесь ставили трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида. В порту всегда было много судов, бороздивших воды семи морей.

Что же осталось от всего этого?

Когда я вышел в полдень из сиракузского вокзала, на площади, залитой ярким солнцем, не было ни души.

Только на другой, теневой стороне, толстяк шофер дремал за рулем «Фиата». Мне казалось, что он крепко спит, но очевидно сиракузские шоферы инстинктивно чувствуют приближение клиента. Как только я сделал несколько шагов по направлению к машине, он встрепенулся и лихо ко мне подкатил.

Сговорились мы быстро. Осмотр достопримечательностей, большей частью расположенных за городом, должен был продолжаться около четырех часов. Шофер Тони во что бы то ни стало хотел начать с развалин крепости Эвриала, а я предлагал другой маршрут. Но Тони наста-

ивал: смотритель крепости его товарищ, они вместе сражались в Абиссинии, сейчас обеденный час, он свободен и все нам покажет.

До крепости километров десять. Воздвигнутая на пригорке во времена Дионисия, была она, вероятно, совершенно неприступной. Но от всех этих замысловатых сооружений остались теперь лишь груды камней, глубокие рвы, подземные ходы. Тони прямо повел к домику смотрителя. Семья была в полном сборе, за столом — смотритель, его жена, четверо немытых и грязных ребятишек, сестра жены с мужем, два каменщика... При виде гостей раздались радостные крики. В мгновенье ока расчистили за столом место, перед нами оказались тарелки, и хозяйка начала уговаривать, чтобы я отведал изготовленное ею рагу. Есть мне не хотелось, но от стакана вина я не отказался. И пока мы чокались и пили, Тони принялся за еду: в жизни я не видел подобного аппетита! Тут только стало понятно, почему он так настаивал на немедленном осмотре Эвриала... В комнате было душно, жужжали бесчисленные мухи, во всем чувствовалась бедность, но стол, за которым мы сидели, был из каррарского мрамора, античный, должно быть, найденный в крепости во время раскопок, и сколько подлинного гостеприимства и радушия было у этих людей по отношению к человеку, которого они видят в первый и последний раз в жизни!

Пока доедали рагу и хозяйка подала свежесваренное кофе, я узнал, что все они имеют родственников в Америке. Отец Тони уехал в Соединенные Штаты 44 года назад и так и не вернулся. В Нью Йорке у него есть брат, сестра и, как у каждого уважающего себя сицилианца, бесчисленное количество дядек и теток.

Мы долго ходили среди развалин, пугая крупных серых ящериц, гревшихся на солнцепеке. Гид мой показывал какую-то первую линию укреплений — прима дефанца, секундо дефанца, водил к секретным воротам, из которых на карфагенян вылетала греческая конница. Много крови было пролито по склонам этого холма. Неподалеку расположен греческий амфитеатр, в котором и теперь еще иногда ставят античные трагедии. Каким-то образом амфитеатр акустически связан с «Ухом Дионисия» — не то камено-

ломней, не то пещерой, имеющей форму человеческого уха и обладающей феноменальным резонансом.

Латомия Дионисия устроена так, что каждое слово, даже сказанное шепотом, гулко и отчетливо, многократно усиленное, возвращается эхом назад.

Мы стали у входа. Тони сказал несколько слов. Через секунду громовой голос в глубине латомии повторил их. Он ударил в ладоши и мне показалось, что это — пушечный выстрел. Тони вынул из кармана листок бумаги, разорвал его по диагонали, и этот едва уловимый звук громко прокатился под сводами.

На самом верху пещеры проделано небольшое отверстие, через которое струится слабый луч света. Говорят, во времена Дионисия в пещере сидели тысячи пленных афинян и отверстие было сделано для того, чтобы подслушивать их разговоры. Есть и другое, более правдоподобное объяснение: «Ухо Дионисия», соединяющееся с амфитеатром, было своего рода гигантским рупором для «звукового оформления» трагедий, разыгрывавшихся на арене.

В францисканском монастыре Св. Марциала, куда мы затем приехали, шла вечерняя служба. Тихий монах в коричневой сутане поклонился гостям и повел нас сначала благоухающим садом из белых и красных олеандр к храму, рухнувшему лет двести назад во время землетрясения. Уцелела только одна стена над алтарем, вся покрытая плющом и ползучими розами.

Потом монах зажег фонарь и мы спустились в катакомбы, где помещается древнейшая в Европе христианская церковь. По преданию, перед каменным алтарем этой церкви молился апостол Павел и в церкви еще сохранилась могила замученного в Сиракузах св. Марциала, мощи которого теперь находятся в Неаполе.

Наверху — знойный сицилианский день, а в катакомбах — темнота, сырость, ледяной воздух.

Впереди покачивается лампа монаха и слышен его тихий голос:

— В этих саркофагах лежали кости первых христиан, которых начали хоронить здесь в третьем столетии... В прошлую войну, во время бомбардировок, местное насе-

ление пряталось в катакомбах, и тогда кости убрали и зарыли на кладбище.

Мы идем бесконечными коридорами. По временам гид останавливается, поднимает фонарь, и я вижу выгравированную на камне латинскую эпитафию. Холод усиливается, становится пронизывающим. Я чувствую, что обязательно простужусь в этом подземелье — слишком велика разница в температуре на поверхности и в катакомбах. И, словно угадав мою мысль, монах с улыбкой спрашивает:

— Брат мой, здесь холодно и неуютно: живые не должны долго оставаться в царстве мертвых. Может быть, вы хотите вернуться в сад?

Мы поднимаемся по крутой лестнице к солнцу и теплу. В саду под олеандрами сладко спит мой Тони. Он отдохнул и теперь полон необыкновенной энергии. Он катает меня по улицам Сиракуз и показывает старый квартал. Через несколько дней, 24 августа 1953 года, здесь объявится статуя «плачущей Мадонны», — нигде не происходит так много чудес, как в южной Италии. Мы останавливаемся у элегантного отеля Боско XVIII столетия, не пропускаем ни одной церкви и заходим в собор Санта Мариа, в стены которого вделаны двенадцать дорических колонн, оставшихся от храма Минервы. Так странно переплелось здесь язычество и христианство... В соборе пусто, солнечно, и какая-то скрюченная в три погибели старуха, шаркая ногами по мраморным плитам, подходит, прося милостыню. Я подал ей бумажку, но через минуту, когда мы обходили храм с другого придела, старуха снова появилась и начала говорить что-то жалостливое, протягивая высохшую руку.

Тони рассердился и принялся стыдить нищенку, причем вначале называл ее мамой, а затем начал ругать. Тут уж я ничего не понял, кроме какого-то особенного яростного «пер Бакко». Старуха заплакала и Тони размяк, от гнева его не осталось и следа; вздыхая, он полез в карман и подал ей свои кровные пятьдесят лир. Старуха мгновенно перестала плакать и погналась за другими туристами, которые шли к алтарю.

Выспавшийся Тони был неутомим. Он обещал показать мне местную знаменитую красавицу — «уна белла Филиола» и привез в музей; «белла Филиола» оказалась ста-

туей Афродиты, не уступающей по красоте Венере Милосской. Потом мы гуляли по набережной в том месте, где Артемида превратила грациозную лесную нимфу Аретузу в ручеек, чтобы спасти ее от преследования речного бога Алфеуса. В бассейне Аретузы с кристально чистой водой тихонько покачивались зеленые лотосы, завезенные сюда в незапамятные времена из Египта. Потом Тони привез на площадь Архимеда, погибшего в Сиракузах во время резни в пуническую войну, когда войска консула Марцелла ворвались в город.

— Синьор хочет видеть могилу Архимеда? — спросил Тони с гордостью собственника, которому ничего не жаль.

Конечно, я хотел видеть могилу Архимеда. Мы снова выехали за город и на каком-то повороте, в пустынном месте, он застопорил перед каменной часовней, каких много на старых итальянских кладбищах.

Никакой надписи на часовне не было. Тони смущенно признался, что достоверно никто не знает, был ли здесь похоронен Архимед? Дверь в часовню была открыта. Я заглянул внутрь и отшатнулся: весь пол был покрыт нечистотами. Очевидно, некоторые паломники пытались проверить здесь теорию Архимеда относительно тел, погруженных в жидкость.

Тони увидел мое изумленное лицо и, сделав патетический жест рукой, сказал по-латыни, показывая на пол:

— Сик транзит глориа мунди...

Через час я снова сидел в вагоне. Горячий воздух бил в окно и большое красное солнце медленно умирало над древними Сиракузами, оставшимися уже далеко позади. Какая-то необъяснимая печаль была разлита по пустынному побережью Атлантов, по всей этой навеки мертвой земле. И печаль постепенно охватывала и наполняла душу. Или то было уже прощание с Италией, предчувствие близкого и неизбежного с ней расставания?

Я закрыл глаза, вспомнил гондолу на темном венецианском канале, солнечный закат над Римом, торговцев цветами, расположившихся на ступеньках пьяцца Д'Эспанья, уличные фонтаны с хрустальной и холодной водой. Нет, все это нужно было увидеть и испытать еще раз в жизни!

И последнее, что я вспомнил, засыпая под стук колес, была фраза Гёте: «Кто хорошо видел Италию, тот никогда не будет совсем несчастным».

# ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПРОГУЛКИ

Был день Успения. С утра над красными черепичными крышами Венеции плыл благовест. Звонили со всех колоколен, настойчиво созывая верующих к ранней мессе.

В соборе святого Марка торжественно гремели органы и с хор неслись ангельские голоса, — мессу служил кардинал-патриарх Венеции. Но даже во время кардинальской службы туристы непрерывно двигались по собору. Входили толпами, покорно следовали за гидами, которые вполголоса повторяли давно заученный урок, одновременным движением поднимали головы к куполам, к каким-то византийским мозаикам, потом рассматривали мраморные статуи и колонны и шли дальше, все по расписанию: пять минут на византийское искусство, две минуты на мозаику равенских мастеров, десять минут на сокровища ризницы...

Что же делать в Венеции в праздничный день, если не хочешь одним ухом слушать кардинальскую мессу, а другим — объяснения гидов на всех языках мира?

Лучше всего выйти на залитую солнцем Пиацетту, по которой разгуливают голуби, клюющие кукурузу, спуститься с набережной Скавони и сесть на пароходик, неторопливо поднимающийся вдоль Канале Гранде. Можно выйти где угодно: на остановке возле Академии, где всегда тихо и пустынно, или у моста Риальто, торгового центра Венеции. Все тут перемешано, — и большие магазины ювелиров, и лотки уличных торговцев. Здесь цветочный, рыбный и фруктовый базар, здесь можно купить что угодно — от полосатого тельника гондольера до старинного фарфора и стекла Мурано... Но лучше всего перевалить через горбатый мост на другой берег и углубиться наугад в лабиринт улиц..

Хорошо бродить по Венеции, не имея определенного плана и маршрута. Вы всегда увидите вещи интересные, — узкие каналы, в которых с трудом разминутся две гон-



**Мост над малым каналом**

долы, старинные мраморные палаццо, ступени которых спускаются прямо в воду и заросли морской травой. Или выйдете вдруг на уютную площадь с фонтаном, с цветами на балконах, с лавками антикваров и, конечно, обязательной тратторией... Однажды, во время такой прогулки, забрел я в темную, грязноватую средневековую улочку, поперек которой на веревках было развешано белье, какое-то цветное тряпье. Улочка называлась «Каллэ Д-Аморо», т. е. Улица Любви. Сколько нужно иметь юмора, чтобы дать такое название этому страшному месту, и какая уж «аморе» может расцветать под сенью этого развешанного белья и застиранных пеленок!

Весь квартал был небогатый, — мясные лавки, кондитерские, в которых продают недорогие торты и пирожные, а дальше — горы сыров, мортаделлы, сырой пармской ветчины, макарон, всяческой итальянской снеди... Тут же был птичий магазин. Из полутемной лавки лилось райское пение птиц. Как могли они так петь без света и солнца? В дверях, на жердочке, сидел большой нахохлившийся попугай, — должно быть старик, перья его уже порядком выцвели. Он сердито лузгал семечки, посмотрел

на меня неподвижным глазом и хрипло закричал приветствие:

— Чао!

Я ответил ему таким же «чао». Он еще раз внимательно посмотрел и изо всех сил плюнул мне в лицо шелухой подсолнухов.

Во время другой прогулки по улицам старой Венеции я встретил человека, который играл на дудочке и вел на железной цепи несчастного, худого медвежонка с кольцом, продетым через нос. Рядом бежала вприпрыжку обезьянка, на которой было что-то вроде модного «бикини», — пестрая юбка, лифчик и шляпа со страусовым пером. Вожатый играл на дудке что-то очень протяжное и заунывное. Время от времени медведь поднимался на задние лапы и шел как-то боком, помахивая лапой. С ними была еще молодая женщина цыганского типа, — узкая талия, волосы, повязанные платком, и высокие каблучки. Она следила за поведением обезьянки и собирала милостыню. Давали им мало, какую-то мелочь. Кому нужна такая музыка и такой спектакль в век телевидения?

Неподалеку от моста св. Фомы набрел я на замечательный особняк 17 века, какой-то уж особенно ветхий и старенький даже для Венеции, где жизнь домов исчисляется всегда столетиями. На доме была памятная доска — здесь родился и жил драматург Гольдони. Не в соседней ли траттории познакомился он с лукавой хозяйкой гостиницы Мирандолиной и с ее расторопным Фабрицио? За железными воротами открывается дворик, мощеный красным кирпичом, а прямо со двора вела наверх наружная мраморная лестница. Было в этом дворе с его мраморными статуями и олеандрами и в этой искусственно приделанной лестнице что-то от театральных декораций. В «Каза Гольдони» теперь помещается Венецианский Институт Театра.

Однажды гондольер привез нас в очень отдаленный квартал, расположенный чуть ли не за городской чертой. Это — венецианское гетто, несколько убогих улиц, когда-то сплошь заселенных евреями, изгнанными из Ис-

пании. Так вот где жил Шейлок! Как далеки мы в этом нищем гетто от «венецианского купца», одалживающего 3000 дукатов, и от дурной, очень дурной шекспировской фантазии. Не знаю, сколько жило евреев в Венеции в 16 столетии, но сейчас еврейская община в городе насчитывает около 1000 человек, а в самом гетто живет не больше 20 бедных еврейских семейств.*

Сохранились в гетто три древние синагоги. Мы подошли к испано-португальской, и тотчас же появился служка, — молодой еврей с чахоточным лицом и печальными глазами. Он сказал нам «шалом» и потом быстро заговорил по-итальянски. Да, синагога древняя, святое место, но в гетто больше нет евреев, а в Венеции есть другие, новые синагоги. Говорят, в Америке теперь завелись синагоги, где евреи молятся без шапок? Служка сокрушенно вздохнул и повернул в замочной скважине громадный железный ключ. Дверь была старинная, дубовая, обитая железом и открывалась она с трудом. В синагоге теперь молятся только два раза в год, в Рош Гашона и в Судный День.

Служка роздал нам ермолки, и мы вошли внутрь. Как во всех венецианских храмах, здесь было много мрамора и мозаики, поражало обилие старинных медных люстр и лампад, свешивавшихся с потолка. Высоко под куполом был балкончик для женщин, — молятся они отдельно от мужчин.

На амвоне, за вышитым бархатным пологом хранились свитки Торы. Служка сказал, что в синагоге есть семь свитков Торы, вывезенных еще из Испании. Они писаны на коже и на толстом пергаменте, и такие же две Торы мы можем увидеть в соседней синагоге «ашкенази», за отсутствием молящихся превращенной теперь в музей.

Мы зашли в музей и видели эти Торы, над которыми уже давно не молятся венецианские евреи. В витринах лежали серебряные короны с колокольчиками, которыми украшают Торы и парчовые чехлы, шитые поблекшим золотом и серебром, — в них «одевают» свитки по

---

* Написано в 1960 году.

окончании чтения. Были здесь кованые семисвечники со львами и древние ковши для ритуального благословения вина... От всего этого веяло стариной и какой-то вековечной печалью.

Служка повел нас по улицам гетто. Бедность была повсюду, убоги были дома и их обитатели, на всем лежала печать запустения. На площади против дома еврейского Погребального Братства, играли черноглазые дети, они «хоронили» тощего, жалобно мяукавшего кота.

Служка проводил нас к гондоле, и мы дали ему на прощание немного денег. Он пожал нам руку, сказал «шалом» и ушел в улицу Старого Гетто, сутулясь и немного шаркая ногами.

В летние ночи двор во Дворце Дожей превращается в театр. Ставят «Отелло» Верди, поют лучшие итальянские оперные артисты, и человек, доставший билет на спектакль, чувствует себя счастливцем.

Итальянцы — великие мастера на устройство спектаклей под открытым небом. Можно ли забыть постановку «Джоконды» в термах Каракаллы, в Риме? В древнем римском амфитеатре Вероны ставят «Паяцы» и «Сельскую Честь», и каждый спектакль привлекает двадцать тысяч слушателей. А в Венеции, на постановку «Отелло» приезжают люди со всех концов Европы. Естественной декорацией служит Дворец Дожей с его двумя ярусами балконов и с изумительной Лестницей Гигантов, по которой спускались когда-то Дожи в дни расцвета Республики... По этой лестнице, при свете дымных факелов и под звуки фанфар сходит в первом акте победоносный Отелло. Его окружают венецианские граждане, солдаты, матросы галер,киприоты. С балконов первого яруса, украшенных коврами с изображением венецианского льва, трубачи играют Викторию. Массовые сцены удивительно ставил в римском театре Каракалла «маэстро» Санин.

Должен признаться: опера, поют замечательные артисты, но вначале пение как-то отходит на второй план. Главное — зрелище, и даже не «театральное действо», а декорация — единственные в мире стены Дворца Дожей и поднимающиеся за ними византийские купола Св. Мар-

ка, и каменные святые, по готическим башенкам восходящие к небесам. И над нами — венецианское небо, усеянное звездами, — такими крупными, какие бывают только на Юге.

Впрочем, я не прав. Для итальянцев, сидящих в глубине двора и на «галерке» это не зрелище, а в первую очередь пение, а в Италии пение принимают всерьез, и каждый артист знает, что поет он для знатоков и что публика может его боготворить, но не простит ни единого промаха... Мне рассказывали историю, за подлинность которой не ручаюсь, но уж действительно «си нон э вэро, э бен тровато». На одном из первых спектаклей артист, певший партию Кассио, фальшиво взял верхнюю ноту... В публике поднялся ропот. Через час вся Венеция знала о плохо взятой ноте. Об этом говорили, как о недопустимом скандале, — честь города была поругана. Что скажут об этом в Вероне, в Риме, в Милане?

Поздно ночью, по окончании спектакля, в тратторию, расположенную неподалеку от Пиацетты, вошел злополучный певец. Он был голоден, — оперные певцы редко едят до спектакля.

Все головы поднялись. Наступила зловещая тишина. Тенор как ни в чем не бывало подошел к свободному столику и взял в руки меню. Ни один камерьере не сдвинулся с места, чтобы принять заказ у обесчещенного певца.

Артист понял. И тогда к столу его подошел хозяин. Они знали друг друга давно, хозяин сам в молодости пел, не пропускал ни одного спектакля в театре Фениче и гордился тем, что маэстро Тосканини приходил к нему есть фетучини и подарил свою фотографию с автографом. И он сказал, что все слышали о несчастье, происшедшем на спектакле. Может быть, все это преувеличено? Акустика под открытым небом иногда бывает плохая, и эта ария, конечно, трудная, но это неправда, этого не могло быть?

Тенор встал и сделал знак рукой, но в зале и без этого стояла абсолютная тишина. И он запел свою арию, — без оркестра, без аккомпанемента:

— Мирааколо ваго...

Ближе, ближе... И вот он взял эту ноту, взял вели-

колепно, легко, полным и свободным голосом, и все, бывшие в ресторане, вскочили с мест, бросились к певцу и начали его обнимать и целовать... Честь Венеции была спасена, нота была взята безукоризненно!

Через минуту Кассио уже пировал в обществе своих друзей, ел и пил так, как может есть и пить счастливый тенор после блестяще проведенного спектакля.

Может быть, эта история выдумана. Но есть в ней что-то, что объясняет отношение итальянцев к пению.

В эту ночь итальянская, да и иностранная публика, бывшая на «Отелло», ликовала, — это был подлинный и большой праздник искусства. Перед началом последнего, четвертого акта свет выключили. Дирижер стоял за пультом, чего-то ожидая, и не давал вступления... Прошла минута. И вдруг на колокольне св. Марка, освещенной лучом прожектора, старый, немного надтреснутый колокол начал отбивать полночь. Зрители сидели зачарованные, считая медленные удары... И только когда колокол умолк, дирижер поднял свою палочку, оркестр заиграл, и обреченная Дездемона с канделябром в руке, бледная в неровном свете горящих свечей, начала спускаться по Лестнице Гигантов, навстречу своей трагической судьбе.

Позже мы ехали по ночной и спящей Лагуне в сторону Лидо. В воде отражался свет желтых фонарей, расставленных по Лагуне, чтобы указывать морякам путь и глубокую воду. За кормой нашей лодки пенилась волна... Мы выходили из Лагуны на простор Адриатики, и я вспомнил стихи Тютчева:

Дож Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей...

Это была наша последняя ночь в Венеции.

# В ГОРОДЕ РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ

От Венеции до Вероны поезд идет по расписанию меньше двух часов, но итальянские поезда с незапамятных времен славились своей способностью опаздывать. Поезд наш тронулся в путь минута в минуту, вышел из Венеции по узкой насыпи, сделанной для железнодорожного полотна посреди лагуны, дошел до первой станции и остановился. Прошло десять минут, двадцать, тридцать — поезд все еще стоял. Пассажиры начали высовываться из окон, спрашивать, что случилось, — встречный поезд шел из Рима и ему надо было дать дорогу. А день был жаркий, в раскаленных вагонах стало трудно дышать, — какой-то весельчак из соседнего купэ высказал предположение, что машинист попросту наелся поленты и пошел отдохнуть на часок... В общем, все приняли опоздание с благодушной покорностью судьбе, — когда-нибудь да приедем!

В первом классе было просторно, но вагоны второго класса напоминали один из кругов дантовского ада. Купэ были набиты до отказу, в коридоре люди стояли на чемоданах, на узлах, тесно прижавшись друг к другу, так что и шагу нельзя было ступить. Крепко пахло потом, давно не мытым человеческим телом. Приближался полдень, и во всех купэ закусывали, пили вино, резали чесночную колбасу, облупливали крутые яйца, угощали друг друга фруктами, а станционные торговцы с тележками все время протягивали в раскрытые окна вагонов мороженое, минеральную воду и картонные стаканчики с крепким черным кофе. Наконец, через час с четвертью, поезд нерешительно тронулся и постепенно начал набирать ход.

Замелькали аккуратно возделанные сады и виноградники, балконы домов, увитые цветами, с бесчисленными горшками герани, — в самом бедном итальянском жилище вы увидите эти окна и балконы, превращенные в миниатюрные, любовно созданные садики. Скоро, однако, пейзаж этот надоедает и можно раскрыть путеводитель. «Верона... На заре истории каролингские императоры... Пипин Короткий... память о Роземонде, которая подослала убийцу

своему мужу Альбоину I за то, что на пиру он заставил ее пить вино из черепа ее отца... В благодарность к убийце Розамонда отдалась ему» — почему Шекспир упустил такую тему, из которой могла бы выйти великолепная трагедия в четырех актах?

Нет, вот что-то более интересное: «Памятник Данте, на площади Синьоров, напоминает о том, что поэт, покинувший свою неблагодарную родину, нашел убежище в Вероне, при дворе Бартолонзо делла Скала. Поэт отблагодарил своего покровителя звучными стихами: Le sue magnificence conosciuite..

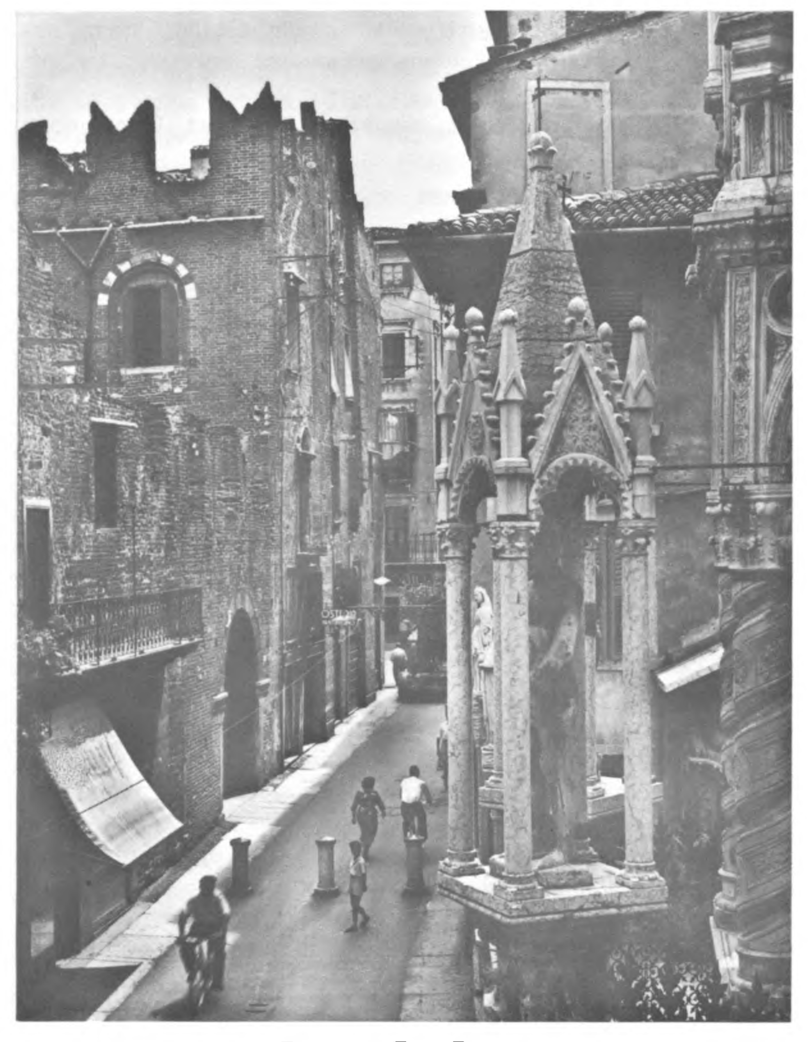
Его великолепие будут помнить...(до дня Страшного Суда)».

В Верону приехали в самые жаркие часы дня, когда весь город предается блаженной «сиесте». Все спит, даже такси на вокзале не оказалось. Но автобус в несколько минут довез нас до центра, к Пиацца Эрбе, где подходил к концу утренний базар. Что может быть приятнее прогулки по базару, под парусиновыми навесами, — на лотках навалены горы фруктов, лежит свежая рыба лагуны, высятся горы цветов, а рядом остро пахнущие сыры и прославленные итальянские окорока, мортаделлы, колбасы. И все это — необычайно дешево не только на доллары, но и на местные деньги. За гроши на базаре в Вероне можно купить кило самых вкусных, самых крупных персиков. При всем моем американском патриотизме должен склонить знамена к земле, — персиков такой величины и такого вкуса в Нью Йорке не найти. И где еще в мире посреди базара стоит изумительный фонтан 14 столетия со статуей Веронской Мадонны?

Много есть в Италии городов-музеев, с дворцами, старинными соборами, монументами, но нигде, кажется, кроме Флоренции и Вероны, весь этот декорум прошлого не сконцентрирован в одном месте так, как здесь — современность не врывается в прошлое, нет ни смешения стилей, ни смешения эпох. Римская арена, где теперь дают оперные спектакли перед тысячами зрителей, и та стоит как-то в стороне. А подлинная душа города, — в тени сторожевой башни, на площади Сеньоров или на

площади Торговцев, — да ведь Монтекки и Капулетти, из-за которых мы собственно и приехали в Верону, были богатыми купеческими семьями.

От площади Эрбе всего несколько шагов до дома Джульетты, Каза ди Джульетта. Надо войти во двор, вымощенный булыжником и выложенный по краям мраморными плитами. Фасад старинного особняка Капулетти



**Верона. Дом Ромео**

носит следы времени. Красный кирпич местами крошится, местами в стене сделаны каменные «заплаты». Но готические двери и окна прекрасны в своей простоте, и вот тот самый балкон, на который, если верить фантазии Шекспира, взбирался Ромео и где клялся он в любви Джульетте. На балконе по стене вьется зеленый плющ, и юные любовники до сих пор приходят сюда с томиками Шекспира, подумать о том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.

Где-то неподалеку должен быть и дом Ромео... но где? На заборе, около усыпальницы синьоров Вероны Скальери, сидело несколько парней, местных жителей, родившихся, вероятно, в этом квартале. Мы спросили у них, как пройти к «каза ди Ромео»?

Молодые люди переглянулись. Какого Ромео? Они никогда не слышали... Проходившая мимо старушка в черном остановилась и начала отчитывать молодых людей: быть веронцами и не знать, где каза Ромео! Оказалось, это рядом, на той же улице, — большой дом в три этажа из красного кирпича, рядом с торговцем вином. Мы постояли у ворот, осматривать здесь было нечего, дом порядком обветшал и в нем жили теперь люди, ничего общего с Монтекки не имевшие.

Целый день бродили мы по средневековым улочкам Вероны, входили в какие-то церкви, бесконечное число раз присаживались на террасах кафе и под вечер вышли на берег мутной и широкой реки Адидже. С каменнного моста открывался удивительный вид на город, а на противоположном берегу виднелись развалины римского амфитеатра и какие-то висячие сады с высокими и темными тополями, устремленными к небу... Нам оставалось совершить последнюю часть паломничества, воздать должное легенде и побывать в монастыре, где был совершен тайный брак Ромео и Джульетты, и где в подземелье показывают ее могилу... Монастырь где-то в стороне, почти за городом. Трудно найти место более поэтичное. Квадратный монастырский двор превращен в сад, здесь прохладно, много зелени и цветов и мраморный бюст Шекспира — неподалеку от часовни, где, говорит легенда, и состоялся обряд тайного венчания. А от часовни всего несколько шагов до могилы Джульетты. Нужно спуститься

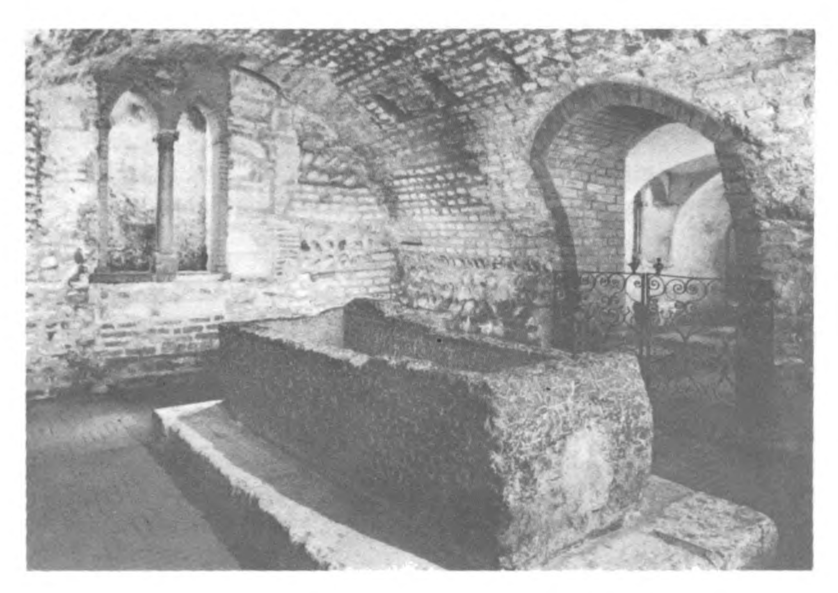


**Дом Джульетты. Балкон**

по истертым мраморным ступеням в подземную усыпальницу, сложенную из кирпича. Посреди, на возвышении из тяжелых каменных плит стоит раскрытый мраморный саркофаг, — такой древний, что, верно, существовал он

столетия до Шекспира и его Джульетты. От бесчисленного прикосновения рук паломников края мраморной гробницы отшлифованы, истерлись. Со сводов льется мягкий свет, освещает холодный и печальный мрамор, торжественную простоту этой усыпальницы...

О, юноша, ведь здесь лежит Джульетта,
И эти своды красота ее
В блестящий тронный зал преображает...



**Гробница Джульетты**

Нет, это не блестящий тронный зал. Но где я уже видел эту гробницу на мраморном возвышении, эти готические своды, уходящие куда-то каменные, бело-серые монастырские коридоры? Ну да, конечно, на сцене Большого театра, в балете «Ромео и Джульетта», — декорации последнего акта! С каким уважением к Вероне сделана вся постановка, — как удивительно почувствовал и передал художник дух этого города.

...Из золота ей статую воздвигну,
Пусть людям всем, пока стоит Верона,
Та статуя напоминает вновь,
Джульетты бедной верность и любовь!

Нет ни золотой статуи, ни блестящего тронного зала, — есть только пустой и страшный, неизвестно кому принадлежавший мраморный саркофаг, и есть бессмертная легенда о самой печальной повести на свете.

# ЧУДО СВ. АНТОНИЯ

В каждом католическом храме, у правого придела, можно видеть статую молодого францисканского монаха с Младенцем Христом на руках. Это — св. Антоний Падуанский, — покровитель бедных, страждущих, сирот. Есть в католической религии святые, особо чтимые, вызывающие постоянное преклонение верующих, бесчисленные паломничества, и есть святые, давно забытые народом. Св. Тереза и св. Антоний принадлежат к первой категории — к ним никогда не зарастает народная тропа... И вот мы теперь едем в Падую, — в древний город, где проповедовал, творил чудеса и окончил свою жизнь св. Антоний, в миру Фернанд де Буйон.

Но Падуя — не только город «иль Санто деи Мираколи». В Падуе существует один из древнейших университетов Европы, — медицинский его факультет был основан в 1222 году, то есть еще при жизни святого (1195—1231). С университета и начали мы осмотр города, в котором странно перемешиваются все стили, — в Падуе знаменитая ярмарка, множество торговых предприятий, и новые кварталы постепенно вытесняют старину меняют облик древнего города.

По случаю летних каникул (сейчас в Италии мертвый сезон, или как его тут называют «феррагоста»), университет закрыт, студенты разъехались, но привратник взял связку ключей и повел нас через двор с мраморными портиками, по монументальной лестнице в актовый зал, в профессорскую комнату и в обширные амфитеатры, — в университете около двадцати тысяч студентов. В одной из парадных комнат стены были увешаны портретами бывших воспитанников падуанского университета, впоследствии прославившихся. Здесь висел и портрет Петра Васильевича Постникова, учившегося в Падуе

в 1694 году, — верно, один из детей дворянских, которых Петр Великий отправлял учиться за границу. К стыду своему я не знал, чем впоследствии прославился Постников, а энциклопедического словаря в Венеции найти не удалось — все по той же причине — «феррагоста».

Университет славился своими учеными, — здесь преподавал математику Пьетро Альбано, и в одной из комнат показали нам грубо сколоченную кафедру, с которой 15 лет читал лекции по физике Галилей. По соседству — старейший в Европе амфитеатр медицинского факультета. Трупы поднимали из подвального помещения прямо в амфитеатр. У стола — единственное кресло для профессора, а студенты стояли на узких, спиральных балкончиках и смотрели, что делает профессор внизу с мертвецом. Медицинскую науку ученые уважали, и многие из них завещали свои бренные останки факультету. В комнате, где защищают диссертации, из стеклянного шкафа смотрят на соискателя ученой степени несколько оскалившихся черепов; под каждым из них — имя профессора, завещавшего свой череп факультету. Не знаю, как действует это на экзаменующихся, но на простых туристов шкаф с профессурой производит довольно мрачное впечатление.

Чтобы уйти из области чистой науки в область чистой веры, мы берем такси и едем в собор св. Антония.

В Падуе, собственно, не принято называть имя св. Антония. Есть только один святой — Санто — и среди множества местных церквей — только одна Базилика, которую начали строить в 1232 году, через год после смерти св. Антония. Ибо через год после смерти он был уже причислен к лику святых папой Григорием IX, —случай беспримерный в католической церкви, проявляющей обычно в вопросах «беатификации» большую медлительность и осторожность.

Перед порталом собора в полуденной жаре застыла бронзовая статуя Гаттамалаты, шедевра Донателло. Почему, собственно, статую отважного кондотьера венецианской республики поставили у входа в храм святого? Быть может, для замаливания многочисленных его грехов? У Гаттамалаты, во всяком случае, не вид кающегося греш-

ника... А вокруг всего собора расположились лотки торговцев иконками с изображением «Санто», серебряными «Экс-Вото», статуэтками и свечами, которыми запасаются паломники. Свечи есть на любой карман, и в 50 лир, и в тысячу, и в две... Но, переступив порог храма, сразу забываешь и об этой ярмарке, и о тратториях на площади, где паломники отдыхают, закусывают и выпивают... Сколько нужно было любви и труда, не говоря уже о средствах, чтобы создать подобное великолепие! Великие мастера Ренессанса украшали стены собора мозаикой, скульптурой, и из фантастического смешения романского, готического, византийского и даже арабского стилей возникло единственное по красоте и оригинальности произведение искусства.

В храме тихо, мягкий свет льется через витражи, и в этом дневном свете тускло горят свечи и лампады у алтаря в часовне святого. Бесшумно, в сандалиях на босу ногу и в бурых рясах, к алтарю проходят бородатые францисканские монахи — св. Антоний принадлежал к их ордену, это их святой и небесный покровитель. Они склоняют колено перед «томба бенедетта» и бескровные губы шепчут молитву святому.

А позади алтаря, в стене, плита из зеленого гранита, — часть усыпальницы, в которой покоятся останки св. Антония. И женщины в черных шалях, с платками на головах, прижав руки к этой плите, молят святого об исцелении, о чуде, — сколько людей приносят сюда, к этой могиле свое горе, свои слезы и молитвы... Тут же, в алтаре, хранятся бесчисленные доказательства: костыли, оставленные исцеленными паралитиками, фотографии каких-то девочек в платьях причастниц и фотографии более странные: автомобиль, разбившийся о телеграфный столб. Должно быть, владелец автомобиля приписал свое спасение особому покровительству св. Антония, ибо на фотографии он размашисто написал «Грациа, Санто!» и подписался. А многие просто оставляют здесь свои визитные карточки, серебряные сердца, обручальные кольца, серьги, часы-браслеты.

В глубине собора, за «высоким алтарем» помещается сокровищница, где собраны реликвии: камень, который подкладывал под голову святой вместо подушки, тернии

из венца Христова, частицы Древа Животворящего... Перед тем как перенести останки святого в новопостроенный собор, в апреле 1263 года, гроб его вскрыли. Тело превратилось в прах, и только язык, «который при жизни прославлял Господа Бога» остался нетленным. Он выставлен теперь в специальной раке из золота и хрусталя, с другими реликвиями. Язык, сохранившийся в течение 700 лет, это одно из многочисленных чудес св. Антония. Чудес он совершил много, и чтобы узнать о них подробно, на следующий день я отправился в муниципальную библиотеку в Венеции. Библиотека была закрыта, ее ремонтировали. Направили меня в другое книгохранилище, но здесь оказались лишь труды по истории искусства.

Остался испытанный способ: зайти в собор и поговорить с каким-нибудь священником, — итальянские священники народ приятный, разговорчивый и у каждого из них найдутся «Жития Святых»... В соборе св. Марка шла поздняя месса и, несмотря на службу, тысячи туристов бродили под его византийскими куполами, удивляясь мастерству зодчих и богатству равеннской мозаики. Есть ли священник, говорящий по-французски? Конечно, есть, — если мосье хочет исповедоваться... Я объяснил, что пришел не для исповеди, а для получения справки, и меня провели в ризницу, где десяток падре занимались своим делом: надевали облачение, готовились к службе или просто читали молитвенники... Священник, говоривший по-французски, оказался молодым и веселым, — должно быть, недавно вышел из семинарии. Он сказал, что «Дом Фернандо» (т. е. св. Антоний) пользуется его особой любовью, но что лучше всего зайти к специалисту — монсиньору Скарпи. И на мой вопросительный взгляд веселый падре сказал:

— Скарпи... Скарпи... как башмак!

Монсиньор с именем, столь неподходящим к его духовному званию, заведует в Курии отделом матримониальным. В передней ждали очереди несколько женщин, пришедших с жалобами, — матримониальные дела их находились явно в плачевном состоянии... Монсиньор принял меня так, словно он ждал этой встречи всю свою жизнь, — в наше время редко можно встретить писателя, интере-

сующегося жизнью святого. Писатели в наше время больше интересуются половыми проблемами. Пребывание в матримониальном отделе Курии явно кое-чему монсиньора научило, — в области этих проблем.

Через минуту он принес нужную книгу по-французски, усадил меня в своем кабинете, и я начал читать жизнь святого. А женщины поочередно входили в кабинет, чтобы рассказать о своем горе... Да ведь и у святого Антония были искушения, которые так сурово осуждал монсиньор. Одно из них, как повествовала одолженная мне книга, произошло, когда юному послушнику исполнилось всего 15 лет, причем искушение возникло в самом неподходящем для этого месте — в церкви «Нотр Дам де Пилар» в Лисабоне. Чтобы побороть сатану, пришедшего к нему в образе прелестной блудницы, святой начертал на мраморных плитах пола крест, и так сильна была его вера, что знак креста оказался вырезанным в мраморных плитах, словно они были из мягкого воска». В церкви «Нотр Дам де Пилар» место это теперь обнесено решеткой и, должно быть, сюда совершают паломничества люди, которым нужно бороться с искушениями плоти...

Вычитал я и о других чудесах, совершенных святым из Падуи: о муле, который преклонил колена перед Св. Дарами, о том, как в Римини рыбы высовывали головы из воды и «слушали с раскрытыми ртами проповедь святого»...

Позже, вспоминая о посещении Падуи, я думал, что подлинное чудо св. Антония заключается не в муле, преклонившем колена, и не в рыбах, слушавших проповеди, а в той глубокой народной вере, которую вызывает св. Антоний. Вера, которая движет горами, которая заставила 700 лет назад воздвигнуть бедному францисканскому монаху великолепный мавзолей из мрамора и порфира, и которая приводит паломников со всех концов света к «томба бенедетта» в Падуе. Это глубокая вера, не знающая вопросов и сомнений, — это и есть подлинное чудо св. Антония.

*1954 г.*

# ПОД НЕБОМ ИСПАНИИ

## МАДРИД СТАРЫЙ И НОВЫЙ

Достигли мы ворот Мадрита!
*«Каменный Гость». Пушкин*

Каравелла летела над Пиренеями. Французские зеленые луга, виноградники и сады остались позади. Внизу — голые гребни гор, суровый, дикий пейзаж. Когда-то путешествие в Испанию было связано с почти непреодолимыми препятствиями; теперь полет в Мадрид из любой части Европы продолжается два-три часа и с поднебесной высоты Пиренеи кажутся рельефной картой. Начинается плоскогорье Старой Кастилии, безводное, каменистое, летом сожженное солнцем, зимой продуваемое ледяными ветрами Гвадарамы. Испокон веков человеческая рука не прикасалась к этой буро-красной земле. Только ближе к Мадриду появляются признаки жизни, распаханные поля, редкие деревушки вдоль берегов мелководного Манзанареса.

И внезапно в центре этой обездоленной пустыни возникает Мадрид с его двухмиллионным населением. Быть может, это единственный в Испании город, в котором старина причудливо сочетается с модернизмом. Кто-то сказал, что у Мадрида внешность современной столицы и душа XVII столетия. Трудно найти более удачное определение.

До 1936 года в Мадриде было не больше полумиллиона жителей. Столица Испании разрасталась очень медленно и по существу мало чем отличалась от Мадрида, каким он был сто или двести лет тому назад. Когда на коронацию Альфонса XIII съехалось много иностранных

делегаций и журналистов, их пришлось разместить по частным домам — в столице не было даже приличных отелей! С началом гражданской войны Мадрид оказался на линии огня, и в течение двух лет целые кварталы были уничтожены артиллерийским обстрелом и бомбардировками. Франко вступил в Мадрид со своими войсками 28 марта 1939 года. Город лежал в развалинах.

Тщетно искать сегодня в столице следов гражданской войны. Только на очень старых, уцелевших зданиях можно еще обнаружить раны, нанесенные осколками снарядов. Ни один город Испании не был восстановлен с такой быстротой. Население его за двадцать пять лет увеличилось в четыре раза. Появились небоскребы американского типа, роскошные отели, целые кварталы новых домов.

Помните, что происходило во время войны в «Университетском городке»? Здесь борьба шла за каждую пядь земли, за каждую груду кирпичей. А теперь на этом месте, обильно политом кровью, вырос новый университет, с новыми зданиями, и вокруг насажен молодой парк. Все проходит, все забывается. Для нынешних студентов Мадридского университета события 1939 года — это уже история.

А что же думает и чувствует старшее поколение? Мне трудно ответить на этот вопрос. С испанцами о политике я не беседовал прежде всего по причине незнания языка. Я видел страну мирную, где люди трудятся, получают за свой труд гроши, но как-то еще умеют наслаждаться жизнью или тем немногим, что жизнь может им дать. Я видел много богатства и еще больше бедности. Меня заверили, что контрасты эти раньше были куда более резкими. Нет никакого сомнения, что нищета порождает недовольство. Но когда же Испания была счастливой и не знала нищеты?

В этих очерках очень мало политики. Это впечатления человека, впервые попавшего в Испанию и сразу влюбившегося в нее.

Гран Виа, переименованная в улицу Хозе Антонио (в честь основателя Фаланги, расстрелянного сына Примо де Ривера), одна из главных торговых артерий города.

Магазины здесь по роскоши и изысканности товаров ни в чем не уступают Пятому Авеню. С одним только преимуществом: вдоль широких тротуаров тянутся террасы кафе, где с утра до поздней ночи сидят мадридцы, утоляющие жажду. Испанцы никуда не торопятся и торопить их нельзя. Они всегда опаздывают. Недаром философ сказал: «Раз мне суждено умереть, я хотел бы, чтобы смерть пришла ко мне в Мадриде».

Мадридцы, конечно, работают, но с беспечным видом бездельников, и у них всегда найдется время, чтобы посидеть часок-другой в кафе, выпить стакан ледяной молочной хорчаты или пива. Терраса кафе это некое подобие театра: мадридская жизнь медленно и не торопясь проходит мимо.

Не успел я сесть за столик и заказать «уна соло», чашечку черного кофе, как появился чистильщик сапог, придавший моим туфлям невиданный блеск. После чистильщика подошел старичок с деревянным ящиком на груди. Он торговал папиросами «оптом и в розницу». Кажется, больше в розницу: я видел элегантно одетых мужчин, покупавших одну-две папиросы из открытой пачки. Появился слепой торговец лотерейными билетами. Уверяют, что некоторые слепые приносят свои билеты в церковь, чтобы их окропили святой водой. Такие «благословленные» билеты имеют все шансы выиграть.

Смуглый цыганенок прогуливался между столиками, соблазняя вафлями. В одной руке он держал поднос с вафлями, в другой зажимал несколько медяков, всю свою дневную выручку. Нигде не видел я такого количества уличных продавцов, как в Испании. Особенно хороши они на юге, в городах Андалузии, где в узких улицах все время слышишь пение торговцев глиняной посудой, сластями, рыбой, фруктами:

— Фрууута! Фрута! — заливается один.

— Сардина фреска... Лангоста, — вопит страшная, усатая старуха.

Витрины магазинов на Хозе Антонио полны красивыми вещами, но мне показалось, что пресловутая испанская дешевизна, о которой говорили еще в Америке, сильно преувеличена. Хорошие вещи — дорогие, дрянные — дешевы... Если свернуть с главной артерии в боковые улицы,



**Торговец сигарами в Мадриде**

цены сразу снижаются. Приятным сюрпризом оказались книжные магазины — много переводов французских и американских писателей. На книгу больший спрос, чем на периодическую печать. Газет и журналов мало и по сравнению с французскими или итальянскими изданиями они имеют какой-то очень уж захудалый вид. Можно допустить, что испанцы приняли режим Франко и по-своему им довольны. Но франкистских газет они не читают.

В третьем часу дня, когда солнце начало сильно припекать, я отправился завтракать в ресторан, по заранее припасенному адресу. Ресторан был расположен в старом квартале Мадрида, в одной из средневековых улочек, в которых «запрещено солнце и автомобили» — просто по причине необычайной их узости. Хозяин встретил меня, как старого друга, и посоветовал спуститься в подвальное помещение — там будет прохладнее. Толстые стены, выбеленные известью, не пропускают жары и уличного шума. Средневековье и... аппараты «Эйр кондишон».

Здесь не едят, а священнодействуют. Тщательно составляют меню, подбирают к нему соответствующее вино. Все это не торопясь: на завтрак полагается не меньше двух часов...

В первый день я соблазнился и заказал испанское блюдо «пуэлла а ля Валенсиен». Был у меня при этом вид человека, бросающегося в жаркий день в ледяную воду. Метрдотель выбор одобрил, и когда я расправился с пахучей андалузской дыней, принес громадную медную сковороду, в которой был запечен желтый рис в оливковом масле, какие-то загадочные ракушки, куски раков, рыба и... мясо, цыпленок — все вместе, приправленное красным сладким перцем. Пуэлла оказалась замечательно вкусной и, к моему изумлению, самоубийца выжил и даже заказал какой-то особенный торт со сливками и допил бутылку арагонского Вальдепанаса. В Мадриде, действительно, оказался сухой горный воздух, вызывающий неутолимую жажду.

После подвала и Вальдепанаса снаружи показалось невыносимо жарко. К этому времени все магазины на Хозе Антонио были уже закрыты, кафе опустели — наступил

священный час сиесты. На улицах не было ни души. Даже автобусы куда-то исчезли и шоферы такси мирно спали на стоянках. Сиеста в Испании не только нормальное, но и совершенно необходимое явление, и иностранец очень быстро усваивает эту блаженную привычку. Завтракают здесь в три часа дня, обедают очень поздно, часов в одиннадцать, и по-настоящему люди живут главным образом ночью, когда спадает дневная жара и все высыпают на улицы. Редко кто идет спать раньше двух часов. А между тем, жизнь начинается в Мадриде рано, в восемь-девять утра все уже на работе. Потерянные часы сна мадридцы наверстывают во время дневной сиесты, когда город совершенно замирает.

Только часов в пять улицы снова оживают. В кафе и в кондитерских появляются нарядные дамы. Завязываются знакомства, идут разговоры, с треском открываются и закрываются веера. Грация, с которой испанка играет веером, поразительна. Веером здороваются, приветствуют издали знакомых, делают знаки — веер говорит, выражает любые чувства женщины, отлично передает ее настроения.

С каждым часом толпа становится все гуще и оживленнее... На столиках уже стоят тонкие бокалы с хересом. В барах попроще, в боковых улицах, люди теснятся у стойки, пьют красное и белое вино, закусывают большими розовыми креветками — гамбас, сухой колбасой с красным перцем, фасолью в уксусе, жареной рыбешкой. Мадридцы постоянно что-то едят. В барах и в закусочных киосках в парках разложена по стойке нарезанная сырая ветчина, куски сыра, сардины. На перекрестках мороженщики надрываются:

— Хэладо, хэладо! Ванила, чоколате, карамело!

Так проходят часы в каком-то бессознательном, ленивом блаженстве бытия. Солнце село, наступили прозрачные сиреневые сумерки. С близких гор Гвадарамы уже тянет вечерней прохладой. Город ярко освещен, загораются тысячи неоновых вывесок. Начинается пасео, т. е. променад, когда семейные люди идут в кафе или глазеют на витрины магазинов, а молодежь, держась за руки, бродит по темным аллеям парка Эль Ретиро.

Множество молодых черноглазых красивых девушек. Но с наступлением ночи сеньорита одна на улицу не выйдет —

ее будет сопровождать подруга или новио, т. е. жених, постоянный кавалер. Дуэньи в Испании больше не существуют, но а каком-то измененном виде обычай этот сохранился. Не помню уже где, в отеле Кордовы или Севильи, я позвонил и попросил прислать в комнату бутылку минеральной воды. Несколько минут спустя явились две горничные. Молодая и очень миловидная несла поднос с бутылкой и стаканом. За спиной ее стояла старуха, приставленная, так сказать, для наблюдения за добрыми нравами. Я не сразу понял, в чем дело, но на следующее утро, когда мне принесли в комнату завтрак, сцена эта повторилась — дуэнья тоже пришла и тоже получила на чай.

Весь вечер под акациями на бульваре Кастеллан бродят жгучие брюнеты с тонкими талиями матадоров, ищут знакомств и говорят на ходу цветистые комплименты:

— Счастлив тот, кому ты подаришь улыбку...

— Если ты войдешь в океан, вода вокруг тебя закипит...

И я видел на ночной мадридской улице, как группа молодых людей расступилась перед девушкой и как один из них с почтительным восхищением крикнул ей вслед:

— Кэ салаа...

То есть: какая соленая! Это — самый большой комплимент, который можно сделать красоте и грации сеньориты.

Так ли уж они грациозны и красивы? Мы все представляем себе испанку такой, как рисуют ее на туристических плакатах: севильскую красавицу с осиной талией, высокой прической, с розой в черных волосах и даже с неизбежными кастаньетами. Увы, причесываются теперь испанки так, как принято в Париже или в Голливуде. Во всяком случае высокие гребни, розы и красные гвоздики сохранились только у гитан, выступающих в ночных кабаре. Очень молоденькие девушки в Мадриде хороши — так, как могут быть во всем свете хороши восемнадцатилетние девушки. Но стоит красавице из сеньориты превратиться в сеньору, как она вдруг теряет свежесть и прелесть молодости, тяжелеет в бедрах, полнеет в талии, и легенда об испанской красавице блекнет.

Это, вероятно, единственная страна в Европе, кроме Англии, где хорошим манерам и приличной одежде еще

придается большое значение. В первый вечер я не мог понять, почему в такой бедной стране все на улице отлично одеты. Люди, знакомые с испанским бытом и нравами, мне объяснили, что испанец будет экономить месяц на еде, чтобы купить элегантный костюм. Лакированные туфельки на крошечных ногах сеньориты добыты ею путем больших лишений. После ньюйоркской распущенности в одежде поразило, что за время пребывания в Испании я не встретил ни одной женщины в брюках или, упаси Господи, в шортах. Это просто немыслимо — женщина должна быть одета, как подобает сеньоре, прилично и элегантно.

Вопросы чести и любви больше не разрешаются в Испании дуэлями на шпагах или ударом навахи, но с этими вопросами и сегодня не шутят. Люди необычайно чувствительные, до крайности самолюбивые, испанцы вместе с тем доброжелательны, быстро сближаются, с радостью готовы помочь, чем могут.

Даже во время короткого пребывания в Испании иностранец чувствует доброе к себе отношение местных людей. Они горды, но не высокомерны; готовы служить, сохраняя при этом чувство большого и природного достоинства. Мне приходилось несколько раз просить о мелких услугах, и я чувствовал, что от меня не ждали никакой специальной благодарности, кроме обычного «муи грасиас».

Этот первый вечер в Мадриде я провел в старом городе, в лабиринте узких улочек вокруг Плаза Майор. Замечательная площадь! Не такая она старая по испанским понятиям — есть здесь города, считающие свою историю тысячелетиями, — площадь была построена в 1619 году, окружена со всех сторон колоннадой, и за три века своего существования совсем не изменилась. Изменились только люди и нравы. Когда-то с балконов этих домов короли и двор смотрели на бои быков и на турниры, происходившие внизу, на площади. Здесь же на кострах Инквизиции сжигали еретиков. В последний раз экзекуция на Плаза Майор была в 1680 году. Но в Севилье обычай сохранился дольше — последнюю колдунью там сожгли ровно сто лет спустя, всего за девять лет до Великой Французской Революции. Теперь вместо дымных аутодафе посреди площади горят старинные газовые канделябры. В центре




**Плаза Майор**

города улицы освещены неоном и электричеством, но в старом квартале чудесно горят газовые рожки и под вечер человек идет от фонаря к фонарю и зажигает их своей длинной палкой.

От Плаза Майор прошел я под аркой куда-то вниз, по лестнице, свернул в улочку — такую узкую, что балконы верхних этажей почти соприкасались, повернул налево, направо, и скоро потерялся. Торопиться было некуда, всюду сновали люди, пасео было в полном разгаре.

В барах нельзя было протиснуться к стойке. Остро пахло оливковым маслом. В окнах трактиров для приманки посетителей висели окорока, связки чеснока и красного лука. Я видел детей, которые стояли в барах рядом с родителями и тоже что-то закусывали и пили красное вино... Другие дети играли в ловитки на площади, посреди пыльных акаций. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, хотя был второй час ночи. Матери сидели на скамьях, наслаждаясь прохладой. Именно на этой площади подошла ко мне молодая цыганка с младенцем на руках. Она быстро и певуче заговорила, протягивая руку. Я понял только, что она просила милостыню «Пор Кристо крюсификадо» — во имя Христа Распятого. Получив несколько пезет, она продолжала идти за мной, и теперь уже предлагала погадать, и все быстро и скороговоркой говорила о какой-то сеньоре, которая, должно быть, сохнет от любви ко мне; мне почему-то показалось, что цыганка явно не имела в виду сеньору Седых.

В два часа утра я вышел на Пуэрта дель Соль, где нашел такси. Было немного стыдно ехать домой так рано. Город жил полной жизнью, мадридцы «убивали ночь». По дороге попался мне странный человек: с палкой, в адмиральской фуражке, в кожаном переднике, обвешанном тяжелыми ключами.

В конце улицы кто-то стоял перед запертыми воротами, нетерпеливо хлопал в ладоши и кричал во весь голос:

— Серено! Серено!

Человек в адмиральской фуражке и был этот серено, ночной сторож, отпирающий двери и ворота запоздалым гулякам. У жильцов старых домов ключей нет, да и как возьмешь с собой на прогулку ключ весом в два-

три фунта? Позже, каждую ночь, во всех городах, видел я этих людей, обвешанных ключами, — что-то очень далекое, дошедшее до нас из глухой испанской старины.

# ПРОГУЛКИ ПО МАДРИДУ

Art is long and time is fleeting.
*"A Psalm of Life". Longfellow*

С утра к музею Прадо направляются караваны автокаров с туристами. У входа их сортируют по национальностям. Отдельными группами идут испанцы, итальянцы, французы, немцы, американцы. Гиды на всех языках дают объяснения:

— The Spanish Art...

— L'Art Espagnol...

— L'Arte Spagniola...

— Die Spanische Kunst...

Американский гид оглядывает своих немного растерянных питомцев и хладнокровно сообщает:

— Пожалуйста, не задерживайтесь у картин и не отставайте. Помните: у нас ровно один час двадцать минут на осмотр Прадо.

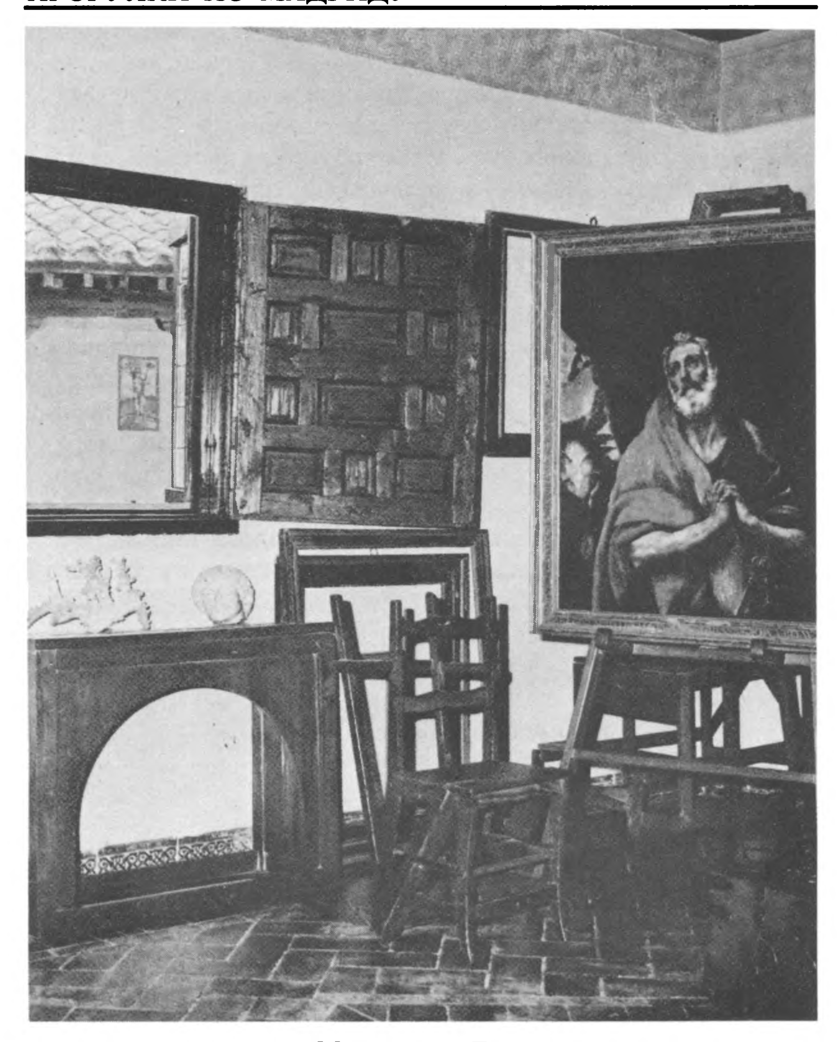
Один час двадцать минут на Прадо, который можно изучать годами! Туристы отважно устремляются вперед. Мимо пролетают полотна Веласкеса, Гойи, Мурильо, Зурбарана, Рибера — бесчисленные распятия, снятия с креста, мученичества святых, Мадонны с лицами андалузских красавиц... Минутная остановка перед полотнами Греко, с его стилизованно удлиненными фигурами святых. Почему Греко всегда удлинял свои модели? Стремление ввысь, отрыв от всего земного или, как предполагают некоторые критики, попросту зрительный дефект художника, астигматизм?

Греко родился на Крите, звали его Доменико Теотокопули. Кто помнит настоящее имя Эль Греко, ставшего самым национальным из всех испанских художников? Есть в его полотнах какая-то мистическая взволнованность. Шестнадцатый век, Ренессанс, но в полотнах Греко заложено уже все, что триста лет спустя нашли импрессионисты,

а его секрету ярких синих, желтых и серых тонов мог бы позавидовать любой художник-модернист. Он открывает дорогу Сезанну и Ван Гогу. Сегодня техника и краски Греко потрясают, но больше не удивляют и не могут вызвать протеста. Какое это было откровение для его времени, каким революционером и безумцем казался он людям Возрождения, воспитанным на классической красоте и гармонии Микеланджело, Рубенса или Тициана!

Душа Греко уходила в небеса. Его современник Веласкес твердо стоял ногами на земле и отлично уживался при дворе Филиппа IV, — король был таким великим любителем живописи, что не останавливался даже перед кражей картины, если она ему нравилась. Веласкес имел свои апартаменты и мастерскую при дворце и его третировали, как всех куртизанов, осыпали милостями и золотом, но при случае могли напомнить, что художник все же принадлежит к дворцовой челяди. Правда ли, что Веласкес поставлял своему коронованному покровителю красавиц в его павильон в Буон Ретиро? Когда Греко умер, Веласкесу было всего шестнадцать лет и он учился в севильской мастерской художника Пачеко. Позже Пачеко женил талантливого ученика на своей дочери. В это время в Севилье учился другой шестнадцатилетний юноша, сын простого крестьянина, кампесино Зурбаран, который всю жизнь будет писать инквизиторов, аскетических монахов и святых с пергаментными лицами. Зурбаран продолжал творчество Греко и Рибера, художника испанской инквизиции, мастерство которого ужасает своей холодной и жестокой реальностью. Веласкес не увлекался религиозными сюжетами. Он принес в испанскую живопись какой-то особенный реализм и «чувство спектакля». Чего стоят в Прадо его «Ткачихи» или «Трактирные и кухонные сцены»! У Веласкеса кисть твердая, рисунок точный. Его Филипп IV в охотничьем костюме или Дон Хуан астурийский не столько портреты, сколько исторические картины. Он был придворным живописцем, писал королей, но охотно брал моделями карликов и шутов — здесь маршалу двора незачем было льстить и проявлять дипломатию, он мог показать человеческую сущность, скрывавшуюся за уродливой внешностью модели.

В истории народов случаются чудесные эпохи. Пушкин,



**Мастерская Греко**

Лермонтов, Гоголь были подарены России одновременно. Возьмите начало семнадцатого века в Испании, период расцвета живописи и литературы. Греко, Рибера, Зурбаран жили в одно и то же время. В 1618 году умер Сервантес, а два года спустя в севильской церкви крестили малютку Мурильо. Никогда больше в испанской истории не повторится

этот «Золотой век», как в России не повторятся одновременно Пушкин, Лермонтов и Гоголь... Не только в Прадо, но в любом большом музее или соборе Испании висят полотна Мурильо, этого сладчайшего художника, любимого живописца мягких и чувствительных душ. Мурильо любил рисовать детей севильской улицы — нищих, в лохмотьях, голодных — таких, каким он был сам в детстве, когда бродил по набережным Гвадалквивира, прося милостыню и подбирая арбузные корки. Еще будучи ребенком он нашел источник для пропитания: на дощечках рисовал Богородицу Гваделупы и продавал иконки матросам, уходившим в плавание... Его Мадонны слишком красивы, его изображения Христа чрезмерно женственны. И все же с полотен Мурильо льется какой-то нездешний свет и особая чистота — никто не умел так поразительно изображать небесные видения, может быть, потому, что он был глубоко верующим человеком, и вера его доходила до галлюцинаций — ему казалось иногда, что он беседует с Богородицей и ангелы дописывают за него полотна. Однажды в Севилье Мурильо застыл в церкви перед «Снятием с креста» Пьера де Шампаня... Час был поздний. Привратник хотел закрыть церковь и дотронулся до его плеча.

— Сеньор, я иду запирать двери. Пора.

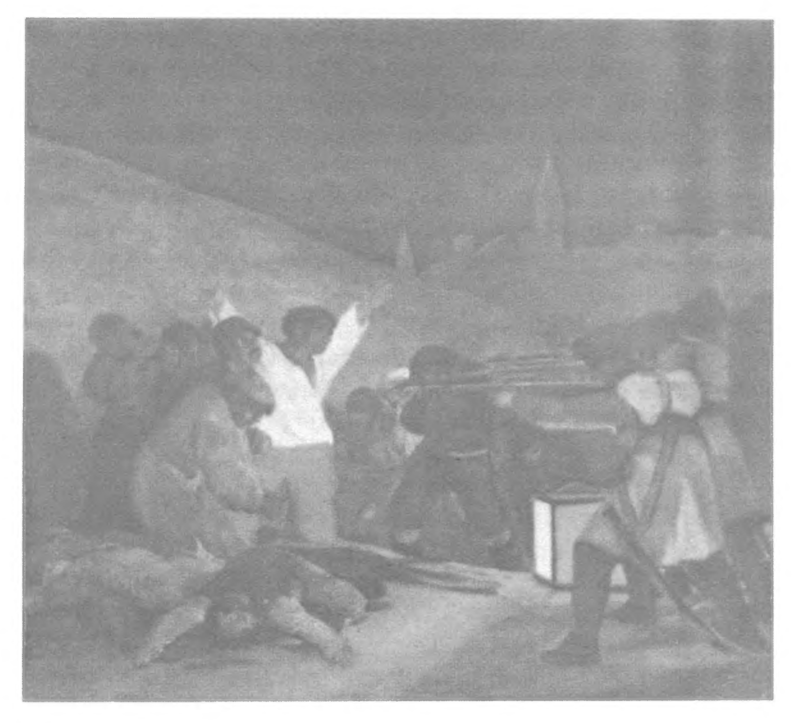
— Оставьте меня. Я хочу дождаться, когда Святое Семейство снимет тело Спасителя.

— Леди и джентльмены, — возвращает нас к действительности гид, — прошел уже час, а мы еще не видели залы Гойи.

Неужели прошел целый час? Да, чувствуется усталость, уже меньше реагируют посетители на единственные в мире шедевры, собранные в Прадо... Ах, вот они, два знаменитых портрета одетой и раздетой Махи, «Маха вестида» и «Маха денуда»! Перед ними теснится такая же толпа, как перед Джиокондой в Лувре. Когда-то считали, что безумец Гойя уговорил позировать для этих двух полотен свою возлюбленную, герцогиню Альба. Нет, позировала не герцогиня, но Гойя мог это сделать — такая вещь была вполне в характере этого человека. Он подбирал на улицах Севильи красивых гитан, приводил их в студию

и писал с них лики святых. Гойя был последней вспышкой кастильского гения, последним большим испанским художником восемнадцатого века. После его смерти прошло сто лет, прежде чем в мире появился следующий гениальный испанец — Пикассо.

Вся жизнь и все творчество Гойи были построены на контрастах. Он родился в бедной, почти нищей семье, а потом в жизни сорил, не считая, шальными деньгами. Порочная королевская чета — Карл IV и Мария Луиза Пармская осыпали его почестями и забрасывали заказами; он написал несколько их портретов, которые можно считать жестокой карикатурой, если бы карикатурность не была вообще чужда художнику. Один из этих портретов висит в Прадо. Гойя ужасающе правдиво изобразил физическое и духовное уродство королевской семьи. Сколько самодовольства, надменности и заносчивости на лицах



**Гойя. «3 мая 1808 г. в Мадриде» (Прадо)**

Карла IV и Марии Луизы! Нужно подняться этажом выше, чтобы увидеть «Ужасы войны» — картину расстрела французскими войсками мадридцев 3 мая 1808 года, — производящую впечатление страшной галлюцинации. Недаром Теофиль Готье говорил, что одна картина Гойи дает для понимания Испании больше, чем целая книга.

С 1792 года, когда Гойя оглох, живопись его стала носить совсем иной характер. От «иллюстратора» бытовых сцен в гладком французском стиле он вдруг перешел к страшным маскам-лицам, к уродливым сторонам человеческой натуры. Ему и раньше была чужда всякая слащавость. Теперь от его полотен повеяло жестокой суровостью правды. Гойя выражал в своих вещах только то, что тревожило его ум и беспокойную душу — зверства войны, безжалостную тупость тауромахии, «Капризы» и «Сны», преисполненные уродливой, мрачной и дикой фантазии. В конце жизни он не мог выдержать морального гнета, царившего в Испании, эмигрировал в Бордо и там умер в 1828 году.

Много лет спустя было решено перевезти останки великого художника на родину. Когда открыли могилу, обнаружилось, что голова Гойи пропала. Кто-то ее похитил. Обезглавленный скелет привезли в Мадрид и похоронили в церкви, где Гойя когда-то сделал под куполом роспись — чудо св. Антония.

В послеполуденные часы я сел в такси и попросил отвезти меня в «Пантеон Гойи», так называется церковь св. Антония. Шофер не знал, куда ехать. В путеводителе моем оказался точный адрес, и церковь мы все-таки нашли. Двери были заперты. Должно быть, час сиесты еще не кончился. Я постучал раз, другой. Наконец появился сонный и недовольный привратник и спросил:

— Que quiera usted? Senor Estranjero?

Да, я был эстранхеро, иностранец, но десять песет произвели магическое действие: двери тотчас же открылись.

В церкви, построенной в стиле барокко, было светло. С купола лился яркий солнечный свет. Привратник указал рукой на простую плиту у алтаря, на которой было выгравировано имя Гойи.

Под этой плитой покоились обезглавленные останки великого художника.

Я вышел из церкви, позади которой была какая-то

зелень — остатки того самого парка, в котором 3 мая 1808 года французы расстреливали испанских патриотов. Гойя жил рядом, в этом же квартале. Он видел расстрелы, и под свежим впечатлением написал полотно, висящее теперь в Прадо. Оно написано «сплеча», широкими мазками, и оно очень страшное. У Гойи была чисто испанская жестокость и беспощадность.

— Пишите, — говорил он молодым художникам, — чтобы люди плакали, каялись и узнавали Бога! Чтобы сильные делались кроткими, а слабые — сильными.

На полотне «Третье мая» сильные — это те, кого расстреливают, а слабые — солдаты маршала Мюрата.

Когда-то королевский дворец, построенный после пожара мадридского Альказара в 1734 году, был за городской чертой. Здесь уже начинались леса, а вдали на горизонте виднелась цепь розовых гор Гвадарамы, кажущихся миражем в прозрачном воздухе летнего дня.

Теперь Мадрид разросся и приблизился к королевскому дворцу, построенному с размахом, по-версальски. Для росписи плафона в тронном зале выписали Тьеполо. Украшали два столетия — всюду гобелены, тяжелые шелка, шитые золотом, портреты королей и инфантов. Дворец пустует со дня отречения Альфонса XIII, но Франко изредка принимает здесь верительные грамоты иностранных послов со всей помпой старой монархии... Впрочем, когда в Испании будет восстановлен монархический режим, а вопрос этот считается предрешенным, дворец снова заживет своей привычной жизнью. Пока что его показывают посетителям дворцовые лакеи в старых, потертых фраках с золотыми галунами.

Туристы идут из зала в зал, любуясь портретами кисти Гойи, Рибера и Веласкеса. Задерживаются перед монументальными королевскими кроватями с пыльными парчовыми балдахинами, безвкусными подарками, которыми обменивались когда-то королевские дворы, хрусталем и севрским фарфором... Старички лакеи печально следуют за посетителями и выключают электричество, чтобы люстры зря не горели.

Мы миновали красный тронный зал, в котором один

раз в год, после возвращения из летней резиденции в Сан Себастьяно, Франко принимает правительство и дипломатический корпус, салон послов, потом зал, в котором бьют и играют на все лады сотни редчайших часов со сложными механизмами, какие-то спальни. Нам показали восемьдесят комнат, а во дворце их две тысячи! Недаром Наполеон, посетивший дворец во время короткого и неудачного пребывания на испанском троне Жозефа Бонапарта, сказал своему младшему брату:

— Ты здесь лучше устроился, нежели я в Тюильери!

Все во дворце поддерживается в порядке, но на всем лежит какой-то неуловимый отпечаток запущенности.

— Вот салон, в котором Альфонс XIII и его семья провели последний день перед отречением в апреле 1931 года, — сообщает гид.

Гид молодой, для него это уже история... А я помню день, когда отрекшийся Альфонс XIII приехал в Париж. На Лионском вокзале, к прибытию мадридского экспресса собралась целая армия журналистов и фотографов. Альфонс XIII вышел из вагона-салона. Он был в котелке, старался улыбаться, но меня поразило, что нижняя его бурбонская губа как-то особенно отвисла и лицо носило следы бессонницы... Как все это теперь далеко! Альфонс XIII умер в изгнании и похоронен в Риме. А в Эскуриале, в усыпальнице испанских королей, показывают посетителям пустой мраморный саркофаг, в котором Альфонс XIII будет погребен после восстановления в Испании монархии.*

Наподалеку от Прадо расположен лучший мадридский парк Эль Ретиро. Множество цветов, фонтанов, широкие аллеи, уходящие к живописному озеру... Некоторые аллеи усажены акациями, чудесными деревьями, которые напоминают наш Юг. Акации в Испании повсюду, особенно много их в Андалузии. Вдруг вспомнил я фразу из романа «Пятеро» Вл. Жаботинского: «А акация пахнет, как скаженная!»

Слово-то какое — «скаженная»! Я не слышал его десятки

* В начале 1980 г., по приказу короля Хуана Карлоса I Бурбонского, останки Альфонса XIII были торжественно перенесены в Эскуриал в усыпальницу королей.

лет. Может быть, и в России его теперь больше не знают. Акация пахнет, «как скаженная», только весной, во время цветения, а в августе, когда я был в Мадриде, не было уже ни цвета, ни запаха, только замечательная зелень. Можно взять, как когда-то, веточку акации и осторожно начать обрывать листочки: любит, не любит, поцелует, плюнет, к сердцу прижмет... Нет, лучше не рисковать в этом возрасте!.. В парке увидел я другое дерево с «рожками» или «стручками», дерево моего детства. Не знаю, как оно называется. С ветвей свисают зеленые рожки. К осени они высыхают, становятся коричневыми, и если потрясти, внутри стучат зерна, похожие на кофейные...

Долго ходил я по мадридскому парку и удивлялся неслыханному количеству памятников. Испанцы — великие любители монументов и воздвигают их всем: генералам, писателям, художникам, латинским странам, благодетелям, монахам, мореплавателям. Увы, памятники все бездарные, громоздкие, претенциозные, с аллегорическими фигурами в стиле эпохи королевы Виктории. К слову сказать, разочаровал меня и самый знаменитый мадридский фонтан Сибель, с его коротколапыми каменными львами. Так я и не понял, что нашли в нем мадридцы замечательного... В парке Эль Ретиро полезен оказался только памятник африканскому герою, генералу Мартинезу Компону. Его избрали для отдыха бесчисленные голуби, не считающиеся ни с генеральскими заслугами, ни с орденами... В боковых аллеях от разросшихся деревьев было почти темно и удивительно прохладно. На скамьях сидели старики, сошедшие с портретов Гойи последнего периода, какие-то люди с книгами, а молодежь, парами, держась за руки, шла к сверкающему вдали озеру.

Летний вечер медленно умирал, переходя в бархатную, звездную ночь, когда я вернулся в центр Мадрида.

# БОЙ БЫКОВ В МАДРИДЕ

«На Плаза де Торо есть только
одно животное — толпа».

*Испанская поговорка*

Попасть на воскресный бой быков в Мадриде не так просто. Но расторопный портье отеля пообещал все устроить и через час явился с билетом на «Плаза де Торо». Билет этот в кассе стоит всего пятьдесят песет. Заплатить за него пришлось ровно в десять раз дороже — портье долго объяснял, какие живодеры перекупщики... Но зато место замечательное, на теневой стороне и у самого барьера, так что видно будет как на ладони.

В Испании все начинается с опозданием, кроме боя быков: с серьезными вещами испанцы не шутят. Так как коррида объявлена на пять часов, пришлось пожертвовать сиестой и отправиться на арену, расположенную на окраине города, пораньше.

Предосторожность не была напрасной. Казалось, весь Мадрид двинулся в сторону Плаза де Торо. Бесконечный поток автомобилей, такси, автокаров, множество пешеходов. Все это медленно, под палящим августовским солнцем, двигалось в одном направлении, словно руководимое какой-то неведомой силой. Люди шли, перебрасывались шутками. Вдруг произошла заминка и толпа зааплодировала: впереди с трудом пробирался большой автомобиль, в котором сидел матадор в ярком костюме и еще какие-то люди довольно мрачного вида с бритыми сизыми лицами.

— Хуан Каллеха! — закричали восторженные голоса. — Да здравствует Хуан!

Это был один из матадоров, которому сегодня предстояло убить двух быков. Он сидел в машине как каменное изваяние, не улыбался, не отвечал на приветствия, напряженно смотрел куда-то в пространство. Из часов, предшествующих бою, самый мучительный для матадора — это час, когда он идет на арену, терзаемый страхом и дурными предчувствиями. С утра он не находит себе места. Завтракает рано и очень легко. Потом отдыхает, слоняется по дому, разговаривает с членами своей куа-

дрильи, т. е. с помощниками, которые выйдут с ним на арену. Медленно одевается: черные туфли, розовые чулки до колен, узкий костюм с дорогим золотым шитьем. На плечо набрасывает тяжелый парадный плащ — капот де пасео, половина которого, небрежно сложенная, лежит на его левой руке. После парада, которым открывается каждая коррида, матадор сбрасывает плащ и передает его на хранение тому из друзей, кого он хочет особо почтить своим вниманием.

Старые и очень знаменитые матадоры открыто и не стесняясь признают, что выходя на арену для встречи с быком, всегда испытывают чувство страха. Доблесть заключается не в том, чтобы не бояться, а в подавлении в себе чувства страха. Нужно двинуться навстречу врагу



**Куадрилья в ожидании парада**

с каменным лицом, контролируя каждое движение, малейший свой жест. Да и как не бояться? У матадора один шанс из десяти быть изувеченным или убитым. Рано или поздно каждый «спада» попадает на рога разъяренного быка. Счастливцы отделываются раной, но в сезон с мая до ноября, несколько матадоров погибают на арене. Вот почему с утра тореро прежде всего отправляется в церковь попросить Богородицу, чтобы Она «дала ему быка» и спасла от гибели. В Севилье, в церкви Нуэстра Сеньоры Макарены, покровительницы матадоров, я видел в витринах ризницы, рядом со старинными чашами для причастия и драгоценными ризами, шитые золотом костюмы матадоров. Там был костюм Манолетто. Он поднес его Богородице незадолго до того злополучного дня, когда разъяренный бык вспорол ему живот на провинциальной арене Линареса... Манолетто был величайшим из матадоров, но и он в минуты откровенности признавался:

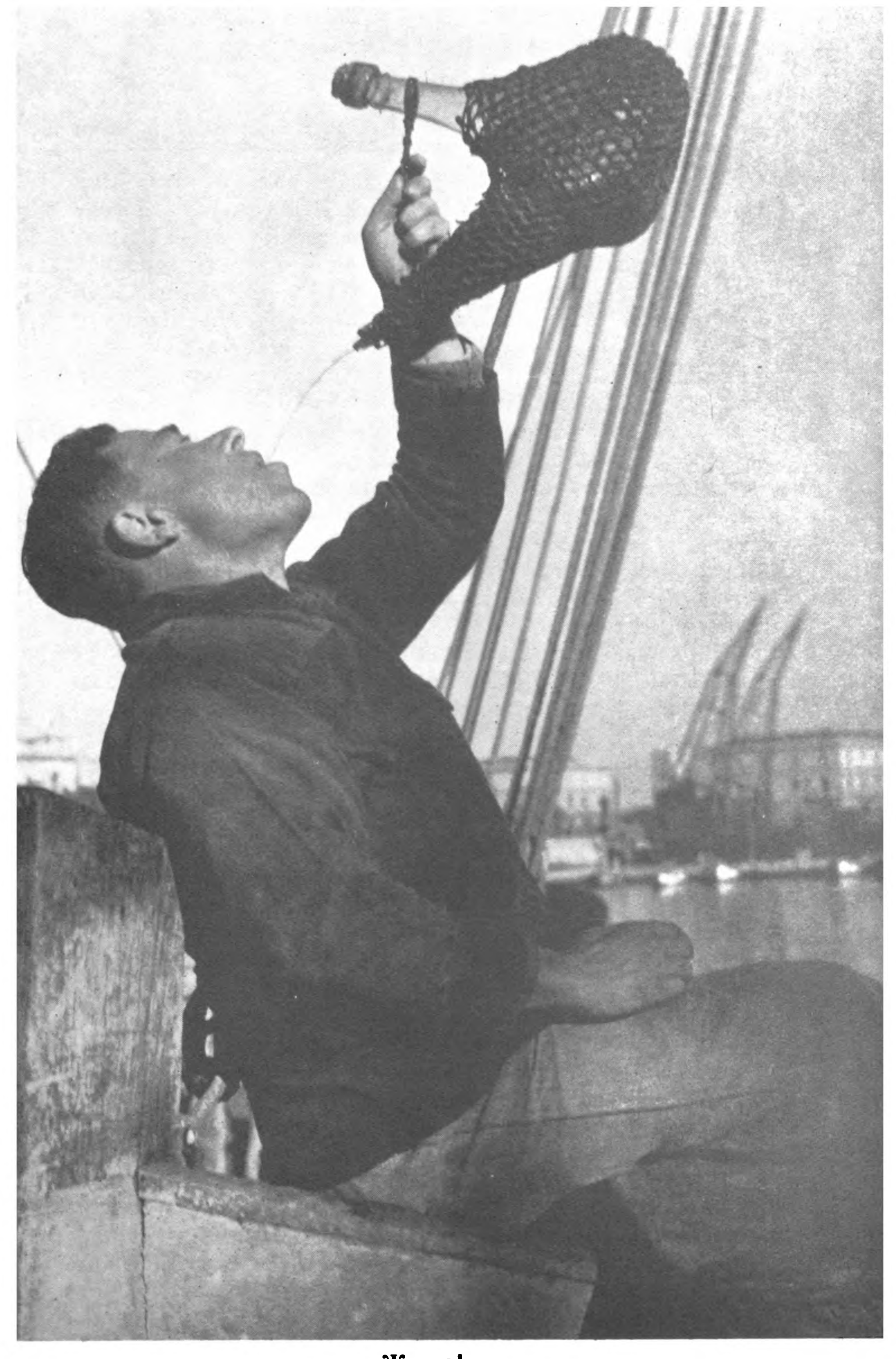
— Всякий раз, когда я вижу рога быка, мне хочется от него бежать... Но люди не платят деньги за то, чтобы Манолетто убегал от быка...

В стенах самой Плаза де Торо есть маленькая часовня, куда заходят бойцы перед началом корриды.

Матадоры религиозны и суеверны, верят в приметы, боятся дурного глаза, плохой встречи. В романе Бласко Ибаньеса «Кровавые арены» едущий на бой быков Галлардо бледнеет от страха: его автомобиль должен остановиться, чтобы пропустить похоронную процессию. Приметы не обманывают: в последней главе романа Галлардо погибает — смертельно раненный бык всаживает в него свои рога.

И вот в ослепительном блеске августовского солнца перед нами вырастают стены арены, построенной по образцу Колизея. Что творится у главных ворот! Толпы людей, не имеющих билета, поджидают снаружи прибытия своих героев, чтобы только прокричать их имя и, если очень посчастливится, притронуться рукой к их плащу... Тут же расположились торговцы мороженым, сластями и водой в глиняных кувшинах с узкими горлышками:

— Агуа фреска... Агуа фреска!..



**Жарко!**

Стаканов нет, но испанцы пьют воду из этих глиняных амфор особенным образом. Поднимают амфору высоко на вытянутых руках, забрасывают назад голову и из горлышка льется в рот тонкая струйка холодной воды. За одну песету можно пить сколько хочешь, пока не закроешь рта. Вся прелесть заключается в том, что ни одна капля драгоценной влаги не прольется на землю, все попадет прямо в рот... В толпе цыгане продают программы, красочные афиши с изображением быков, бандерильи с бумажными украшениями и стальными гарпунами на концах.

Внутри невольно останавливаешься: какое зрелище! Тридцать тысяч человек сидят на кожаных подушечках, разложенных на каменных скамьях. Подушечки эти иногда играют роль метательных снарядов. Разъяренная толпа забрасывает ими незадачливого матадора, не могущего справиться с быком.

Половина арены на солнце. Для успеха корриды вообще необходимо, чтобы была солнечная, безветренная погода:

— El sol es major torero, т. е. солнце — главный тореро. Солнца в Мадриде сколько угодно, и билеты на стороне «Сола» стоят гораздо дешевле, чем на местах, расположенных в «сомбра». Там, где пекло, там и сидят настоящие любители тауромахии, подлинные «афисионадо» и ценители искусства. Оттуда все время раздаются рукоплескания, крики, свистки, остроты — это мадридская галерка. На головах у всех бумажные колпаки, тысячи вееров ритмично работают, стараясь создать хоть какое-нибудь движение воздуха. А в ложах у барьера, на теневой стороне собрание местных красавиц и знаменитостей. Сюда приходят не только смотреть на агонию быков и на любимых матадоров, но и себя показать.

Ровно в пять на официальной трибуне появляется «президент», распоряжающийся боем. Он машет платком, раздается трубный звук, дробь барабанов, и ворота в центре медленно растворяются.

Начинается пасео, парад. По совести, это единственный красивый момент всего дня.

Впереди на лошадях едут «альгазило», т. е. церемониймейстеры, в черных костюмах и белых жабо эпохи короля Фердинанда II, в широкополых шляпах со страу-

совыми перьями. За ними медленно, с достоинством идут в ряд три матадора, герои сегодняшнего дня. Это — не знаменитости и не старые профессионалы, а «новилладос», т. е новички, сдающие своего рода экзамен на мадридской арене. За каждым матадором шествует в затылок его куадрилья, четверо тореро и бандерильеры, которые будут на арене испытывать и подготовлять быка. Все они тоже в шитых золотом и серебром костюмах. Тут, может быть, полезно объяснить терминологию корриды. Только один человек именуется матадор, или спада: тот, кто убивает быка. Его помощники называются тореро, но никогда не торреадорами. Торреадор существует только в презираемой испанцами опере «Кармен»... Но вернемся к параду. Дальше на лошадях выезжают две странные фигуры пикадоров, по внешнему виду — испанская разновидность ковбоев. На них широкополые касторовые шляпы с помпонами, короткие весты с черными нашивками, широкие кожаные штаны. Правая нога прикрыта стальными латами, — бык нападает на пикадоров только с правой стороны. В руках длинные пики... Шествие заключают пеоны, некое подобие конюхов. Выводят даже запряжку разукрашенных мулов с бубенцами. Эти мулы уволакивают с арены туши убитых быков.

Процессия подходит к президентской ложе. Матадоры снимают черные шапочки и почтительно кланяются. За ними подходят тореро, бандерильеры, пикадоры и пеоны. Пасео кончается, участники его уходят с арены. Остаются только альгазилы, которые подскакивают к официальной трибуне и просят разрешения начать бой. Президент бросает им ключ от ворот, ведущих к помещению быков. Если всадник поймал ключ на лету, толпа разражается аплодисментами: это доброе предзнаменование. Быки будут храбрые и матадоры на высоте. Альгазилы галопом уносятся с арены. Еще один протяжный трубный звук и красные ворота медленно открываются.

На арену вихрем вылетает черный бык.

Скажу сразу: бой быков вызвал во мне чувство глубокого отвращения. Чувство это обычно разделяют все или почти все иностранцы, которым совершенно непо-

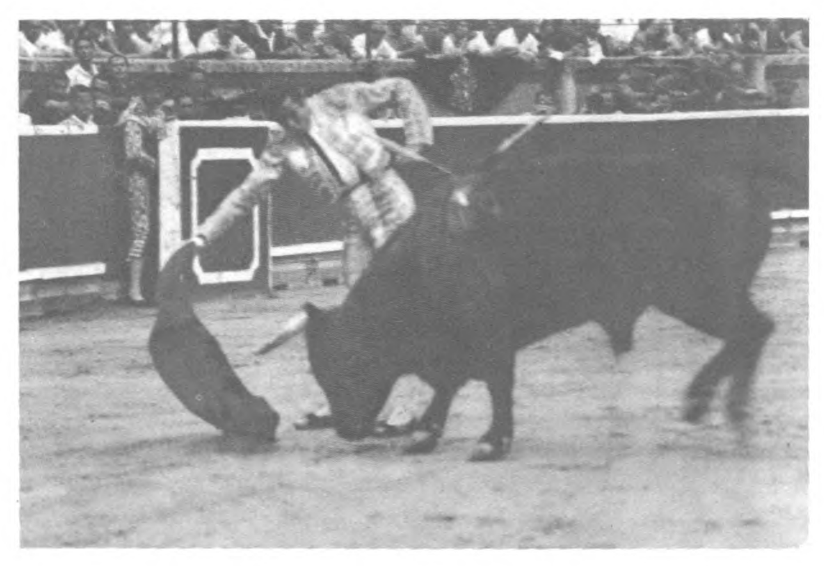
нятна символика корриды, игра со смертью, приводящая испанцев в состояние полной экзальтации. Что же это за спорт, в котором одна сторона, т. е. бык, заранее приговорена к смерти? Испанцы объясняют, что коррида — это не спорт, а спектакль, зрелище, своего рода пьеса, в конце которой бык должен быть убит. В какой-то степени это еще и балет. Я люблю и театр, и балет, но чтобы видеть очень элегантные па, мне вовсе не нужно, чтобы матадор рисковал своей жизнью и чтобы молодое, сильное и красивое животное терзали на арене в течение двадцати минут, втыкая в него острые бандерильи и пики, заставляя его истекать кровь, бросаться на лошадей и, в конце концов, убивали — большей частью не так быстро и аккуратно, как убивают их мясники на городской бойне.

Может быть, я просто не понял. Но даже Хемингуэй, страстный любитель тауромахии, вынужден был признать в своей книге «Смерть после полудня»: «Я полагаю, что с точки зрения современной морали, т. е. с точки зрения христианской, бой быков защищать невозможно, — во всем этом слишком много жестокости». Парадоксально, что именно это незащитимое с христианской точки зрения зрелище пользуется наибольшим успехом в фанатически католической Испании! Жестокостью зрелища испанцев удивить нельзя. Когда-то они собирались на аутодафе, где сжигали еретиков, как на спектакль. Теперь спектаклем является бой быков, в котором прельщает их, главным образом, мужество спады, его хладнокровие, элегантность приемов, твердость руки, блеск техники. Но не меньше интересует их и бык, который может оказаться или свирепым, или неожиданно трусливым. История быка известна публике досконально. Он родился в Андалузии, на ферме графа де Вистахермоза. Быку четыре года, он весит четыреста семьдесят кило, его рост...

Как всякий спектакль, бой быков имеет три акта.

В первой части корриды, суэрте де варас, бык атакует, бешено мечется по арене, а тем временем куадрилья испытывает его характер и привычки. Один тореро сделает несколько пассов своим плащем с правой стороны и, когда на него ринется бык, поспешит укрыться за деревянным щитом барьера. Второй проделает такие же

пассы с левой стороны. В зависимости от реакции быка, матадор, внимательно следящий за ним из-за барьера, уже знает, близорук ли торо или дальнозорок, атакует он по прямой линии или описывает полукруг, как держит он голову во время атаки... В первой части зрелище



еще не лишено грации. Тореро простирают свои плащи. Торо в слепой ярости на них устремляется, и в самый последний момент плащ либо поднимается над туловищем быка, либо полукруглым движением, именуемым вероникой, отбрасывается в сторону. Знаете, откуда пошло это название «вероника»? На религиозных картинах святая Вероника всегда изображается с куском белого полотна, которым она вытерла лицо страдающего Христа. Святая держит перед собой полотно двумя руками, точно так, как держит свой плащ матадор... Так причудливо и наивно переплетается имя святой с самым жестоким зрелищем, которое можно увидеть в наши дни.

Характер быка уже изучен матадором. Новый трубный звук возвещает о наступлении второй стадии боя. На арену выезжают на двух рослых лошадях пикадоры. Я постараюсь рассказать по возможности спокойнее, что происходит с лошадьми, у которых завязаны глаза, чтобы они не пугались атакующего быка и не понесли. Лоша-

дей ставят с двух сторон арены, и тореро своими плащами привлекают быка к одному из пикадоров. Бык стоит несколько секунд, словно раздумывая, затем наклоняет голову и со страшной силой устремляется на несчастную лошадь, ударив ее в бок. Когда-то после этого первого удара лошадь падала на песок с распоротым брюхом, из которого вываливались внутренности. В уже цитированной книге Хемингуэя есть одна позорная для этого большого писателя страница. В своем пылу афисионадо, желая оправдать все варварство ритуала корриды, Хемингуэй пишет, что смерть лошади является «комическим эпизодом», потому что лошадь в бое быков играет роль комическую! К счастью, во времена Примо де Ривера была проведена «гуманитарная» реформа: было разрешено прикрывать бока лошадей специальными матрацами, которые более или менее — не всегда — предохраняют от ранения. В то мгновение, когда торо ударяет рогами лошадь, пикадор вонзает пику в шейные мускулы быка и всей тяжестью своего тела наваливается на древко... Кровь начинает бежать из раны, но торо еще не отдает себе отчета в происшедшем. Он налетает на лошадь вторично, поднимает ее на воздух вместе с пикадором и сбрасывает их на землю. В этот момент пикадор в большой опасности. Его может придавить лошадь или может забодать бык. Но уже со всех сторон куадрилья машет плащами, стараясь отвлечь быка от своей жертвы, беспомощно бьющейся на земле... Три или четыре раза пикадор вонзает пику в шейные мускулы животного, стараясь растерзать и ослабить их. Бык устал, ослабел и отступает в тот угол арены, который он каким-то внутренним инстинктом выбрал с самого начала боя, как свой «дом», который он будет защищать. В этом углу ни один матадор не решится его атаковать, не рискуя своей жизнью.

Труба возвещает начало «терцио де бандериллас». Лошадей увели, вместо них появляется бандерильер.

Бык не хочет выйти из своего угла. Он считает, что одержал победу над противником, сбив лошадь с ног. Но это отняло его силы и теперь он томится в тоске. Люди с плащами начинают его раздражать. Бандерильер топает ногами и кричит:

— Торо! Хью! Хью! Хью!



И торо принимает вызов. Выходит из заколдованного круга, собираясь броситься на человека. В эту минуту бандерильер бежит навстречу быку, описывая полукруг, и на всем ходу всаживает ему в мускулы шеи два раскрашенных ленточками гарпуна-бандерильи.

Три раза повторяет он свой бег, каждый раз рискуя попасть на рога разъяренному и окровавленному животному, и каждый раз всаживает ему в шею бандерильи... Теперь бык растерян, от нападения он переходит к обороне, и в этой стадии становится особенно свирепым и опасным. Приближается фаена, последняя сцена убийства. Матадор выходит на арену один. В левой руке у него мулета — небольшой ярко-красный плащ, и тонкая толедская шпага.

Матадор подходит к трибуне, снимает шляпу и посвящает своего первого быка президенту. Второго он посвящает всей публике или своему отцу, или знаменитому актеру, писателю... Президент машет платком: можно начинать.

Снова «вероники». На этот раз матадор проделывает их коротким плащем. Чем лучше матадор, тем ближе он должен стоять к быку, который проносится мимо, почти задевая его рогами. Стыд и позор спаде, который

не совладал со своими чувствами и отступил. Его освищут, в голову его полетят кожаные подушки и даже бутылки... Он не может отступить, не смеет сделать шага в сторону, он должен быть как статуя, работать одними руками, поднимая красную фланель над головой быка, пряча ее за спину, даже заворачивая в нее свое тело. В этот момент становится особенно очевидным неравенство боя. Афисионадо считают, что в характере быка есть некоторая простота. Бык просто глуп. Если бы он понял, что главный его враг не красная тряпка, а человек, который ее держит в руках, он мог бы убить матадора в одну секунду, простым поворотом головы. Но торо этого не понимает, ему нет дела до человека, его волнует только тряпка, а матадор делает несколько пассов, вызывая аплодисменты и крики «Олле!», заставляет быка стать именно в ту единственную позицию, в которой его возможно убить: нужно, чтобы передние ноги быка были вместе, а голова наклонена к земле. Чтобы заставить быка наклонить голову, он проведет перед его глазами красным плащем сверху вниз, и бык тупо уставится на мулетту, лежащую на земле, подставляя под удар то небольшое и незащищенное место на его шее, размером в медный пятак, куда может свободно проникнуть шпага. Матадор с быстротой молнии бросается на быка и вонзает в него шпагу... Не думайте, что это так просто. В злополучный день мадридской корриды ни один из «новилладос» не оказался на высоте. Клинок попадал все не в те места, застревал в костях или в коже, бык мотал головой и шпага вылетала. И под свист толпы матадор с виноватым видом вновь занимал нужную позицию, снова устремлялся на рога животного, чтобы попасть в нужное место. И так два, три и даже четыре раза, пока, наконец, сталь не уходила по самую рукоятку в тушу быка. И даже после этого торо не всегда падал, как сраженный. Если артерия внутри не была перерезана, он стоял, не понимая, что с ним произошло. Вся куадрилья выбегала на арену, заставляя умирающего быка бросаться на плащи, делать резкие повороты в каком-то сумасшедшем круговерчении, пока он, наконец, не падал на подкошенные передние ноги. И если бык не соглашался и после этого умереть, хотя кровь лилась из его пасти,

к нему подходил один из пеонов и сбоку, вороватым ударом кинжала перерезал аорту, вызывая мгновенную смерть.

Свист, аплодисменты, подушки. Матадор, не очень гордый своей победой, уже шел к трибуне раскланиваться, а мулы с бубенцами волокли тем временем окровавленную тушу с арены. Матадора освистали, но бык оказался бравым и его туше публика дружно аплодировала. Очень плохая была в этот день коррида: матадоры не умели убивать и ни один из них не удостоился ни уха, ни хвоста торо.

После пятого убоя я не выдержал, встал и начал пробираться к выходу. Сопровождавший меня испанец-гид остолбенел и не мог понять, как можно уйти с такого волнующего и удивительного зрелища? В течение последующих дней он со мной не разговаривал. А я на два дня стал вегетарианцем и упорно отказывался в ресторане от бифштексов и антрекотов. Перед моими глазами все еще стоял окровавленный, ничего не понимавший торо.

# ТОЛЕДО

...Королем же был Дон Педро
С прибавлением Жестокий.

*Г. Гейне («Турнир»)*

Автокар был дальнего следования: Мадрид — Толедо — Кордова — Севилья — Гранада — Гибралтар — Малага, снова Мадрид. Все это в девять дней и за очень дешевую по американским понятиям цену. Транспорт, первоклассные отели, завтраки, обеды и ужины, посещения музеев, гиды — это обходилось в сто сорок два доллара с человека. Почему-то я всегда относился с предубеждением к групповым поездкам туристических обществ. Но для иностранца, не знающего языка страны, не желающего терять времени на поиски комнаты в незнакомом городе, это — единственный и, конечно, самый экономный способ путешествия. Воздадим должное испанскому туристическому обществу «Атесса» — оно организовало поездку по Андалузии безукоризненно.

В автокаре встретились два десятка разношерстных людей разных национальностей. На девять дней судьбы наши были связаны. Мы должны были сидеть рядом, угощать друг друга конфетами, вместе есть и пить, рассматривать фотографии чужих внуков, вместе ахать и восхищаться...

Были три миловидные учительницы из Техаса, преподающие в средних школах испанский язык. Приехали они на стипендию Фулбрайта, пробыли несколько недель на специальных курсах в Бургосе и теперь заканчивали свое путешествие знакомством с испанским югом. Говорят, американцы не очень способны к иностранным языкам. Но учительницы отлично говорили по-испански.

Были три французские семейные пары, люди солидные, смотревшие на все немного свысока: при свойственном французам чувстве собственного превосходства учиться им у испанцев было нечему... Были и ньюйоркцы, т. е. люди с итальянскими, немецкими и русскими фамилиями и неопределенными акцентами американцев первого поколения. Связующим звеном между всеми пассажирами оказался гид, одинаково плохо говоривший на всех языках, но преисполненный желания «продать Испанию» туристам и показать им былое величие и красоты своей страны.

Автокар двинулся в путь ранним летним утром, по холодку. От Мадрида до Толедо всего шестьдесят километров, и наш шофер Мигель, не торопясь, покрыл это расстояние в два часа. Вокруг, куда хватал глаз, лежали возделанные поля, оливковые рощи, виноградники, красная распаханная земля. Деревень мало, но на дороге все время попадались разукрашенные ослики, на которых сидели верхом или боком крестьяне. В испанской деревне мулы и ослики еще и теперь едва ли не единственный способ передвижения. На них перевозят все тяжести: дрова, хворост, корзины с землей и камнями, мешки с удобрением, воду. Ослики осторожно перебирают своими деликатными копытцами и только подергивают ушами. Крестьянин-кампесино идет сбоку, хлопает ладонью по бокам навьюченного животного и покрикивает:

— Бурро, аррэ! Осел, иди!

А вот другая картина. Большое голое место, степь, колючий кустарник и отара овец, пасущаяся на этой скуд-

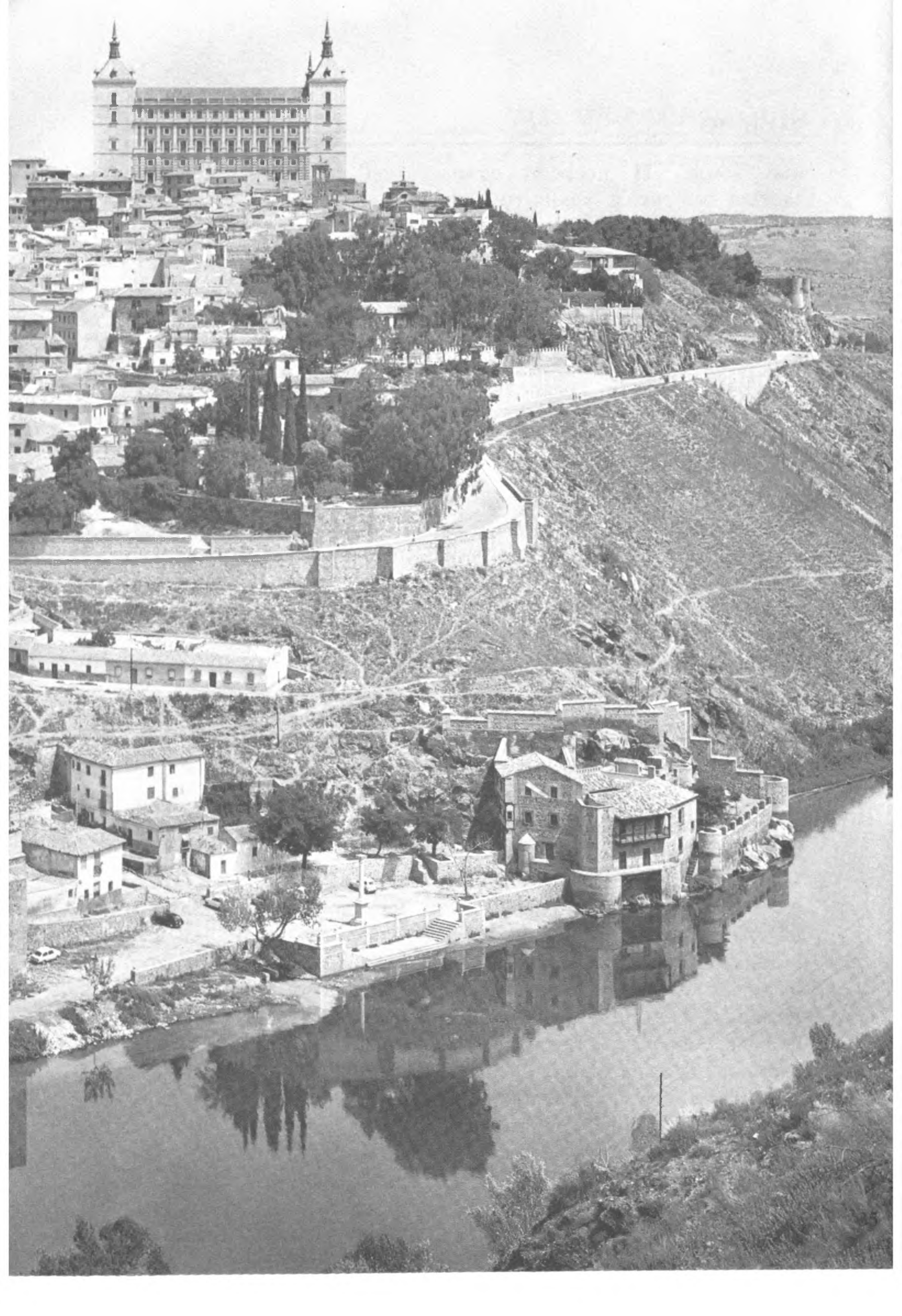
ной земле. И посреди отары, под палящим солнцем, застыл пастух в каких-то живописных тряпках, в широкой соломенной шляпе, — чем-то библейским веет от этой фигуры с длинным посохом.

— Глядите вперед, — объявляет гид, — уже виден Альказар.

Вдали, на высокой скале, появляется сказочный город, окруженный средневековыми стенами и увенчанный Альказаром. С этой крепостью связаны трагические страницы испанской истории.

Чтобы попасть в город, надо проехать каменный мост римских времен, перекинутый через мелководную реку Тахо, которая подковой с трех сторон огибает Толедо. Автокар втискивается в узкие улочки и сразу застревает — строители города две тысячи лет тому назад явно не предвидели грядущей эпохи автомобилизма. Мигель отчаянно крутит руль направо, налево, автокар упирается в стену дома, отваливает, слегка поворачивает и снова застревает. И уже какие-то старики тычут палками и что-то кричат Мигелю, дают советы, и со всех сторон на подмогу сбегаются мальчишки. После пятиминутных сложных маневров и многократных упоминаний имени небесной покровительницы города, мы благополучно выбираемся из тупика, поднимаемся все выше и наконец останавливаемся у подножия Альказара, где расположен «Отель Карла V». Отсюда открывается прекрасный вид на кастильское плато и на холмы, окружающие город. Когда-то, еще лет сто назад, на этих холмах скрывалось множество разбойников, «гораздо больше, чем в Сиерра Морено и в Сиерра Невада», с гордостью сообщает местный гид. Теперь по холмам свободно гуляет лишь горячий ветер «солано», знойное дыхание Африки.

Осматривать Толедо можно только пешком — улицы города так узки, что никакой экипаж здесь не проедет. Перепрыгивая с булыжника на булыжник, пешеход проникает в сложный лабиринт, который выводит к замечательной сторожевой башне Пуэрта дель Соль, во времена Инквизиции превращенной в городскую тюрьму. Сразу же за этими воротами раскладывали костры, на которых



**Толедо и Альказар**

в средние века сжигали еретиков, а позже маранов (новообращенных евреев), «тайно исповедовавших иудейскую религию».

Костер обычно раскладывали один для всех сжигаемых. Был он, по свидетельству летописца, «шестидесяти» футов в окружности и высотой в семь, и поднимались к нему по лестнице, сооруженной с таким расчетом, чтобы на равном расстоянии друг от друга можно было водрузить столбы и в то же время беспрепятственно отправлять правосудие, оставив соответствующее место, дабы священнослужители могли без затруднения пребывать при всех осужденных...»

В былые дни на Пуэрта дель Соль и на главной городской площади Соковер, где теперь туристы, отдыхая на террасах кафе, мирно пишут открытки, сжигали одновременно по несколько десятков человек... Но в Толедо есть место еще более страшное — дом, где помещалась св. Эрмандада и где жил Великий Инквизитор. Над воротами здания одно-единственное окно, закованное в толстейшую решетку. В этом доме, кажется, теперь устроили гостиницу. Не знаю, как чувствуют себя туристы в комнатах-застенках, где людей пытали замаскированные палачи, где черные судьи вели допрос в подземельях, при свете дымных факелов, и откуда несчастных прямо отправляли на казнь в одеянии смертника, с колпаком на голове и с зеленой свечой в руке... Какая теперь тишина на улицах Толедо! Местный гид долго объяснял, что это особенный, мистический город, со своими древними традициями и суровыми нравами. Здесь до сих пор не разрешаются балы, танцевальные вечера и театральные представления, и только в виде большой уступки епископ разрешил кинематограф...

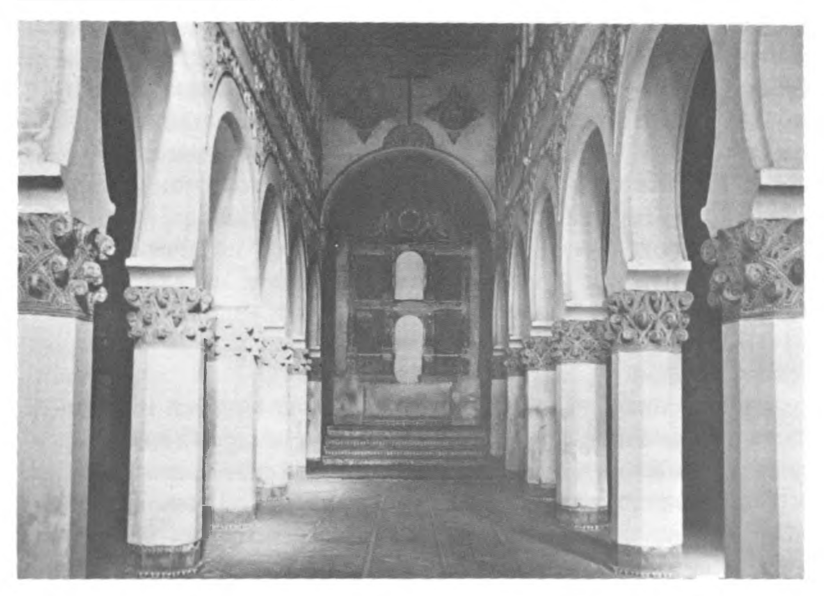
Это город-музей. Жизнь в Толедо течет медленно, как вода в Тахо, под мостом св. Мартина. Время измеряется не годами, а столетиями. В крепости, сооруженной на вершине холма римлянами, побывали и вестготы, и мавры, и солдаты «католических королей» Фердинанда и Изабеллы. После освобождения Испании от мавров королевская казна была пуста. В стране царил голод. Чтобы снарядить Колумба в его заморскую экспедицию, которая должна была принести Испании богатства, королева Иза-

белла отдала мореплавателю свои личные драгоценности — денег у нее не было. И в этом же 1492 году деньги нашлись. По совету Инквизиции из Испании на вечные времена были изгнаны евреи, а все их имущество и богатства поступили в королевскую казну.

В конце пятнадцатого столетия евреи играли в Испании роль исключительную не только в области экономической, но и культурной. Еврейским негоциантам принадлежали корабли, которые вывозили за границу оливковое масло и вино и доставляли в Испанию из Средиземноморских портов ценные товары, произведения искусства, ткани, слоновую кость и меха. Из Персии они получали яркие ковры, из Африки — эссенции. Жемчуг и самоцветные камни шли из Индии, шелк из Дамаска и пряности из Цейлона. Еврейские философы и ученые преподавали в университетах Толедо, Кордовы и Саламанки. Архитекторы славились во всей Кастилии своим строительным искусством.

В Толедо евреи жили с незапамятных времен, пользуясь всеми правами и почетом. Не они ли дали городу его имя Толедот? Слово это на древне-еврейском языке означает «Город поколений». Время от времени их грабили, но это были, так сказать, патриотические контрибуции, которые благодарное еврейское население приносило на алтарь отечества... После смерти короля Педро Жестокого, благоволившего к евреям, в Толедо начались массовые аресты, пытки и насильственное обращение в христианство. Квартал «Юдерия» был обложен контрибуцией в двадцать тысяч золотых дублонов. 1391 год ознаменовался волной еврейских погромов по всей Испании.

В Севилье шестого июля толпа ворвалась в «Юдерию» и перебила четыре тысячи человек. В Кордове убили две тысячи. Это лето было в Испании жарким и кровавым. Гитлер, в сущности, ничего не придумал — ни специальных нашивок на рукавах, ни запрета выходить из гетто, ни контрибуций, ни поджогов синагог. Всему этому научился он у испанских средневековых изуверов и фанатиков... Когда толедские евреи узнали, что готовится декрет об изгнании, они пытались откупиться. Алчный Фердинанд заколебался: кто заменит врачей, ученых,



**Еврейская синагога в Толедо**

строителей? Торквемада, бывший тогда Великим Инквизитором, спросил короля:

— Разве ты, как Иуда, хочешь вновь продать Христа за деньги?

Судьба громадной общины в Толедо и множества евреев в других испанских городах была решена. Декретом 31 марта 1492 года евреям предписывалось покинуть пределы страны до конца июля.

Сколько же человек было изгнано тогда из Испании? По самым осторожным данным «Еврейской Энциклопедии» не меньше 235000, из которых 50000 были обращены в христианство и стали маранами, а 20000 погибли во время исхода от чумы, других болезней, голода и жажды. Здесь не место подробно рассказывать об исходе евреев из Испании. Это трагическое событие в достаточной степени изучено, и историки сходятся на том, что Испания никогда не оправилась от последствий этого изуверского акта. Именно со времени изгнания мавров, которые принесли Испании высокую культуру, а затем изгнания евреев началось моральное, политическое, культурное и экономическое падение, от которого страна никогда не оправилась...

Об одном факте, связанном с исходом, я хочу все-таки напомнить. Евреям было запрещено вывозить золото, серебро и вообще ценные вещи. Уходя, они взяли с собой только железные ключи от домов, которые им принадлежали, и которые у них теперь отнимали. До сих пор в семьях сефардов, живущих на юго-западе Франции, можно видеть эти старые ключи, переходящие из поколения в поколение, символ того, что испанские евреи не примирились с совершенным над ними насилием и несправедливостью.

В Толедо было, вероятно, множество мечетей и синагог. Кастильские завоеватели — конквистадоры прежде всего разрушали замечательные храмы, оставленные «неверными». В Толедо нет теперь ни одной мечети. Чудом сохранились только две синагоги, да и то потому, что завоеватели превратили их в католические церкви.

Главная Синагога, выстроенная в конце двенадцатого столетия, была отнята у евреев еще в 1405 году, за восемь десят семь лет до их изгнания. В день субботний толпа фанатиков, возбужденная проповедником ВинсентомФерером, ворвалась в синагогу во время чтения Торы. Евреев сбрасывали со скалы в реку, множество верующих погибли на месте. Тут же, среди окровавленных трупов, наскоро был воздвигнут алтарь, у которого брат Винсент отслужил первую мессу.

Главная Синагога была переименована в церковь св. Марии Белокаменной — вероятно потому, что внутри ее двадцать четыре колонны сделаны из белоснежного алебастра. Колонны эти соединены между собой изящными арками в мавританском стиле. Над сооружением Главной Синагоги трудились не только лучшие еврейские, но и арабские мастера. Весь стиль храма выдержан в удивительном смешанном арабо-еврейском стиле той эпохи. Постепенно внутренность храма подвергалась изменениям. В середине пятнадцатого столетия кардинал Силисео воздвиг главный алтарь у восточной стены, где раньше был амвон и хранились свитки Торы. При этом уничтожили позолоту стен, редчайшие фрески и мозаику. Потом здесь устроили монастырь и убежище для падших женщин. В год Вели-

кой Французской Революции монастырь закрыли, а синагогу-церковь превратили в солдатские казармы. Только в 1808 году, во время войны за Независимость, период осквернений кончился. Церковь св. Марии Белокаменной была объявлена историческим памятником, и теперь тщательно реставрируется и охраняется. Жители Толедо до сих пор называют ее синагогой.

Другая чудом сохранившаяся синагога была выстроена на средства Самуила Леви, министра финансов Педро Жестокого. В Главной молился народ; в синагоге Леви молились только его личные друзья, сливки еврейской общины в Толедо. Снаружи храм этот ничем не замечателен — евреи в Испании уже в те времена не любили обращать на себя внимание улицы. Но трудно представить себе красоту этого здания внутри. Здесь нет мраморных колонн, как в св. Марии Белокаменной. Это — очень пропорционально-продолговатый белый зал длиной в семьдесят восемь и шириной в двадцать восемь футов, с деревянным балконом для молившихся отдельно женщин. Стены покрыты тончайшим каменным кружевом, чудесными восточными рисунками, так напоминающими кружева на севильских мантильях. Над этими фресками трудились мастера, выписанные из Гранады, придавшие всему убранству мавританский стиль. Как прекрасно уживались в те времена в Испании арабы и евреи!

Вдоль стен высечены в алебастре длинные надписи на древне-еврейском языке, в которых строитель храма Самуил Леви прославляет Бога Израиля и воздает дань милостивому королю и своему покровителю Дону Педро.

«Гляди на Святую Святых, освященную в Израиле, и на дом, сооруженный Самуилом и на Башню для чтения Заповедей, данных Господом для просвещения тех, кто ищет совершенства. Сие есть дом Господний...» И вдоль другой стены еще более длинная и витиеватая надпись, начинающаяся так: «Это здание сооружено во времена короля Дона Педро, да поможет Ему Господь! И умножит его владения, и даст Ему милости, и прославит Его, и возвысит Его над всеми Принцами...»

Милостивый король Дон Педро должным образом отбла-

годарил своего друга и верного министра финансов. Под каким-то благовидным предлогом он приказал схватить его, подвергнуть пытке, задушить, а тело сжечь на костре. И, сообщает летописец, «верноподданные весьма хвалили короля за его справедливость». Дворец Самуила Леви король подарил маркизам Вильена. После казни Педро Жестокий пожелал посетить дом Леви. В парадном зале он остановился и прочел на мраморной стене надпись: «Да будет благословен Педро милостивый и благодушный наш повелитель».

Милостивый и благодушный повелитель вздохнул и сказал:

— Все же у этого еврея было прекрасное сердце!

И приказал сопровождавшему его епископу отслужить десять панихид в соборе по новопреставленном рабе Божием Самуиле Леви.

А синагога была превращена в церковь Нуэстра Сеньора дель Трансито и отдана рыцарскому военному ордену Калатравы. Позже здесь были сооружены три алтаря. Главный престол у восточной стены. На него льются потоки света из двух стрельчатых синагогальных окон... Благородных рыцарей Калатравы хоронили тут же, в храме. Сохранились девятнадцать погребальных плит. Надпись на одной из них в самом центре синагоги гласит: «Брат дон Педро де Сильва, Командир Ордена, скончался в последний день января 1500 года...» На многих плитах уже трудно разобрать имена.

И эта синагога Трансито подвергалась бесконечным надругательствам, пока в прошлом столетии не сообразили, что она является замечательным историческим и художественным памятником. Теперь здание объявлено «национальным монументом», его постепенно реставрируют и, во всяком случае, тщательно охраняют то, что удалось спасти от вандалов.

Мне показалось, что испанцам не очень-то приятно вспоминать историю изгнания евреев. В синагоге местный гид, дававший объяснения, деликатно выразился:

— Когда в тысяча четыреста девяносто втором году евреи *решили* покинуть Толедо...

Я поинтересовался, существуют ли евреи в современной Испании? В Толедо евреев нет, но в Мадриде живут

теперь около 5000 евреев, открыты две синагоги и есть община в Барселоне... А ведь когда-то, до изгнания, в Испании было свыше полумиллиона евреев!

В центре «Юдерии», бывшего еврейского квартала в Толедо, сейчас же за Трансито, стоит дом, в котором жил Эль Греко. Особняк замечательный: несколько жилых комнат, настоящая кухня алхимика, где пищу готовили над очагом. В столовой, украшенной полотнами Тинторетто, устроены хоры для музыкантов, игравших во время званых обедов. Но самое интересное, это двор-патио с деревянной галереей вдоль всего второго этажа. В саду благоухают розы, множество цветов, и по стенам вьются глицинии и плющ...

Какое спокойствие, умиротворение, тишина, так не вяжущаяся с кровавой историей Толедо! Только на башне соседнего монастыря колокола ровно и медленно отбивают часы, как отбивали они столетия назад, во времена Эль Греко.

# ЗАЩИТНИКИ АЛЬКАЗАРА

"For courage mounteth with occasion".

*"King John". Shakespeare*

В толедском отеле «Карлос V» окно моей комнаты выходило в улочку такую узкую, что, казалось, рукой можно было дотянуться до стены дома напротив. По неопытности я даже обрадовался: такая экзотика! В каждом освещенном окне была видна неторопливая жизнь. Женщины что-то стряпали, мыли посуду. Мужчины сидели за железными решетками окон и смотрели, что делается в нашем отеле... Весь день я провел в церквах и музеях, обедал поздно, очень устал. В полночь, добравшись до постели, сразу заснул сном праведника.

Сколько времени я спал? Кажется, очень недолго, всего несколько минут. Первый блаженный сон был прерван неистовым воплем с улицы:

— Доминго! — кричала женщина истошным голосом. — Доминго!

Со сна, еще плохо соображая, я бросился к окну. Женщину несомненно убивали и она звала на помощь своего Доминго... Нет, напрасно я так разволновался: толстая сеньора, высунувшаяся из квартиры третьего этажа, просто что-то кричала своему сынишке, игравшему на улице с другими детьми.

Так началась эта незабываемая ночь. Улица жила нормально и привычно: во всех квартирах играли радиоаппараты, соседи громко переговаривались, рассказывали друг другу новости. Доминго и его юные друзья были, бесспорно, потомками тех разбойников, которыми когда-то кишели горы Гвадарамы. Таких громких и хриплых голосов пропойц, которыми обладали эти детки, я еще никогда не слышал ни в Старом, ни в Новом Свете. Из углового трактира доносились голоса их родителей, старавшихся перекричать друг друга. В узкой улице каждое сказанное слово гремело, как в горном ущелье.

Прошел час, другой. Нельзя было и думать о сне. Доминго и его друзья устроили нечто вроде фиесты, ритмично хлопали в ладоши и пели хором. Наконец, знакомая уже мне сеньора начала приглашать своего малютку спать, «вете а дормир», причем с каждым приглашением фразы удлинялись, а голос становился все более и более грозным... Не знаю, в котором часу кончилась вальпургиева ночь пятилетних битников, но я заснул только около трех утра. И сейчас же, в ту самую минуту, когда я закрыл глаза, запели петухи.

Боже, сколько петухов в Толедо! Они перекликались со всех дворов, горланили, словно предупреждая город о какой-то страшной опасности, о нашествии римлян или вестготов... Немного позже, когда уже совсем рассвело, внизу заиграл рожок. Любопытство взяло верх. Я встал и посмотрел, что делается на улице. Оказывается, пришли мусорщики. Один играл на рожке, а другой лениво волочил за собой по земле корзину. Хозяйки, должно быть, притаившиеся за воротами и только ждавшие сигнального рожка, уже выставляли ящики, коробки и кульки с мусором. Затем женщины все вместе, хором, принялись ругать

мусорщиков, которые набросали на улице и не желали подмести.

Вероятно, по здешним понятиям это был очень мирный, деловой разговор, но мне показалось, что еще минута — появятся ножи и прольется кровь... Спать уже не хотелось. Я оделся и отправился на площадь Соковер в надежде, что там можно будет выпить кофе. Кафе было еще закрыто, хотя жизнь в городе уже началась — петухи сделали свое дело. Появились ослики с крестьянами, ехавшими на базар. Открылся газетный киоск, пришел торговец лотерейными билетами. Во всех магазинах этой площади продавался одинаковый товар: кинжалы, рапиры, шпаги, которыми славится Толедо, кожаные изделия с арабским тиснением золотом, какие-то браслеты и серьги с дамасской чернью. И опять кинжалы, и снова бумажники, ночные туфли и шпаги.

Днем мы осматривали одну из фабрик шпаг и кинжалов. Еще издали из мастерских доносились звонкие удары молотков по металлу. Эти звуки раздаются в Толедо с римских времен: мастера превращают раскаленную сталь в острые клинки и кривые ятаганы, а затем опускают их в бочки с водой из Тахо. Вода эта, якобы, обладает способностью как-то особенно закалять сталь. Толедские шпаги — лучшие в мире, и недаром в старину говорили, что в Толедо уже из утробы матери выходят с ножами.

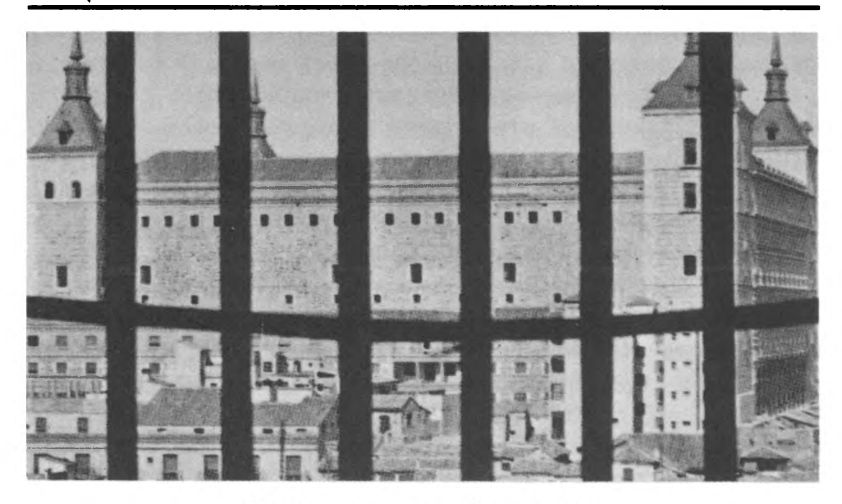
Из мастерской попали мы в собор, который строился чуть ли не три столетия и в результате оказался смешением разных стилей и эпох — чистой готики тринадцатого столетия, Ренессанса и мавританского стиля. Одни ворота готические; другие, заказанные в пятнадцатом столетии кардиналом Мендоза, — в стиле Возрождения, и есть еще ворота неоклассические... Каждый собор в Испании прежде всего музей. В толедском показывают туристам полотна Эль Греко, мраморную гробницу кардинала Мендозы, какие-то необыкновенные дубовые и резные «силлерии», т. е. сиденья для духовенства в ризнице, и кованную железную решетку, сделанную лучшими мастерами города. В другой церкви св. Фомы висит одна из известнейших картин Греко «Погребение графа Оргаца», на которой среди толедской знати того времени художник изобразил самого себя. Граф Оргац

похоронен в той самой церковной стене, на которой висит полотно Эль Греко.

Но особенно гордятся в Толедо «Кустодией», т. е. Дароносицей, которую выносят из собора только раз в год, в торжественной процессии в праздник Тела Христова. Это — шедевр мастера Энрико де Арфе, сооружение из золота и серебра, весом в двести семьдесят пять фунтов, напоминающее готическую церковную башню, поднимающуюся к небу. На выделку этой Дароносицы ушло первое золото, привезенное Христофором Колумбом из Америки. Из поколения в поколение верующие отдавали на украшение толедского собора свои сокровища: алмазы для митры кардинала-примата Испании, шитые золотом тяжелые ризы, бесценные кубки, часословы, над которыми трудились искусные художники, лампады, украшенные самоцветными камнями.

Сколько раз потом в Испании приходилось видеть эти неслыханные сокровища, накопленные церковью на протяжении веков, и рядом с этим богатством, сейчас же за воротами соборов — страшнейшую нищету и голодных людей. Испания — страна отлично уживающихся контрастов. Богатство и нищета, фанатическая религиозность и жестокость... И недаром в соборе Толедо, среди королевской роскоши и великолепных мраморных мавзолеев, тоже, как некий контраст — безымянная плита над могилой кардинала, который приказал выгравировать такую эпитафию: «Здесь покоится прах, пыль и больше ничего».

Альказар, разрушенный во время гражданской войны, теперь почти полностью восстановлен. Это громадная и довольно уродливая крепость, доминирующая над Толедо и над всей долиной реки Тахо. Начало положил Альфонс Шестой в 1085 году, а затем Альказар перестроил Карлос Пятый. В этой крепости, как и в очень схожем по конструкции дворце Эскуриал под Мадридом, выражен весь дух Кастилии — суровый, неприступный, горделивый. Простота прямых линий, отсутствие украшений. Здесь нет ничего от арабского влияния и восточной роскоши. Сколько раз Альказар горел за свою почти тысячелетнюю историю? В 1710 году его сожгли португальцы, сто лет спустя —



**Реставрированный Альказар**

солдаты маршала Сульта. Альказар горел и в начале нашего века, но его отстроили. Когда началась гражданская война, в крепости помещалось военное училище, комендантом которого был полковник Москардо.

Летом 1936 года в Толедо начался красный террор. Происходили массовые аресты, людей расстреливали у стены дома Эль Греко. Прошел слух, что мятежный генерал Франко высадился где-то на юге с марокканскими частями и Иностранным Легионом и начал гражданскую войну. И двадцать четвертого июля совершенно для всех неожиданно над Альказаром франкистами был поднят националистический флаг. Так начался самый фантастический эпизод испанской гражданской войны, непревзойденный по героизму, показавший всему миру подлинный облик Испании.

Полковник Москардо заперся в крепости вместе с солдатами гражданской гвардии. Время было летнее, ученики школы разъехались на каникулы, и Москардо удалось собрать только семерых кадет, случайно оказавшихся в это время в Толедо. Всего в крепости забаррикадировалось 1100 человек, способных носить оружие, да кроме бойцов в глубоких подземельях разместили несколько сот женщин и детей, пришедших в крепость с мужьями искать убежища.

Население Альказара во время осады составляло 1996 чело-

век. Военного снаряжения и аммуниции было достаточно, так как заговорщики захватили большой военный транспорт с оружием, предназначавшийся для Мадрида. Но с первых же дней выяснилось, что с продовольствием дело обстоит плохо. Хлеб кончился на четвертый день, картофеля хватило лишь на одну неделю. Молоко, разбавленное водой, выдавали только детям и раненым. В крепости было сто семьдесят семь лошадей. В самом начале на питание гарнизона и беженцев ежедневно убивали четырех лошадей, потом трех, к концу осады только двух. Спас защитников Альказара случай: какой-то крестьянин пробрался ночью в крепость и сказал, что знает место, за пределами укреплений, где местным земельным банком были сложены громадные запасы зерна.

В ту же ночь была организована вылазка. Крестьянин сказал правду. К утру в крепость перенесли две тысячи мешков зерна, и призрак голода больше не грозил защитникам... Началась длительная осада. В течение шестидесяти семи дней и ночей крепость подвергалась непрерывным бомбардировкам. Обстрел шел одновременно из тяжелых орудий и с воздуха. Были дни, когда на крепость сбрасывали с самолетов по четыреста—пятьсот бомб весом в пятьдесят кило каждая. После первых же бомбардировок стены превратились в груды развалин и угловые квадратные башни были разбиты. Но даже эти развалины являлись прекрасными укреплениями.

В глубоких подземельях и галереях «сотанос» были устроены бастионы, склады продовольствия, военного снаряжения и дортуары, в которых солдаты спали вповалку на каменном полу. Кадетские постели и тюфяки получили только женщины, дети и раненые. В сводчатом подземелье помещался всегда переполненный лазарет. Людей оперировали без хлороформа и почти без медикаментов, на столе, сколоченном из некрашеных досок. Три врача, оказавшиеся в крепости, буквально валились с ног: почти шестьдесят процентов защитников Альказара были убиты или ранены. Мертвых не хоронили — их тела закладывали кирпичами в отдаленном коридоре.

Несколько раз из Толедо приходил ультиматум: немедленно сложить оружие и капитулировать. Защитникам крепости доказывали всю безрассудность их героизма, вызы-

вавшего уважение даже у противников. Франко далеко, помощи ждать неоткуда. Не лучше ли выпустить женщин и детей, а затем отдать себя в руки правосудия? Двадцать третьего июля из Толедо позвонил в Альказар начальник народной милиции Кандидо Кабелло, потребовавший к проводу полковника Москардо. Каким-то чудом телефонная линия действовала, но ее контролировало Толедо. Кабелло сказал, что если через десять минут крепость не капитулирует, двадцатитрехлетний сын полковника Москардо, арестованный с матерью и младшим братом в окрестностях города, будет расстрелян.

— Чтобы вы не сомневались, что это правда, — добавил Кабелло, — вы сейчас будете говорить с вашим сыном.



**Смерть легионера. 1936. Фото Роберта Капа**

Полковник Москардо услышал знакомый ему голос, сказавший только одно слово:

— Папа...

— Что с тобой, сын?

— Ничего... Они говорят, что расстреляют меня, если Альказар не капитулирует.

— Если этому суждено случиться, поручи свою душу Господу, закричи «Вива Эспанья» и умри, как герой, — ответил Москардо. — Прощай, сын! Целую тебя.

— Прощай, отец. Целую тебя.

Кабелло взял трубку. Москардо сказал:

— Можете не ждать. Альказар никогда не капитулирует!

Сын Москардо прожил еще месяц. Его расстреляли только двадцать третьего августа.

И вот я брожу теперь по подземельям Альказара, в которых отсиживались в течение шестидесяти семи дней его защитники. Крепость превращена в музей и в памятник Москардо и его соратникам.

Безногий инвалид показывает, где помещалась пекарня. Хлеб пекли из зерна, кое-как размолотого на каменном жернове, который приводился в движение мотором мотоциклетки. Вот подземелье женщин и детей. Во время осады в этом темном погребе родилось двое детей и их крестил священник, которого красные прислали из города.

Коммунисты сжигали церкви и из сорока арестованных в Толедо священников расстреляли тридцать, но отказать осажденным в религиозном напутствии они не могли — это было бы не по-испански. К тому же священник принадлежал, если можно так выразиться, к «сменовеховцам» — он усиленно советовал капитулировать, но мессу отслужил и детей крестил... Это — тоже испанский контраст, но вот нечто лучшее: где-то я читал, что в начале столетия, во время восстания в Мадриде, анархисты поднялись на баррикады с церковной хоругвью «Нуэстры Сеньоры», покровительницы города, — анархические убеждения как-то уживались у них с верой в Богоматерь. Все это нам не совсем понятно, но испанцев нисколько не удивляет.

«Кабинет» полковника Москардо — крошечная комнатка, похожая на монашескую келью, с колченогим столиком, железной кроватью и с матрацем, набитым соломой. В соседнем помещении заседал штаб. Во время одного такого заседания в комнате разорвался снаряд. Несколько командиров выбыли из строя. С самого начала осады электричества в крепости, конечно, не было. Освещались коптилками, так памятными нам по первым годам нашей революции. В витринах устроенного здесь музея разложены листы гектографированного бюллетеня, который печатался каждый день и содержал сводку «с фронта». Тут же образцы хлеба, вроде кирпича, которым питались защитники, и кое-какие медикаменты — больше иод, аспирин и бинты из тряпок. В подземной церкви деревянная, по-испански раскрашенная статуя Богоматери, у которой молились осажденные. Посреди церкви могильная плита Москардо. Он прожил после осады еще 20 лет и умер в пятьдесят шестом году. Рядом — могила его расстрелянного сына.

В подземельях темно, сыро. Только изредка из каких-то бойниц в стенах или в потолке льются лучи солнечного света. В некоторые проходы войти нельзя — там еще развалины.

Бомбардировали крепость непрерывно, в нее были выпущены десятки тысяч снарядов, — образцы их лежат теперь в музее рядом со ржавыми, устаревшими пулеметами. После очередной бомбардировки начинался штурм. Республиканское командование было убеждено, что в Альказаре оставалась ничтожная горсточка защитников. Но когда цепи атакующих подходили на сорок ярдов к крепости, из развалин начинали бить пулеметы и летели ручные гранаты. Атакующие отходили, унося с собой убитых и раненых.

Двадцать второго августа произошло событие, преисполнившее души осажденных радостью и надеждой. Низко над развалинами Альказара пролетел бомбовоз, из которого был сброшен пакет. В пакете оказалось несколько банок конденсированного молока и письмо Франко. Генерал поздравлял защитников и сообщал им, что крепость скоро

будет освобождена — армия националистов движется с юга в сторону Толедо.

Два дня спустя, двадцать четвертого августа, осажденные услышали под землей странный гул. Начали прислушиваться. Сомнений быть не могло — под крепость вели подкоп! День и ночь грохотали пневматические сверла, прорезавшие туннель в скале. Из города сообщили, что туннель пробивают шахтеры Астурии и что если Альказар не капитулирует, вся крепость с его защитниками взлетит на воздух.

Бомбардировка не прекращалась. Теперь республиканцы установили гигантские прожекторы, всю ночь освещавшие стены Альказара, чтобы предупредить попытку вылазки. По гулу машин можно было определить, куда именно идет подкоп. Туннель вели в двух направлениях, и эти части крепости были заранее эвакуированы.

Ночью семнадцатого сентября звук пневматических сверл прекратился. Наступила тишина. На рассвете раздался взрыв. Юго-западная башня Альказара взлетела со страшным грохотом на высоту трехсот футов и рухнула градом камней по склонам горы. Над крепостью поднялись облака черного дыма... Но уже республиканцы шли в атаку с трех сторон, с севера, запада и с юга. Первой колонне атакующих удалось войти в крепость. Тут их встретили ураганным огнем. И эта решительная атака была отбита.

Дело приближалось к развязке. Все чаще пролетали над крепостью самолеты франкистов. Единственное ручное радио в Альказаре принимало отрывочные сведения, по которым можно было судить о быстром продвижении армии Франко в сторону Толедо. Наконец, в воскресенье двадцать седьмого сентября, на шестьдесят седьмой день осады, из Альказара увидели, что на позициях снимают артиллерию и эвакуируют ее из города. Несколько часов спустя у крепости появились передовые части Иностранного Легиона.

Свои или очередная хитрость, попытка захватить Альказар при помощи переодетых солдат?

Нет, это был авангард националистической армии. В Альказар вошел командир передовой колонны. Полковник

Москардо появился из-за груды развалин, отдал честь и спокойно отрапортовал:

— Mi general, no hay novedad!

То есть ничего существенного для доклада нет... Так кончилась необычайная эпопея гражданской войны, которая войдет в испанскую историю на вечные времена.

Одна из молодых учительниц-американок, принимавшая участие в поездке, вечером сказала мне в ресторане:

— Ничто в Испании не произвело на меня такого впечатления, как Алькатрас!

Это правда, сударыня. Вы ошиблись только в одном: Алькатрас — название тюрьмы для опасных преступников на острове, в бухте Сан Франциско. А мы были в Альказаре... Но ничего этого я не сказал, чтобы не смущать мою прелестную спутницу.

# В СТРАНЕ ДОН КИХОТА

«Осторожнее, Ваша Милость, это не гиганты, а ветряные мельницы».

*«Дон Кихот». Сервантес*

Дон Кихот пленил мою душу в детстве. Позже появились другие герои — Робинзон Крузо, Д'Артаньян, веселый Паганель и загадочный капитан Немо. Но никто из них не мог затмить Рыцаря Печального Образа. И уже тогда мечтал я поехать в Испанию, в провинцию Ла Манча, в те места, где жил и сражался с ветряными мельницами последний испанский гидальго... Мечте этой суждено было осуществиться лишь полвека спустя. И вот теперь в окне автокара раскрывается передо мной обездоленная земля Ла Манча, сухая, как кожа змеи. Толедо и его Альказар остались позади. По этой выжженной солнцем степи бродит призрак Дон Кихота с медным тазиком на голове вместо шлема, в латах, с тяжелым копьем. За тощим Россинантом с трудом поспевает на муле всегда голодный Санчо Панча. В каждом испанце есть что-то от Дон Кихота. Не потому ли Испания

так же отстала от современности, как и герой Сервантеса, мечтавший о рыцарстве в век, когда рыцарей больше не было?

Солнце так слепит, что лучше закрыть глаза и подремать... В этих местах, совсем близко, городок Тобоза, где жила несравненная Дульцинея. Тобоза останется в стороне и мы не увидим домика разбитной крестьянки Анны Мартинец де Моралес, которая послужила якобы прототипом Дульцинеи. Неподалеку отсюда город Аргамасилья, там по роману жил и умер славный гидальго. Дом в Аргамасилье, в котором останавливался Сервантес, теперь превращен в музей. В нем собраны издания на всех языках похождений «Хитроумного гидальго Дон Кихота Ламанчского». В России первое издание книги Сервантеса вышло в 1769 году под названием «Неслыханный чудодей, или Удивительные и необычайные приключения странствующего рыцаря Дон Кишота».

Не на этой ли ухабистой дороге произошла встреча

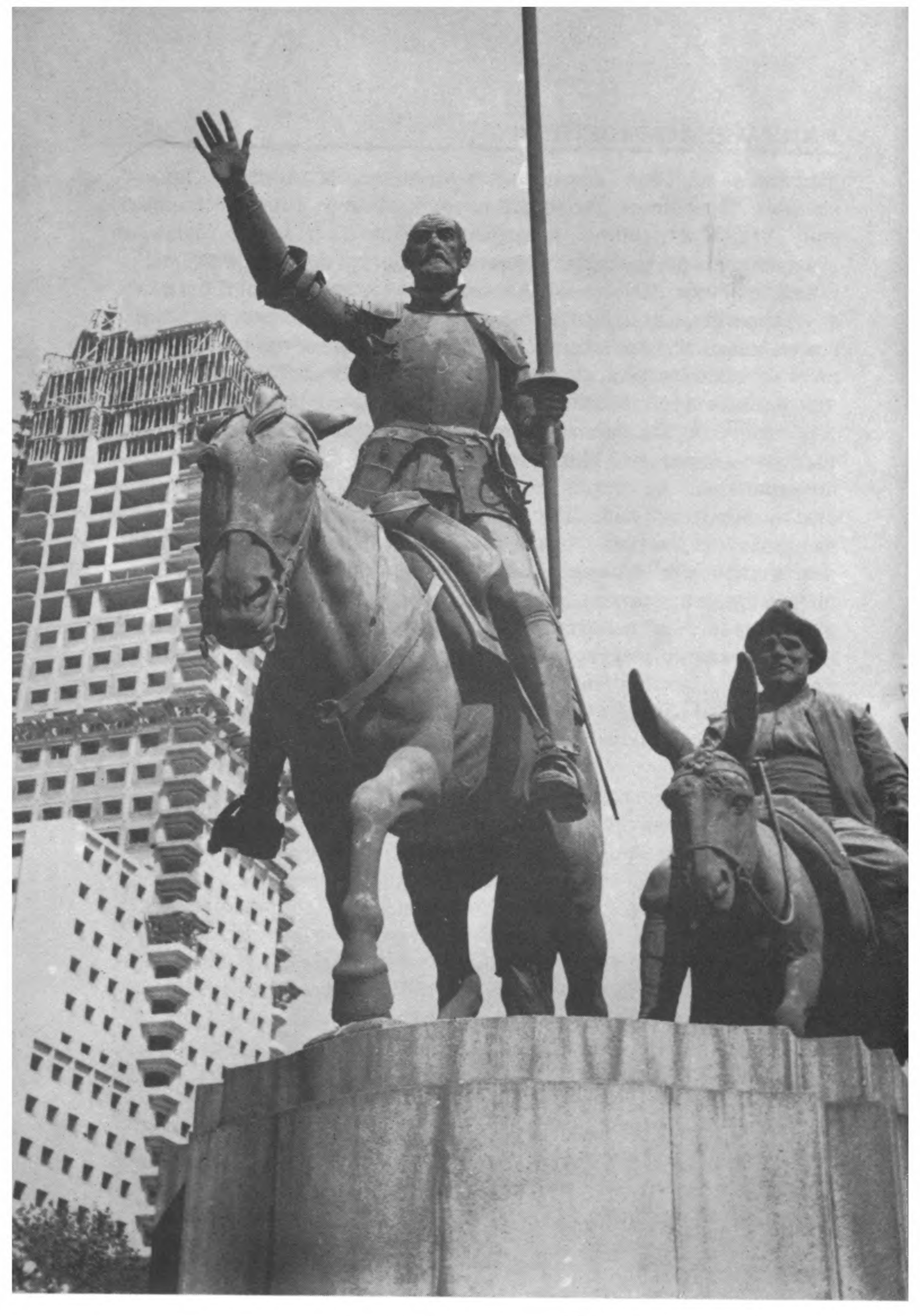


**Ветряные мельницы в стране Дон Кихота**

рыцаря с каретой похищенных принцесс и дуэль с проклятым бискайцем, который отрубил Дон Кихоту половину уха в страшном и неравном бою?.. Должно быть, с начала семнадцатого столетия дорогу, по которой мы ехали, чинили не часто. Автокар подбрасывает на бугре, я открываю глаза и думаю, что сон продолжается: на ближайшем холме машет крыльями белая ветряная мельница — такая самая, с какой сражался Дон Кихот. Нет, это не мое воображение: вот еще одна мельница, и еще... Как много в Ла Манче чудовищных гигантов, превращенных в мельницы! Появляется и Санчо Панча. Он едет по тропинке в сторону ветряка, верхом на муле, толстый, коротконогий, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. И, верно, крепко пахнет чесноком. Замечательно, что в Ла Манче Дон Кихот и Санчо Панча — не литературные образы, а живые люди. Все здесь верят, что гидальго в действительности существовал. В каждом городе покажут вам его потомков, и нет такого придорожного трактира, где бы не останавливался во время странствований Дон Кихот и его лукавый оруженосец.

Перед отъездом в Испанию я перечел необычайные приключения Дон Кихота. Сервантес написал лучшую книгу своей жизни, когда ему было уже пятьдесят восемь лет, да и то, вероятно, потому, что в севильской тюрьме, где он сидел за участие в довольно темной денежной операции банкира Симона де Лима, ему решительно нечего было делать. В тюрьме Сервантес сидел много раз, жизнь его была полна опасных приключений и неудач. Он участвовал в морской битве с турками в Лепанто, на борту каравеллы «Маркиза», трижды был ранен выстрелами из аркебузов и левая рука его навсегда осталась парализованной, «для большей славы правой руки», как впоследствии говорил сам Сервантес.

После четырехлетней службы в Африке он ушел из армии и отправился домой, в Испанию. Неподалеку от Марселя пираты захватили судно, привезли Сервантеса в Алжир в цепях, и пять лет он провел в рабстве у Гассан Паши. Несколько раз пытался бежать из плена и всякий раз неудачно. В конце концов в 1580 году Сервантеса выкупили за 300 дукатов. Что он делал все последующие годы, до появления Дон Кихота? Писал



Дон Кихот и Санчо Панча

стихи и прозу, не особенно удачную, вечно нуждался в деньгах, женился на дочери бедного дворянина и стал, наконец, сборщиком податей в Ла Манче и Андалузии. Так как денег у крестьян не было, он забирал у них для Великой Армады оливковое масло и зерно. Неосторожно забрал он даже зерно, принадлежавшее севильскому кардиналу. Сборщика податей за это отлучили от церкви. Во время своих блужданий по дорогам Ла Манчи и Андалузии, питаясь в трактирах, ночуя на постоялых дворах, Сервантес видел бесконечное множество людей, которых он вывел затем в своем романе.

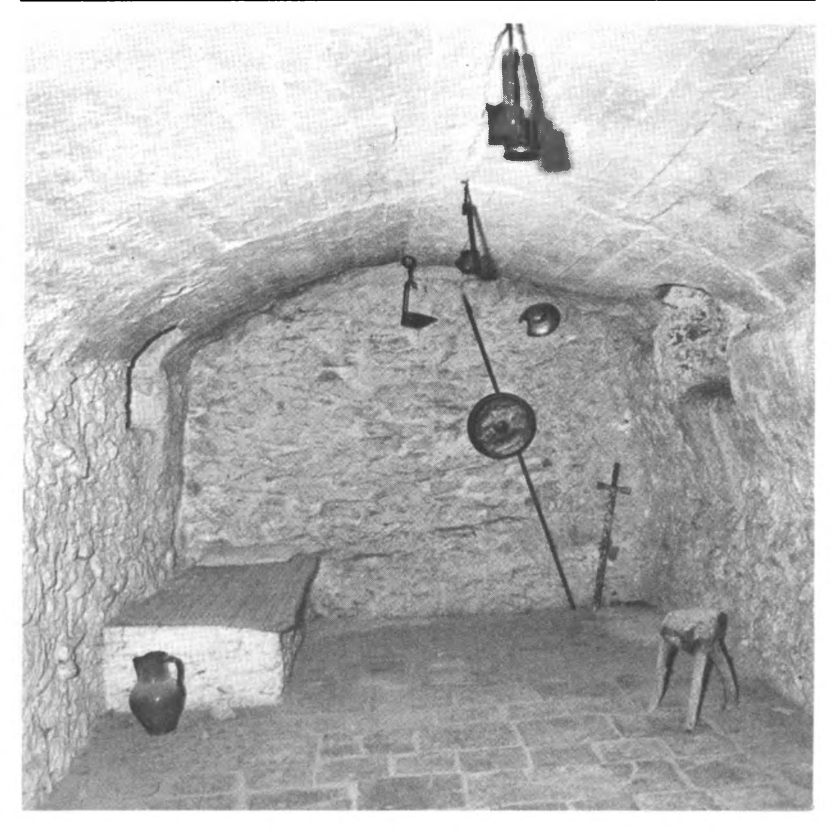
Дважды он сидел в тюрьме как соучастник мошеннической финансовой операции, и, кажется, совершенно зря, у него были все расписки и документы. Почему-то Сервантес отказался предъявить их суду. В 1605 году его снова бросили в темницу, на этот раз по обвинению в убийстве гидальго, которого нашли умирающим на улице перед домом Сервантеса. Грудь гидальго была пронзена шпагой. Раненый отказался перед смертью назвать имя человека, с которым он дрался на дуэли под покровом севильской ночи. Подозрение пало на Сервантеса, хотя все в городе отлично знали имя убийцы, мстившего за свою поруганную семейную честь... Первый том «Дон Кихота» появился в 1607 году, второй только семь лет спустя. Слава пришла к Сервантесу слишком поздно, а деньги так никогда и не пришли: издатели и в те времена не отличались особой тароватостью.

Перед смертью он принял монашеский постриг, облачился в рясу ордена францисканцев, и так, в монашеском одеянии, автор «Дон Кихота Ламанчского» был похоронен в Мадриде в безымянной могиле бедняков.

Надписи на могиле не сделали и обнаружить ее никогда не удалось.

Дорога на Кордову ведет через каменистые равнины и холмы Ла Манчи. Дальше, к югу, пейзаж быстро меняется. Вместо виноградников Кастилии — оливковые рощи. Провинция Кордовы — центр оливковой промышленности Испании.

Местность становится гористой, начинаются отроги



**Подземелье в тюрьме, где Сервантес писал «Приключения Дон Кихота»**

Сиерра Морены. Наш шофер Мигель больше не шутит и не разговаривает с пассажирами: дорога идет зигзагами, петлями, и надо следить, чтобы машина не слетела в пропасть. Исчезают постепенно приземистые оливковые деревья с искривленными стволами, появляются ели и сосны, а потом скалы, голая земля, нагромождение камней... Добрый час продолжается подъем. Становится прохладно. С далеких снеговых вершин тянет холодным ветром.

Но внезапно за поворотом открывается внизу зеленая долина и начинается спуск. Вот она — Андалузия! Вдоль дороги уже гигантские кактусы с колючими плодами и

желтыми цветами. Отсюда начинаются счастливые места. Повеселевший гид мне говорит:

— В Кордове вы увидите самых красивых женщин в Испании. У нас есть поговорка: бери лошадь из Йемена, муллу из Мекки и женщину из Кордовы...

Лошадь и мулла мне не нужны, но на красивых женщин поглядеть всегда приятно. До города, однако, еще далеко. Пока видны лишь оливковые рощи, поля и убогие хижины сезонных рабочих, живущих под соломенными навесами. До механизации в этих местах далеко. Пашут на рогатом скоте, а зерно молотят так: по набросанным снопам ходят кругом ослики, запряженные в некое подобие санок, поднимая столбы золотой пыли. Места эти называются «сковородкой Испании» и даже у осликов головы завернуты в тряпки, чтобы спасти их от теплового удара. Время от времени попадаются и заброшенные деревни «деспобладос». Земля, главное богатство Андалузии, не может здесь прокормить человека.

Триста километров за день по плохим испанским дорогам — немалый перегон. Все в автокаре с облегчением вздыхают, когда появляется, наконец, Кордова.

Въезд в город через сторожевую квадратную башню римских времен и величественный каменный мост, переброшенный над жалкой, мелководной рекой. Неужели это и есть Гвадалквивир, по-арабски — Гуад Эль Кебир, Большая Река? Сколько раз слышали мы пушкинские строфы:

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит,
Гвадалквивир.

Какое разочарование... Гвадалквивир не шумит и не бежит, а очень лениво течет, огибая песчаные мели. Воды в реке так мало, что ослики переходят ее вброд, иногда при этом ложатся и с наслаждением купаются. Во времена владычества римлян по Гвадалквивиру поднимались галеры до самой Кордовы. Теперь река открыта для навигации только около Севильи, а дальше она мелеет и постепенно заносится песками.

В первый момент Кордова не производит особого

впечатления. Большой, довольно шумный торговый город. Отели, кафе, магазины. Но если уйти с площади Гран Капитан в большие аллеи, усаженные пальмовыми деревьями, с которых свешиваются тяжелые гроздья фиников, если свернуть в боковые улицы с голыми стенами домов, за которыми скрыты удивительные патио или подняться к мечети, вы почувствуете тайну Кордовы и какую-то особенную восточную ее атмосферу.

Во времена арабского владычества в Кордове было двести тысяч домов, множество дворцов и триста мечетей. Университет Кордовы привлекал ученых со всех концов Европы. Калифы Кордовы гордились своим знанием алгебры. Абдурахман III приходил в гости беседовать к еврею Бен Иошуа. Нигде в мире поэты не пользовались таким почетом. Халиф платил Ибн Сауду за каждую строку его поэмы по алмазу. Впрочем, в те времена поэтов почитали во всех городах Испании. Когда Рахман Эддин приехал в Севилью, калиф встретил поэта у ворот города с пышной свитой и проводил его к себе в Альказар. У входа калиф поддержал стремя и помог Рахман Эддину сойти с лошади. Все были изумлены подобной честью, но калиф объяснил:

— Поэт — избранник Божий. Мы живем в его песнях. Он или дает нам бессмертие, или отнимает его.

Кордова была городом высокой культуры, в котором собрали все лучшее, что мог дать Восток. Не удивительно, что именно здесь в восьмом веке калифы задумали построить мечеть неслыханных размеров и красоты.

Тысячи колонн из цветного мрамора, оникса, алебастра и яшмы были привезены для «Мескиты» Кордовы из Константинополя, Греции, из Италии, с разных концов Испании. Колонны эти все разные, даже не подходят друг к другу размерами, но строители мечети утверждали, что сделали это нарочно: только Аллах может создавать абсолютную гармонию и совершенство, а простым смертным не следует с Аллахом соперничать... Калиф Абд Эль Рахман отдал на постройку все свои сокровища. Для потолков нужны были кедры ливанские. Из Дамаска выписали лучших мастеров по позолоте — «стены были позолочены так, что от блеска их можно было ослепнуть». Вся мечеть днем была залита солнечным светом, а во

время вечернего намаза загорались четыре тысячи лампад. Девятнадцать открытых арок соединяли мечеть с благоуханным апельсиновым садом, который сохранился до наших времен. Здесь правоверные совершали омовения у фонтанов, прежде чем войти в храм. В дни Рамазана в мечети молилось восемьдесят тысяч человек.

Что же стало с арабской Кордовой? После изгнания неверных кастильские конквистадоры сожгли миллион арабских книг и бесценных рукописей библиотеки, уничтожили



**Главная мечеть Кордовы, превращенная в католический собор**

все мечети, кроме этой, самой главной, да и то потому, что жители города, гордившиеся своей «мескитой», воспротивились ее уничтожению. Заодно стерли с лица земли и синагоги. В Кордове сохранилась одна-единственная молельня, такая незначительная, что ее попросту забыли разрушить.

Большую мечеть превратили в собор, а минарет в колокольню. Три столетия спустя ревностное духовенство решило соорудить большой алтарь в самом центре здания, как это обычно делается в Испании. Множество замечательных колонн было уничтожено, и *внутри* «мескиты» выстроили очень пышную церковь в стиле Ренессанса, с алтарем, ризницей и хорами. Все это кажется каким-то диким анахронизмом посреди единственной в своем роде мечети. К чести жителей Кордовы надо сказать, что они всячески противились этому вандализму и даже король Карлос V, приехавший в Кордову после окончания работ, с негодованием воскликнул:

— Теперь вы имеете церковь, которую можно увидеть повсюду! А раньше у вас было нечто единственное в мире...

И все девятнадцать открытых арок, через которые в мечеть шло благоухание из сада и лился солнечный свет, давно были замурованы, чтобы создать внутри привычный для католических храмов полумрак.

Какой-то грустью веет от этой заброшенной мечети-церкви. В боковых приделах теплятся огоньки свечей. Старухи в черных кружевных наколках стоят на коленях и беззвучно шепчут молитвы у подножия раскрашенных деревянных Мадонн.

Самое интересное в Кордове — это арабский и еврейский кварталы, узкие улицы, напоминающие русло высохшей горной речки. Белые и какие-то слепые фасады домов без окон, тяжелые ворота, окованные железом. Но ворота эти гостеприимно открыты, и если войти, попадаешь в патио, имеющееся в каждом доме Кордовы.

Патио — душа дома, его гордость. Это небольшой дворик, мощенный мраморными плитами. В середине фонтан или высокая пальма, а вокруг олеандры и широкие зеленые листья бананов, цветы на клумбах, цветы в горшках, в окнах, на внутренней открытой галерее, на стенах.

В жаркие часы над патио протянут парусиновый навес, дающий тень и прохладу. Под балюстрадой висят картины, расставлена мягкая мебель. Здесь отдыхают во время сиесты, здесь собираются по ночам, сюда заходят друзья посудачить и выпить бокал золотистого хереса.

В арабских и еврейских домах живут теперь местные аристократы, военные, чиновники, адвокаты, но первоначальный их восточный стиль сохранился. Только новые владельцы у входа в стене устроили нишу, поставили в ней небольшую статую Богородицы, перед которой по вечерам горит лампада.

Я видел патио богатых людей с мраморными статуями, экзотическими цветами и мебелью, которая сделала бы честь любому салону. На улице Иегуды Леви мы осматривали патио дома, населенного беднотой. На стенах этого дворика развешана *тысяча* горшков с геранью, и надо видеть, с какой любовью хозяйки поливают эти цветы при помощи специальных леек, прикрепленных к длинным палкам.

На улицах Толедо, закованного в древние крепостные стены, нет ни одного дерева. Улицы Кордовы тонут в зелени. Здесь впервые я увидел, как апельсиновые деревья растут вдоль тротуаров. На этих деревьях висело множество еще зеленых плодов. Другие улицы усажены олеандрами с белыми и розовыми цветами, а широкие бульвары — мощными пальмами с пудовыми гроздьями свисающих фиников. Очень мне хотелось узнать, кто собирает этот уличный урожай апельсинов и фиников, но спросить было не у кого.

И Кордова имеет свой Альказар — султанский дворец, который тридцать лет строили тысячи рабов. Что осталось от былого великолепия? Султанские сады с фонтанами, анфилады комнат с драгоценной мозаикой, сквозные галереи, мраморные кружева в гареме, гигантские термы, в которых во время купания одалисок играли на флейте слепые музыканты.

Множество легенд связано с Алькazаром Кордовы. Здесь бродит тень красавицы Марии Падильи, возлюбленной Педро Жестокого, оживают истории «Тысяча и одной ночи»... Все это в далеком прошлом, заброшено, никому больше не нужно. Это кладбище старины. Кордова умирает с величественным достоинством.

Поздно ночью я вернулся на площадь Гран Капитана. «Новио» прогуливались со своими подругами с ленивой грацией матадоров. Девушки, действительно, были здесь лучше, чем в Мадриде, — смуглянки «моренас», стройные, с гибкой талией и жгучими глазами. Или мне так показалось в лунном, обманчивом свете? В. И. Немирович-Данченко, побывавший в этих местах в начале столетия, уже тогда писал: «Андалузянка стройна и легка, как газель, у которой она позаимствовала глаза, большие, полные неописуемого выражения...»

А вот как описывал севильянок сто лет назад Д. Григорович: «Походка их и приемы проникнуты чем-то неуловимо быстрым, смелым, игривым, кокетливым; невообразимая миловидность и грация движений, с каким несколько раз в секунду женщина раскроет и сложит веер, уверенность во взгляде и поступи — все это, в соединении с красотою типа и выражением чего-то страстного в каждой черте лица и в каждом движении, делает их обольстительными выше всякого описания: при встрече с ними часто удерживаешься, чтобы не ахнуть; сердце невольно вздрагивает...» Олэ! Олэ!

У террасы кафе, где я устроился на отдых, остановилась повозка, на которой было механическое пианино-шарманка. Старик завертел ручку... Нет, это была не «Санта Лючия». После нескольких вступительных аккордов полилась модная греческая песенка «Никогда в воскресенье» и мул, запряженный в повозку, как-то сразу поник головой, — должно быть, песенка эта ему смертельно надоела. Старик сыграл ее дважды, все крутил и крутил ручку своей шарманки, а в это время его компаньон, потомок мавров с небритым лицом разбойника, обходил столики, протягивал шляпу и говорил:

— Para los artistos! Para los musicos!

И в шляпу артиста и музыканта летели монеты.

# СЕВИЛЬЯ

«Кого Бог любит, тот живет в Севилье».

*Андалузская пословица*

Старый открытый фаэтон, в который были запряжены две белые клячи, медленно вез нас по ночным улицам Севильи, усаженным высокими пальмами. Время от времени кучер оборачивался, тыкал кнутовищем в портал церкви или фасад дворца и что-то говорил, — мы ни слова не понимали. Должно быть, он гордился своим городом и показывал нам достопримечательности, но каждый из нас молча думал о своем. Я думал о севильянке Лауре из «Каменного Гостя» и слышал ее голос:

Приди — открой балкон. Как небо тихо!
Недвижим теплый воздух: ночь лимоном
И лавром пахнет; яркая луна
Блестит на синеве густой и темной.

Небо было тихо, теплый воздух недвижим и яркая луна блестела сквозь пальмовые ветви... Я знал, что такой Андалузии, как она изображена в «Кармен», не существует, что гитары и кастаньеты можно теперь услышать только в кабарэ и что севильянки больше не выходят на балкон для серенады. Как трудно было расстаться с этими милыми и привычными образами! Но ведь правда, было в этой ночной прогулке по тихому, романтическому городу что-то особенное, чего я раньше нигде не испытывал. Где еще думать о Дон Жуане, как не в Севилье, где показывают его могилу? Может быть, под этим балконом в квартале Св. Креста Фигаро поджидал появления Розины. А по ту сторону Гвадалквивира, в рабочем предместье Трианы, Проспер Мериме встретил работницу табачной фабрики Кармен... В севильской тюрьме по обвинению в убийстве сидел Сервантес.

Под сводами королевского собора, который я завтра увижу, покоятся останки Христофора Колумба. Сколько образов, какая жажда ничего не пропустить, все увидеть, все запомнить — навсегда, на всю жизнь!

Старый город освещен газовыми фонарями. Мы выехали на какую-то площадь. Говорят, в Севилье есть сто одиннадцать площадей. Кучер объявил, что дальше ехать нельзя: улицы в квартале Санта Круз слишком узкие для его экипажа. Он получил на чай и на прощание показал дом с белым фасадом:

— Каза Мурильо.

В этом доме 3 апреля 1682 года умер Бартоломео Мурильо, верный сын Севильи, украсивший церкви и музеи своего города светлыми и ясными полотнами, в которых сливалось божественное и человеческое начало. На этой площади Альфаро стояла церковь, в которой Мурильо был похоронен. Наполеоновские войска церковь сожгли, и в огне погибло все, включая и гробницу, но севильянцы говорят, что прах великого художника здесь, в земле, под плитами этой площади.

Ворота дома Мурильо были открыты. Мы вошли в патио, такое небольшое, что для фонтана или дерева в нем не нашлось места, а было только несколько горшков с цветами. Внутренняя лестница вела наверх, в жилые квартиры, но мы не решились идти дальше. Казалось, в этот час в доме не было ни души.

Видел я улицы-коридоры в константинопольской Галате, в старой Венеции и в Толедо, но таких живописных переулков и тупиков, как в этом квартале Св. Креста — встречать еще не приходилось. Со стен свешивались глицинии и ползучие розы. Газовые фонари придавали белым фасадам домов и окнам за железными решетками какую-то особенную нереальную атмосферу театральной декорации. В былые времена под окнами этими простаивали ночи напролет, завернувшись в плащи, севильянские новио, занимавшиеся, по местному выражению, «ощипыванием индейки», т. е. весьма платоническим ухаживанием за дамой своего сердца, отделенной от страдальца кованой решеткой. Теперь ухаживание приняло менее романтические, но более доступные формы: в распоряжение молодых людей предоставлены все городские парки и сады Альказара.



**Фламенко**

Мы долго бродили по лабиринту еврейского квартала без плана, без цели, наслаждаясь прохладой и синевой ночи. Послышалось стройное пение нескольких голосов. На площадке, засаженной акациями, у фонтана, расположилась группа подростков. Они пели «фламенко» и ритмично били в ладоши.

Почти каждый вечер нас возили в кабаре, на пение и танцы «фламенко», и если я до сих пор об этом не писал, то только потому, что из всех испанских впечатлений выступления этих профессиональных и не всегда хороших артистов казались мне самыми слабыми. Я знал Аржантину и Кармен Амайю, видел на сцене Аржантиниту, Хозе Греко, Антонио и Росарио, лучших испанских танцоров и певцов в мире. Чем могли поразить кабаретные артисты Мадрида, Кордовы или Севильи, по пять раз в вечер устраивающие свои получасовые сеансы для торопящихся туристов? Но эти мальчики на площади пели и били в ладоши для себя. Это была Испания настоящая, не выдуманная и не для богатых иностранцев.

Утром меня разбудил веселый трезвон колоколов. Был день Вознесения, и только выйдя на улицу, я понял, что пропустил нечто важное: только что закончилась большая церковная процессия, и широкое авеню было черно от людей, расходившихся от собора по домам. Какая досада! Нас не предупредили, что в это утро статую Богородицы вынесут из собора под бой барабанов, звуки труб и церковные песнопения, что весь день Она проведет в главном алтаре собора и лишь вечером вернется в свою капеллу. А я так хотел послушать «Саетас» — народные гимны в честь Мадонны, которые импровизируют уличные певцы. В мотивах их причудливо переплетается заунывное пение муэдзина с минарета и рыдания синагогального кантора. Знаком я был с этими «Саетас» по замечательной пластинке, напетой Рафаэлем Ромеро.

Оставалось только поглазеть на многотысячную толпу. Женщины все были в черном и в кружевных мантильях, которые надевают теперь только для посещения церквей. Было немало крестьян, неловко чувствовавших себя в праздничных костюмах и в плоских, широкополых кор-

довских шляпах. Посреди улицы шел громадный рыжий каноник и нес в свой приход Распятие, участвовавшее в процессии. Каноник на ходу перекидывался с толпой шутками. Кто-то протянул ему бутылку содовой воды, он остановился, отпил несколько глотков и весело зашагал дальше, еще выше держа черный крест над толпой.

Вечером я отправился в собор посмотреть проводы Богоматери. В капитуле шла служба. Полумрак собора прорезали разноцветные солнечные лучи, падавшие вниз из высоких окон. Священники громко и монотонно пели латинские молитвы, и меня поразили два добродушных падре. Одной рукой держали они молитвенники, а другой — мерно и в такт пению обмахивались веерами, и даже с каким-то чисто андалузским шиком с треском раскрывали и закрывали их.

В ожидании конца службы я пошел посмотреть на «Св. Антония», удивительное создание Мурильо в одном из боковых приделов. А в это время в главном алтаре уже готовились к выносу Богородицы. По случаю праздника статую облачили в красное парчовое платье, а руки Мадонны были унизаны бриллиантовыми кольцами и браслетами. Эта любовь к украшению драгоценностями статуй святых очень характерна для Испании.

Не могу вспомнить, где именно, в Севилье или в Гранаде, видел я нечто меня сразившее: очень реалистично сделанную статую Христа, у которого были настоящие волосы. В эти волосы воткнули три бриллиантовые стрелы... Я не поверил бы, если бы не видел этого своими глазами и, не удержавшись, спросил по-французски падре, который показывал собор и давал объяснения:

— Почему в волосы Христа вставлены бриллиантовые украшения?

— Эти стрелы символизируют Отца, и Сына, и Святого Духа, — совершенно естественным тоном ответил он мне.

— Бриллианты на статуе Богородицы и даже Христа не имеют цены. Разве нет опасности кражи? Кто охраняет эти сокровища?

Тут настал черед удивляться священнику. Он посмотрел на меня с сожалением, явно не понимая, как подобная ересь могла прийти человеку в голову.

— Никто не охраняет, — сказал он с достоинством. — Наши воры крадут у людей, а не у Богородицы.

Тем временем сорок человек забрались под специальную платформу, на которой была установлена статуя Богоматери. Быть «катальщиком» Мадонны — должность почетная, и не каждому дано потрудиться во славу Пречистой. Бархатный полог опустили до самой земли, так что катальщиков не было видно. Процессия образовалась. Впереди шли с зажженными свечами какие-то люди в черном, с благочестивыми, постными лицами. Вероятно, в Страстную Неделю они же играют роль босоногих «пенитантов». За ними двинулись мальчики в белых кружевных накидках, священники попарно и в самом конце епископ в своей пышной мантии, благословлявший толпу. По удару серебряного молотка Богородица поднялась над толпой, рассталась с алтарем и медленно поплыла вперед, сверкая своим убранством. Только сделала процессия два или три десятка шагов, как снова ударил молоток и все остановилось. Сорок катальщиков получили минутную передышку, а затем по сигналу двинулись вперед.

Я внимательно вглядывался в окружавшие меня лица. В большинстве это были немолодые женщины в кружевных мантильях. Они наскоро крестились, смотрели на Богородицу, радостно Ей улыбаясь и кивая головами, словно Она была им старой и близкой знакомой.

Во всех книгах о Севилье можно прочесть такое двустишие:

Quien no ha visto a Sevilla
No ha visto a Marvilla.

То есть, кто не был в Севилье, не видел чуда.

Чудо — это прежде всего собор, самый большой католический собор в мире, больше Нотр Дам де Пари, на двенадцать метров длиннее собора Св. Петра в Риме. Построили его на месте мечети, разрушенной после изгнания мавров. Севильянское духовенство решило ничего не жалеть, чтобы сделать собор великолепным. Архитекторам сказали:

— Постройте церковь единственную в мире. Пусть

будущие поколения думают, что мы были сумасшедшими.

На осуществление этого пожелания ушло сто восемнадцать лет. Описывать собор и его красоту в очерке нельзя, для этого понадобились бы целые книги, и такие книги уже давно существуют. Здесь тридцать семь капелл, и в каждой ежедневно идут службы. В королевском приделе показывают гробницу из золота и серебра, в которой покоится св. Фердинанд, отвоевавший Севилью у мавров. В виде особого одолжения серебряную стенку королевской усыпальницы отодвигают. За стеклом видно нечто очень страшное и тленное, в бархатных одеяниях. Здесь же гробница кроткой Марии Падильи, возлюбленной Педро Жестокого.

Но Христофор Колумб погребен не в боковом приделе, где хоронили королей, а у главного алтаря. Ему воздвигли великолепный мавзолей из темного мрамора. Четыре рыцаря-гиганта в костюмах четырех провинций Испании несут на своих мощных плечах саркофаг, в котором покоится прах великого мореплавателя. Христофор Колумб и после своей смерти продолжал странствовать. Его похоронили сначала в Сан Доминго, потом перевезли в Гавану, а когда Куба освободилась от испанского владычества, Колумб вернулся в Испанию, в севильский собор, на украшение которого ушло столько золота из новооткрытых им американских владений.

Существует большая литература, доказывающая, что Христофор Колумб был мараном, т. е. крещеным евреем. Если это так, то, вероятно, он — единственный в мире крещеный еврей, похороненный с королевскими почестями в величайшем католическом соборе.

Второе чудо Севильи непосредственно примыкает к собору. Это — Хиральда, бывший минарет мечети, к вершине которого пристроили четырехэтажную колокольню. Мавританский стиль внизу, готический наверху, а вместе с тем Хиральда, действительно, кажется каким-то архитектурным чудом. Недаром севильянцы, давшие разрушить мечеть, не позволили притронуться к минарету, которым они испокон веков гордились.

С какой бы стороны путник ни подъезжал к Севилье, он уже издали видит легкий силуэт Хиральды, возвышающийся над городом. И не так уж велика эта коло-



**Минарет Хиральда**

кольня по современным понятиям — всего девяносто пять метров, но ведь когда ее строили! К стыду своему должен признаться, что у меня не хватило мужества пешком отправиться на вышку Хиральды, где прикреплена статуя Веры, вращающаяся при малейшем дуновении ветра. Жаль, оттуда открывается великолепный вид на окрестности. После «Реконкисты» четыреста тысяч мавров были изгнаны из Севильи. Неверных гнали из города к морскому побережью солдаты — кастильцы, закованные в тяжелые железные латы. Выйдя на равнину, мавры остановились, в последний раз оглянулись назад, увидели Хиральду. И тогда начался «великий плач». Но солдаты не дали им оплакивать потерянный рай и копьями погнали толпу дальше.

В каждом старинном испанском городе есть свой Альказар или Альгамбра — одновременно и крепость, и королевский дворец. Севильский Альказар был создан арабскими султанами со всей роскошью Востока. Бесконечная анфилада мраморных комнат, подковообразные арки в стенах, через которые открывается вид на султанские сады с лучшими розами Испании.

Жарким полымем горят
Из-под кружева мантильи,
Обольщая жадный взгляд,
Розы пышные Севильи.

В садах еще и теперь бьют бесчисленные фонтаны. В севильском Альказаре калифы принимали ежегодную дань королей провинции Леона: сто красивейших готских девушек. Некоторых калифы оставляли в своем гареме, других посылали в подарок вельможам и фаворитам. В Альказаре поселился Педро Жестокий и красавица Мария Падилья, которую он приказал считать королевой.

Католические короли никогда не любили мусульманского Альказара. Его предполагали разрушить, как систематически разрушали все, напоминавшее о многовековом владычестве мавров. Дворец был спасен от гибели только потому, что Филипп II увлекся постройкой Эскуриала под Мадридом, и крепость севильская была попросту заброшена. Говорят, Альказар когда-то соединялся подземными

ходами с Золотой Башней, несущей стражу на берегу Гвадалквивира. У башни этой выгружали золото, приходившее из Америки. Оттуда и название Дель Оро. При Филиппе Втором крепость превратилась в тюрьму. Здесь держали еретиков, ждавших сожжения на кострах.

С набережными Гвадалквивира, широко разлившегося у Севильи, неизменно связана память об оборвыше Мурильо... Отсюда ушла в Мексику экспедиция Фернанда Кортеса. Здесь, на этих берегах, было снаряжено первое кругосветное путешествие португальца Магеллана.

Неподалеку от Золотой Башни, по ту сторону моста, расположено предместье Триана, до сих пор пользующееся дурной славой. Там живут севильские цыгане. Трудно сказать, чем они промышляют. Есть в Испании поговорка, дающая на этот вопрос ответ: Андалузский осел и севильский гитано могут жить воздухом.

В Триане расположены табачные фабрики, на которых работают «сигареры» — внучки и правнучки Кармен. Предместье славится не только своими красавицами — из Трианы вышли две великомученицы, святые Руфина и Юстиния, покровительницы Севильи, тоже бывшие простыми работницами.

По вечерам девушки Трианы прогуливаются по берегу реки в обнимку со своими новио. Особенно заглядываться на них не рекомендуется — новио больше не выходят на прогулку со шпагами или навахами, но любовью они и сегодня не шутят. Случается, однако, севильянка вдруг поднимет на прохожего темные, восточные глаза, на миг блеснет в них лучистый свет и тут же она потупит взор, скроет его за своими длинными ресницами...

В маленьких тавернах звенят гитары. Гитаны поют, бьют в ладоши, веселятся. Там поют:

У Севильи есть Триана,
Где родятся без конца
Молодцы смелее черта
И горячие сердца.

Это — в переводе В. И. Немировича-Данченко, который несколько недель жил в Севилье.

Меня предупредили, чтобы я не разгуливал ночью по улицам Трианы и убрался бы восвояси до наступления

темноты. Все же я зашел в какой-то кабачок, по виду довольно страшный и грязный притон. Вся стена в глубине была уставлена винными бочками. Кроме хозяина в баре я увидел еще двух стариков. Они спали, сидя за столиками, уронив головы на грудь.

Было жарко, мне хотелось пить, и кое-как, с грехом пополам я объяснил, что хочу получить стакан красного вина, «вино россо». Хозяин внимательно на меня посмотрел, взял с полки двойной стакан и спросил, хватит ли? После чего он подошел к бочке и нацедил белого вина.

— Россо, — упрямо твердил я. — Не бианка, а россо. Кабатчик с презрением выплеснул вино на пол и сказал:

Россо не существует. Говори тинто. Тинто!

— Тинто, пер фаворе, — вежливо попросил я.

Он удовлетворенно кивнул головой и налил из другой бочки стакан вальдепанаса, «крови Андалузии». Вино было терпкое, крепкое и холодное. Очень мне хотелось угостить двух бродяг за столами. Но они продолжали крепко спать, да я и не знал, как предложить им угощение... Допив тинто, я положил на стойку монету. Хозяин дал сдачу — стакан вина стоил две с половиной песеты, т. е. пять американских центов.

— Адиос! — сказал я, выходя на улицу.

— Вайа устед кон Диос! — сказал хозяин. Отправляйтесь с Богом.

Уже темнело. Я решил, что лучше, действительно, отправиться с Богом, и пошел через мост к центру Севильи, где уже загорались голубые фонари.

# ДВА ДОН ЖУАНА

«Скажите мне: несчастный Дон Гуан Вам незнаком?»
*«Каменный Гость». Пушкин*

Образ Дон Жуана сохранится в памяти людей до тех пор, пока на земле будут любить, наслаждаться и умирать. Поэты будут посвящать ему стихи, писатели рассказывать

о жизни севильского обольстителя и спорить о том, кто именно послужил моделью испанскому монаху Тирсо де Молина, который первый создал образ Дон Жуана в драме «Севильский соблазнитель, или Каменный Гость».

Прототипом «Севильского соблазнителя» был порочный Дон Хуан де Тенорио, живший в четырнадцатом столетии. Дружба с королем Педро, богатство и знатность обеспечивали ему полную безнаказанность. Когда утром на улицах Севильи находили труп, женщины крестились и шептали:

— Это дело проклятого Дон Хуана, да покарает его Господь!

Именно этот Тенорио соблазнил донью Анну, дочь командора Уолла (а не жену, как у Пушкина) и убил его на дуэли. Командор был похоронен на уничтоженном теперь кладбище при монастыре св. Франциска. Но еще в конце прошлого столетия Вас. И. Немирович-Данченко видел склеп и каменную статую командора.

Позже, после монаха-драматурга, в Севилье жил распутный Мигель де Маньяра, которого другие писатели вывели в своих произведениях тоже под именем Дон Жуана. Тенорио, как известно, провалился в преисподнюю. Де Маньяра кончил гораздо лучше — он покаялся и стал ревностно искупать свои грехи.

Таким образом, Севилья дала двух Дон Жуанов: одного — грешника, отправленного командором в ад, и другого — святого, для которого, несомненно, было уготовано место в раю... Вероятнее всего Дон Жуан — образ собирательный и принадлежит международному любовному эпосу. Этим и можно объяснить постепенную эволюцию в его литературной трактовке.

Дон Жуан в драме Тирсо де Молина показан великим грешником. Для удовлетворения своих низменных целей и похоти он ни перед чем не останавливался. Это был человек средневековья — грубый, жестокий. Он охотно лгал и легко забывал о своих преступлениях. Кто-то правильно сказал, что самое красивое в Дон Жуане — это обстановка, в которой он действовал: севильская ночь, белые фасады домов, балконы со смуглыми красавицами. Постепенно драматурги и поэты, не устоявшие перед этой красотой, начали окутывать и самого Дон Жуана дымкой



романтики и даже украшать его некоторыми чертами благородства. Мольер, Байрон и Пушкин, выражаясь модным языком, совсем его «реабилитировали», придав образу севильского повесы необыкновенную силу и обаяние.

Пушкин выбрал в качестве модели для своего «Дон Гуана» героя драмы Тирсо де Молина. В 1830 году, когда Пушкин писал «Каменного Гостя», он занимался одновременно и изучением испанского языка. В библиотеке его были учебники, словари и несколько книг на испанском языке, в частности сочинения Сервантеса. Пушкин приступил к «Каменному Гостю», ознакомившись предварительно с тем, что писали на эту тему не только Мольер и Байрон, но и Тирсо де Молина. Пушкинский сюжет весьма близок к оригинальной версии испанского драматурга. Интересно,

между прочим, что Пушкин отказался от современной и казавшейся ему неправильной транскрипции имени героя Дон Жуан и избрал для себя испанское произношение Дон Хуан. По словам исследователя Дивильковского, опасаясь цензуры, которая считала букву «Х» в слове «Хуан» неприличной, Пушкин назвал своего героя Дон Гуаном... В первоначальных записях «Каменного Гостя» поэт писал еще «Жуан» и действие происходило в Севилье. Знаменитая строфа звучала так:

Достигли мы ворот Севиллы.

А затем Пушкин решил перенести действие в Мадрид, и в окончательной редакции осталось «Достигли мы ворот Мадрита». Пушкинский Дон Гуан кончает так же, как и герой драмы Тирсо де Молина: Каменный Гость увлекает его в преисподнюю.

Совсем иная судьба постигла второго севильского Дон Жуана — Мигеля Маньяра. И к нему можно вполне применить пушкинскую характеристику. Он был

Развратным
Бессовестным, безбожным
Дон Гуаном.

Все сходит ему с рук — совращения и насильственные похищения женщин, богохульство, убийства соперников. Это тип демонический, вечный и никогда не удовлетворенный искатель любовных приключений. Едва соблазнив, он уже разочарован и уходит в поисках новой жертвы, снедаемый желанием испробовать на другой женщине силу своего обаяния.

Чем ниже падает распутник, чем страшнее его грехи, тем ближе он подходит к Богу. Дон Жуан нашел Бога и спас свою душу на дне греха, дойдя до последней грани.

Однажды после веселой пирушки он шел по ночной улице и вдруг увидел вдали огни факелов и услышал пение «Де Профундис». Навстречу двигалась похоронная процессия. «Пенитанты» в кагулах с факелами, за ними

священники. Друзья в черном платье несли на плечах открытый гроб.

— Кого вы хороните? — спросил он.

— Это похороны Дона Маньяра, — ответил один из «кающихся». — Помолись за его грешную душу...

Дон Маньяра усмехнулся, шутка показалась ему очень забавной. Он подошел к открытому гробу и взглянул в лицо мертвеца. В гробу лежал он сам...

Наутро прохожие нашли на улице бесчувственное тело Дона Маньяра. Помните у Блока:

Тяжкий плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон Жуан?

С этого дня началось превращение завсегдатая лупанаров в святого. Он вошел в братство Калатравы, которое снимало с виселиц полуразложившиеся тела казненных и хоронило их на кладбище. Он ходил за чумными и прокаженными, спал и ел вместе с ними. Он роздал бедным свое богатство. Дон Жуан публично каялся в своих грехах и преступлениях, носил вериги и власяницу. Все отныне казалось ему грехом. Дон Жуан, убивший в себе плоть, на смертном одре познал великую любовь к Богу.

В яркий солнечный день я поехал в церковь Каридад, где похоронен Дон Мигель де Маньяра. Церковь была построена на его личные средства при больнице для неизлечимо больных и существует до сих пор. Во дворе, под колоннадой, прибита мраморная доска, на которой выгравирован сонет, написанный Маньяра в последний, просветленный период его жизни. Вот заключительные строки философского сонета:

Что значит умереть?
Покинуть страсти иго!
Жизнь — это смерть, горчайшая из всех,
Смерть — это жизнь, сладчайшая, святая.

Не знаю, как действует этот сонет на неизлечимо больных Каридада, но мне лично в этот чудесный солнечный день вовсе не хотелось последовать совету Маньяра и «покинуть страсти иго»... Я вошел в церковь, скромную

по размерам и очень светлую. Было пусто. Только пожилая монахиня, стоя на коленях, читала молитвы. При виде посетителя она прервала молитву, подошла и начала что-то рассказывать по-испански. Потом подвела меня к полотну художника Вальдеса Леаля, который по заказу Маньяра со страшным реализмом изобразил тлеющее тело кардинала в митре и скелет рыцаря в раскрытом гробу. Картина должна показать тщету всего мирского... Когда-то Вальдес Леаль спросил Мурильо, расписывавшего стены в этой же церкви, что он думает о его картине?

— На нее можно смотреть, только зажав нос, — ответил чувствительный Мурильо.

Нет, не за этим приехал я в церковь Каридад. Где же могила Дон Жуана? Монахиня с укоризной на меня посмотрела и поправила:

— Дон Жуана я не знаю. А здесь похоронен почтенный слуга Господа Дон Мигель де Маньяра, да простятся ему все прегрешения...

И при этом набожно перекрестилась. Мы подошли к могиле. На плите было выгравировано:

*Здесь покоится прах величайшего злодея,*
*когда-либо существовавшего на земле.*
*Молитесь за него.*

Монахиня опять начала читать молитву. Надо было как-то отблагодарить матушку за труды. Я вынул бумажку и направился к ящику, в который опускают милостыню для бедных. Монахиня сказала:

— Дайте это мне.

Я смутился и сунул ей бумажку, которая тотчас же исчезла в складках ее широкой синей юбки. Настоящий Дон Жуан — до раскаяния — получил бы от этой сцены большое удовольствие.

В Севилье множество приходов, и каждый имеет собственную Богородицу, и каждый считает, что «его» Богородица лучше и красивее всех остальных. Но нет лучше и красивее Богородицы Надежды, которую в городе фамильярно называют Макареной.

Называют Ее так потому, что церковь, в которой Она пребывает, расположена в бедном квартале Макарена и постепенно имя перешло на святыню. Когда-то это был очень шумный и простонародный район, соперничавший с предместьем Трианы. Но постепенно красочность исчезла. Нет больше ярких костюмов, не слышно гитар и кастаньет, а традиционные андалузские наряды появляются только во время «феерии» на Святой Неделе.

Макарена предстала перед нами во всем своем великолепии. Лицо Богородицы Надежды было каким-то кукольным, и скульптор даже изобразил слезы. Но спросите любого севильянца, и он с гордостью объяснит, что выражение лица Макарены постоянно меняется: временами Она сердится, временами счастливо улыбается. Статуя в бриллиантах, рубинах и изумрудах, с кольцами и браслетами на руках, с нитками жемчуга на шее. Гид сообщил, что драгоценности Макарены оцениваются в сорок миллионов пезет. Сколько на эти деньги можно было бы накормить голодных, нисколько не умаляя красоты Мадонны!

На Страстной, когда в Севилье непрерывные религиозные процессии, выход Макарены носит исключительно торжественный характер. Ее выносят в ночь на пятницу. Процессия покидает церковь в одиннадцать часов вечера, и гид с улыбкой сказал:

— Она выходит из церкви ночью, а возвращается только утром...

Так, в общем, говорят о севильянке, которая прогуляла целую ночь! Но для Севильи Макарена не только глубоко чтимая святая, но и очень близкое, родное существо, с которым люди вполне сжились и которая разделяет все их радости, вместе с ними и плачет, и улыбается.

Наступила еще одна прозрачная, синяя севильская ночь.

Около полуночи три приятеля — молодой француз, итальянец из Нью Йорка и я — заблудились в лабиринте улиц квартала св. Креста. Долго шли мы наугад, пока не забрались в такие места, где уж и фонари стали редкостью. Наконец встретились три человека, мирно разговаривавшие на перекрестке.

Как от этого места добраться до собора? Задайте

такой вопрос парижанину — он извинится и вежливо скажет, что не знает: он не из этого квартала. Но итальянцы и испанцы обожают показывать дорогу и не только объяснят, но и сами поведут куда надо заблудившегося человека.

Севильянцы быстро между собой переговорили и решили:

— Эдуардо вас проводит. Вы сами не найдете.

Мы двинулись в путь. Эдуардо, преисполненный важностью по случаю возложенной на него миссии, шел впереди. Это был совсем молодой парень лет двадцати, смуглый, черноволосый, красивый. Шли молча и довольно долго, пока, наконец, не попали на ярко освещенную и шумную улицу. Здесь предложили мы нашему гиду зайти с нами в кафе выпить.

Уселись за столик и заказали кувшин «сандрии». Это освежающий напиток: красное вино со льдом, ломтиками апельсина, несколькими ложками сахара. Все разбавлено зельтерской водой. Когда разлили вино по стаканам, гид встал, пожал каждому руку и представился:

— Эдуардо Диаз!

Мы тоже представились, чокнулись. Эдуардо сказал:

— A su salud!

— ...Salud, — ответили мы.

Дальше произошло нечто удивительное. Втроем мы не располагали и пятьюдесятью испанскими словами. Эдуардо говорил только на своем языке. Но через несколько минут все о нем было известно — и то, что у него нет сейчас подруги, и что его падре и мадре живут в городе Лохо. Оказалось, наш гид — маляр по профессии, на руках его была плохо отмытая краска. Через два месяца все придется бросить и идти в армию. Он уже получил вызов.

Как мы все это поняли? Не знаю. Эдуардо, например, вынул и показал свидетельство от военного министерства. Это был вызов на сборный пункт в определенный день и сообщение, что он будет служить в авиации, на Азорских островах.

Когда «сандриа» была распита и мы окончательно подружились, он сказал, что зарабатывает очень хорошо — восемьсот песет в неделю, что на наши деньги составляет тринадцать долларов. В Соединенных Штатах, если не ошибаюсь, юнионный маляр получает в *день* два-

дцать долларов, но ведь жизнь у нас значительно дороже, чем в Испании. Там недельная заработная плата в восемьсот песет считается вполне приличной. В большом отеле в Мадриде я разговаривал с женщиной-уборщицей, которая с утра до вечера ползала на коленях по мраморным лестницам и мыла их тряпкой — до половой щетки мадридская отельная техника еще не дошла. Она сказала, что получает в день за свою работу шестьдесят песет, т. е. один доллар.

Когда я проверил это у испанца, хорошо говорящего по-английски, он подтвердил, что такие заработки существуют и это одно из больших достижений Франко: только совсем недавно закон гарантировал минимальную заработную плату в один доллар в день. Раньше и этого не получали.

Вот другие примеры оплаты труда в Испании. Прислуга, работающая шесть дней в неделю, — уборка, стирка, стряпня — получает тысячу песет в месяц (семнадцать долларов), а очень хорошая секретарша, знающая языки, гордится жалованьем в шестьдесят долларов в месяц. Заработок рабочего редко превышает сто пятьдесят — двести песет в день, деревенский батрак получает не больше шестидесяти песет.*

Как живут на эти деньги рабочие? Квартира в расчет не принимается. Либо ее гарантирует хозяин, либо семья обретается в пещере, в подвале, на чердаке. В основе питания в Андалузии лежит суп гаспачо, заправленный томатами, накрошенным луком, огурцами, кусками хлеба, уксусом и неочищенным оливковым маслом, от которого у всех, кроме испанцев, воротит душу. Обед дополняет тарелка бобов или дыня, стоящая на базаре от трех до пяти песет (т. е. пять — семь центов). На рынке я не был, но рынок в Испании повсюду, на улицах и на площадях. Весь день бродячие торговцы что-то продают. Кто выкрикивает «Наранха! Наранха!» (апельсины), кто расхваливает лежащие горами пахучие дыни и арбузы. Мелкая сардина или иная рыбешка доступна даже человеку с ничтожными заработками.

---

* Это заработная плата и цены 1964 года. С тех пор, конечно, произошли значительные изменения.

Думаю, что с платьем, бельем и обувью дело обстоит хуже. При всей хваленой испанской дешевизне многое здесь должно быть людям недоступно. Это особенно печально в стране, где внешнему облику придается большое значение. Я уже писал, что испанец предпочитает голодать месяц, но купит себе элегантный костюм, а секретарша из своего скудного жалованья путем всяческих лишений выкроит и на платье, и на новенькие туфли.

Вернемся к Эдуардо, который что-то расспрашивал нас об Америке на своем языке, а отвечали мы ему на своем. Когда принесли счет, этот настоящий гидальго — бедный, но по-испански гордый человек, — полез в карман и обязательно хотел заплатить. С трудом ему объяснили, что он наш гость. Эдуардо встал, пожал всем руки и на прощанье каждому сказал:

— Адиос, амиго!

Нам было жаль с ним расстаться, но рано утром мы ехали дальше.

Впереди была дорога от Севильи до Гранады.

## ОТ СЕВИЛЬИ ДО ГРАНАДЫ

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей.

*«Дон Жуан». А. К. Толстой*

Севильская ночь кончилась очень поздно. Мы засиделись в клубе, где красивые цыганки плясали «малагенью» и арагонскую «хоту». Гремели каблучками, стрекотали кастаньетами, ритмично били в ладоши и лениво двигали выразительными бедрами. А в дальнейший путь нам пришлось отправиться рано утром. От усталости в автокаре хотелось вдруг завыть тем отчаянным голосом, которым исполняют свои «канте хондо» севильские певцы фламенко.

— Не падайте духом, — сказал нам гид. — Через два часа все мы будем пьяны.

— ?!

— Мы едем в Херес осматривать винные погреба. И там очень хорошо угощают.

В Хересе, действительно, угощали хорошо. Но до этого надо было еще долго ехать долиной Гвадалквивира среди серо-зеленых оливковых рощ и виноградников. В августе в этих местах солнце жжет нестерпимо. Нам повезло, лето выдалось прохладное, от жары мы не страдали, а по вечерам с близкого моря всегда дул свежий ветерок «мореа».

Лет сто назад Херес посетил писатель Д. Григорович. Приехал он сюда на дилижансе, с немалым риском для жизни — дороги кишели разбойниками. Город показался ему убогим, и во всем Хересе нашелся один-единственный трактир, в котором можно было переночевать. Но получить обед так и не удалось: хозяин упорно предлагал гостям горячий шоколад. Ничего иного у него в запасе не было.

Должно быть и сейчас в Хересе осматривать нечего, потому что нас прямо повезли в винные погреба Сандемана. Почему я до сих пор думал, что это не испанская, а португальская марка порто?

В погребах пахло сыростью и спиртом. Вдоль стен — горы бочек с вином, еще не разлитым в бутылки. Вино должно стареть в бочке пять лет, потом его смешивают пополам с уже готовым хересом и оставляют еще лет на пять. Только после этого сухое янтарное вино разливают в бутылки и оно уходит из подвалов во все концы света. Нам дали попробовать херес 1962 года — вкусом он напоминает плохой уксус.

— Его будут переливать, смешивать и через десять лет этот уксус превратится в нектар, — объяснил заведующий складом.

В дальней комнате был накрыт стол, стояли закуски и батарея бутылок.

Начали с сухого вина цвета светлого золота, потом перешли на порто и закончили сладким десертным «шерри», от которого быстро отяжелела и слегка закружилась голова. В комнате, где мы пировали, вдруг стало очень светло и весело, голоса зазвучали особенно звонко, и французы при моем благосклонном участии затянули застольную песенку:

Buvons un coup,
Buvons en deux
A la santé
des amoureux!

Кто в нашей компании был «амурэ», я, собственно, не могу сказать, разве только испанский гид, поочередно влюблявшийся в наших техасских учительниц. Девушки были миловидные, танцевали с ним ча-ча, но дальше этого дело не шло, и наутро гид сидел грустный и немного обиженный. Это сильно сказывалось на его объяснениях, они становились лаконичными.

Чем кончилось посещение погребов я сейчас в точности не могу вспомнить. На прощание каждый из нас получил в подарок по бутылке «шерри». Автокар давно уже катил по направлению к Кадиксу, а мы все еще чокались, пели, восхваляли испанское гостеприимство и клялись, что до конца дней будем пить исключительно Сандеман.

Во всех книгах я читал, что Кадикс — ослепительно белый город. Кадикс не белый, а разноцветный. Вернее, стал разноцветным после 1948 года, когда случилось страшное несчастье: город взлетел на воздух.

Со времени окончания войны испанские моряки вылавливали в море мины и складывали их в предместьях Кадикса. Разрядить мины никто не потрудился. Они были просто оставлены на произвол судьбы, их поливали дожди, жгло неумолимое солнце. И в один трагический день, неизвестно по какой причине, мины взорвались.

До сих пор никто в точности не знает, сколько тысяч жителей погибло от взрыва. Большая часть домов была превращена в груды развалин. Потом Кадикс отстроили заново, но фасады домов, когда-то однообразно белые, стали разных цветов. Один из самых старых городов Испании внезапно стал новеньким и молодым.

Было и другое основание называть Кадикс белым. Вокруг города в низких прибрежных равнинах устроены соляные варницы. Громадные пространства затоплены водой океана, приведенной по каналам. Под африканским солнцем вода медленно испаряется, оставляя на земле плотный ковер серебряной соли. Там, где соль уже собрали, высятся белые, сверкающие холмы.

Говорят, женщины Кадикса славятся красотой. Еще Байрон в «Чайлд Гарольде» воскликнул: «Кто восхитит вас так, как девушка Кадикса!» Но приехали мы в час самый неподходящий для обследования, во время сиесты, когда все красавицы спали за опущенными соломенными шторами. Закрыт был и монастырь капуцинов, где хранится последнее, незаконченное полотно Мурильо «Мистический брак Екатерины Сиенской». Кисть выпала из рук уже смертельно больного мастера. Его увезли в Севилью, где он вскоре умер.

В порту было сонно и тихо. Струился горячий прозрачный воздух. Пахло смолой и мокрыми канатами. Небо неправдоподобной синевы сливалось где-то на горизонте с такой же синевой моря. Какое запустение! А ведь было время, когда в этот порт приходило множество судов за солью, оливковым маслом и вином. Насколько важно было в старину торговать с Кадиксом я понял только позже, вернувшись в Нью Йорк. В Публичной библиотеке, в сборнике старинных документов, опубликованных в «Отечественных Записках», я прочел приказ Петра Великого, который еще в 1723 году назначил в Кадикс российским консулом Якова Евреинова и собственноручно написал ему длинную инструкцию:

«Понеже всех Европейских Наций в Гишпании в городе Кадиксе обретаются консулы, и купцы торгуют товарами северных стран, и через такое многое купечество великия суммы золота и серебра, из того города вывозят, и тем себя обогащают, а торг их больше состоит мачтами, досками и иными лесными товарами, которые употребляются к строению домов и кораблей, також-де канатов, в смоле, рыбном жире, сале, воске, меде, железе, стали, холстах и в иных многих товарах, которые за помощью Божескою в России доброволъно обретаются... того ради ехать тебе в Гишпанию с князь Иваном Щербатовым, обоим под именем Волонтеров (как и прежде многие Российские люди ездили), а как в Гишпанию въедете, то тебе ехать в Мадрит к обретающемуся тамо Министру Князю Голицыну, которому велено тебя при тамошнем дворе объявить и о житье твоем в Кадиксе, и о торговле Российскому народу исходатайствовать Указ, а Щербатову велено ехать прямо в Кадикс, и там с купцами

тамошней нации, а не с другими получить знакомства и тайным образом разведывать о той коммерции...»

Не знаю, насколько успешна оказалась миссия Якова Евреинова и князя Щербатова, но из всех городов Испании только в Кадиксе по выбору Петра был Российский консул.

Чем ближе к морю, тем меньше оливковых рощ и зелени. Появляются голые холмы, солончаки, соль поблескивает на солнце. Над равниной летят аисты, направляющиеся в Африку и все чаще парят в воздухе степные орлы.

Мы проезжаем Алхесирас, и я мучительно хочу вспомнить: какой тут был подписан договор, о котором я смутно помнил еще с детства? Помучившись, заглянул в Британскую Энциклопедию. Оказывается, в апреле 1906 года заседала Алхесирасская конференция, решившая судьбу Марокко и фактически отдавшая его под протекторат Франции.

У набережной Алхесираса пришвартованы рыбачьи баркасы с громадными фонарями для ночной ловли сардин. Отсюда как на ладони виден соседний Гибралтар — последняя скала Сиерры Невады, врезавшаяся в море.

Путешествовать по Европе теперь стало очень просто, паспортные формальности почти устранены. Но граница между Испанией и Гибралтаром охраняется необычайно, словно с часу на час надо ждать объявления войны. Кажется, делается это для борьбы с контрабандой (которая, впрочем, процветает здесь) и для контроля испанских рабочих, стремящихся в Гибралтар в поисках высокой платы.

Паспорта отбирают, штемпелюют. Сначала испанские, а затем английские чиновники тщательно все сверяют и заглядывают в лица: не контрабандист ли? В нашем автокаре контрабандистов не оказалось, но проверка продолжалась так долго, что у контрольного пункта образовался порядочный затор. Полицейские на испанской стороне неистовствовали, размахивали руками, кричали на шоферов. Мы медленно проехали нейтральную зону в два десятка метров, увидели британский флаг и все внезапно

успокоилось. Посреди дороги стоял невозмутимый и, конечно, рыжий полисмен в шортах цвета хаки, в старомодной каске лондонских «бобби» и ноншалантно еще раз проверял документы.

Когда-то, направляясь в Америку, я проезжал гибралтарский пролив и видел неприступную скалу с моря. Теперь увидел я Гибралтар со стороны материка — впечатление не такое сильное. Главная улица запружена шумной толпой, торговцами, туристами. Посреди медленно пробираются джипы с английскими моряками. Все сразу меняется: темп жизни, внешний вид улицы, цены в витринах магазинов. Все, конечно, обозначено в фунтах, шиллингах и пенсах, но торговцы с удовольствием принимают доллары и песеты. Бутылка виски стоит в два раза дешевле, чем в Англии, американские папиросы дешевле, чем в Нью Йорке, французские духи дешевле, чем в Париже.

Это — одна из тайн системы «преимущественных тарифов» и «порто франко», в которых простые смертные не разбираются. На улицах — теснота и толчея константинопольской Галаты. В Гибралтаре двадцать шесть тысяч жителей, не считая гарнизона, туристов и тринадцати тысяч испанцев, ежедневно переходящих границу. Работают они на английской территории, а к ночи возвращаются домой, в испанскую Линеа. Англичан видно сравнительно мало. Они либо в казармах, либо в своих конторах. В боковых улочках говорят только по-испански или по-итальянски. Это все генуэзцы, с давних времен живущие в Гибралтаре. Есть индусы, негры, китайцы и немало марокканских евреев. Улицы-лестницы уходят в гору. Вид у них средневековый, дома испанского типа, но нет ни белых фасадов, ни цветов, ни патио. Чувствуется большая бедность и даже морской ветер не может разогнать вековых тухлых запахов, густо приправленных перегаром оливкового масла.

Старики торгуют с лотков рыбой из Кадикса, фруктами, связками красного лука, желтыми дынями, чесноком, помидорами, всякой южной снедью и сиплыми голосами громко расхваливают свои товары. В полуподвальных помещениях устроены «бодегас», стены которых уставлены бочками с вином. Здесь можно за грош получить стакан испанской манзаниллы или бутылку тепловатого английского

пива. Нет ничего на свете противнее теплого пива, когда термометр на улице показывает девяносто градусов.

Времени у нас было мало и пришлось отказаться от посещения крепости. Мы даже не были в парке, где живут обезьяны. Легенда утверждает, что обезьяны эти пробираются в Гибралтар из марокканского Тетуана им одним известными подземными ходами, существующими под проливом. Другая легенда общеизвестна: пока на Гибралтаре не переведутся обезьяны, скала будет принадлежать Великобритании.

Во время войны число обезьян начало сокращаться, и Черчиль отдал тайный приказ: привезти в Гибралтар и выпустить на волю побольше обезьян; это было, вероятно, частью британской военной стратегии. В местном историческом музее имеется рельефная карта Гибралтара, и на скале обозначены места, где ютятся обезьяны, причем именуются они на карте как британские чиновники: «Обезьяны Ее Величества». Почти государственная служба.

Гибралтар, захваченный Англией двести пятьдесят лет назад, в 1704 году, к великому негодованию испанцев все еще британская колония и не собирается менять свой статус... Замечательно, что местные, коренные жители одинаково недолюбливают и Англию и Испанию, считая себя людьми особой породы — гибралтарцами. Стратегическое значение Гибралтара в век атомных ракет, конечно, утрачено, это теперь просто символ. Но крепость постоянно находится в состоянии боевой готовности.

В. Д. Боткин, посетивший Гибралтар в середине прошлого века, рассказывал в своих «Письмах об Испании» («Современник», 1857 г.), что видел там две пушки невиданной силы: выстрелом из такого орудия можно убить до ста человек... Думаю, нынешние орудия Гибралтара не хуже. Все батареи скрыты в скале, которая внутри изрезана бесчисленными туннелями и подземельями, как гигантские соты. Тут можно выдержать любую осаду.

В подземных казематах есть свои склады военного снаряжения, продовольствия, резервуары воды и электрическая станция. Натуральные источники питьевой воды в Гибралтаре отсутствуют. Дождевая вода стекает по зацементированным склонам скалы в подземные резервуары.

Гибралтар один из Геркулесовых столбов античного

мира — Кальпе. Второй столб, Абилла, расположен на африканском берегу у Сеуты. Из Гибралтара или соседнего Тарифа всего два часа езды на пароходике до африканского берега, который отлично виден в хорошую погоду, так же как и горы Рифа.

Вид со скалы открывается необыкновенный: впереди Африка, по правую руку Атлантический океан, по левую — Средиземное море. При выезде из Гибралтара наш автокар сворачивает налево и выезжает на дорогу, ведущую к Малаге и к Гранаде.

Первую сотню километров мы едем вдоль побережья Коста дель Соль. Это одно из самых красивых мест на Средиземном море. Только в Сицилии такой хрустальный и легкий воздух и такая же прозрачная вода, как на этом Солнечном Побережье. Дорога все время извивается, огибает крошечные бухты и чем-то напоминает «Корниш» на французской Ривьере. Только там все застроено, всюду дачи и отели, а здесь можно проехать десяток километров и не увидеть никакого признака человеческого жилья. Отроги Сиерры Невады подходят к самому берегу. Пинии спускаются к воде, всюду заросли олеандров, кактусы, а с другой стороны дороги желтый песок пляжа, на который лениво набегает волна. Редко попадается рыбачья деревушка, несколько домов, прилипших к склону горы, а на пляже — перевернутые лодки и красноватые сети, просыхающие на кольях.

Сюда еще не добрались предприниматели, земельные спекулянты, строители, которые уже завладели другим испанским побережьем — Коста Брава. Продлится это недолго. Уже сейчас десятки тысяч туристов бегут в Испанию с французской и итальянской Ривьеры. Скоро начнется скупка земель, планирование. Бульдозеры вырвут с корнями темные пинии и пробковые деревья. Чем ближе к Малаге, тем больше признаков предстоящего «расцвета» Коста дель Соль. На скалах, над взморьем, виллы богатых людей и роскошные отели с террасами, купальными бессейнами флоридского типа.

После войны в Испании появились отели, о которых раньше никто здесь не смел и мечтать. Все это явно

рассчитано на самую избалованную клиентуру. Пройдет несколько лет, и южное побережье Испании превратится во Флориду Европы. Да и то сказать — в Малаге триста солнечных дней в году, средняя температура зимой около пятидесяти градусов Фаренгейта, природа африканская, и все это в двух-трех часах полета от Лондона и Парижа!

Малагу недаром называют «Ла Белла». Она лежит красивым полукругом на берегу лазурного и совершенно зеркального залива. В порту большое оживление, грохочут лебедки, грузятся высокие океанские пароходы, снуют катера. Так было всегда. Этот порт был воротами Испании в далекие заморские страны. Во времена владычества арабов Малага играла ту же роль, что Венеция. Суда приходили не только со всех концов Средиземного моря, но из Индии и из Цейлона. И теперь в порту люди в засаленных тельниках, с татуировками на груди говорят на всех языках мира.

Что я видел в Малаге?

Ничего. Я устал от музеев и соборов. Да, в Малаге есть статуя Богородицы, которую Фердинанд и Изабелла всюду возили за собой, сражаясь с неверными. Есть музей, есть развалины крепости на горе. Бог с ними, довольно! Хотелось просто бродить по тенистым улицам, поглядеть, как живут в Малаге люди.

У фонтана на площади я сфотографировал группу детей, поочередно припадавших к крану. Жажда их была воистину неутолима. Здесь ждала меня нечаянная радость: какой-то старик сидел под акациями с корзиной у ног, а в корзине были жареные семечки. Именно не подсолнухи, как следовало бы написать, а семечки моего детства.

Но не это главное: старик отсыпал мерку деревянным стаканчиком, точно так, как делали у нас в Феодосии, в скверике Айвазовского. Только у нас стаканчик («с поверхом!») стоил копейку, а в Малаге — песету. Я купил семечек, начал их лузгать и, направляясь к порту, поймал себя на том, что походка моя вдруг стала вразвалку, морская — так мальчишки старались ходить, подражая морякам. И на расстоянии полувека нисколько не разучился я лузгать семечки: ловко забрасывал их в рот, зубами

выбирал зерно, а шелуху выплевывал. Тут я, кажется, немного сдал: в молодости шелуха отлетала гораздо дальше... Целый день бродил я в порту и видел «Пискатерию» — кабачок на пляже, где жарили свежую рыбу. Прямо на песке разложен был костер, а немного в стороне, воткнутая на палочки, на жару подрумянивалась рыба, плоская камбала, серебристые сардины, нанизанные на шампур с луком и томатами, как шашлык. Тут же, на золе, пекли ракушки и крабов.

— Устед густай? — желаете попробовать? — спросил меня приветливый хозяин. Ах, как вкусно все это было, и как приятно запить рыбу стаканом белого вина из сорокаведерной бочки!

С вином у меня в Малаге вышло маленькое недоразумение. Вечером в ресторане метрдотель подал карточку, и я с видом стреляной птицы сказал:

— Дайте бутылку местного вина.

— Сеньор, — ответил он по-английски, — в Малаге нет местного вина.

Наступило неловкое молчание. Всю жизнь я пил малагу, а теперь мне заявляют, что такого вина нет.

— У нас есть сладкая малага, — понял метрдотель мое замешательство. — Ее здесь фабрикуют. Но это не местное вино. И вы не станете пить малагу за обедом.

Пришлось заказать бутылку «Риохас», испанского варианта бордо. Будучи человеком упрямым и в гастрономических вопросах бескомпромиссным, после обеда я затащил приятелей в бар и здесь нам подали темную, пахучую, сладкую и замечательную малагу — ту самую, о которой я мечтал со дня приезда в Испанию.

Утром был херес, вечером малага... Чтобы немного освежить головы, во втором часу утра мы вышли на набережную подышать свежим воздухом. Ночь была прохладная, звездная. Кромешная тьма царила на набережной, и я не сразу разобрал, что вокруг происходит. На каменном парапете через каждые пять шагов в темноте сидели парочки, тесно прижавшись друг к другу. Тут вспомнил я, как поэты воспевали красоту малагеньи, женщины из Малаги... Мы были здесь явно лишние и, чтобы не мешать влюбленным, решено было вернуться в отель.

Уходя, я процитировал моим друзьям фразу поэта Луиса Альфонса:

— Воздух Малаги исцеляет всякую болезнь, кроме любви, которая здесь неизлечима.

# ГРАНАДА

«Господь создал Гранаду и Альгамбру на тот случай, если Ему надоест небо».

*Александр Дюма*

Предполагалось в Гранаду приехать засветло, но случилось непредвиденное обстоятельство. После двух-трех часов пути мы остановились у придорожного кафе, чтобы размять ноги и выпить «уна сола» — чашечку черного кофе или стакан кока-колы, получившей в Испании все права гражданства.

— Остановка ровно на десять минут, — предупредил гид. — Пожалуйста, не расходитесь, а то опоздаем.

В кафе публика собралась перед телевизором. Из Сан Себастьяно передавали большой бой быков, на котором присутствовал сам Франко. В Севилье я наотрез отказался идти на корриду, но от зрелища на экране некуда было деваться.

Матадор Валенсиа подошел к президентской ложе, снял с головы черную шапочку-монтеру и поднес ее сильно располневшему генералу Франко, посвящая ему быка. Мне сказали, что этот матадор по профессии известный адвокат, и тауромахией занимается, так сказать, из любви к искусству. К чести Валенсии должен признать, что адвокат-матадор убил своего быка с первого же удара. Ловкости его мог бы позавидовать любой мясник на бойне.

Началось великое ликование. Голос спикера прерывался от волнения, на арену летели цветы, шляпы и деньги. Генерал Франко привстал и через адъютанта послал Валенсии его шапочку, в которую вложил приготовленный подарок, — что-то в коробке с бантом, а сеньора Франко бросила герою красную гвоздику.

После чего на арене появился другой матадор. Он

тоже подошел к президентской ложе и тоже посвятил своего быка Франко. Вероятно и для него была заготовлена коробочка с бантом. Я взглянул на часы: автобус стоял уже сорок пять минут, все сроки давно были пропущены, но гид и шофер Мигель сидели как зачарованные, не сводя глаз с экрана и даже не прикасаясь к стоявшему перед ними пиву. Любовь к корриде оказалась сильнее всех расписаний в мире. Прошел добрый час, прежде чем они нехотя поднялись с мест и пошли к автокару, так и не досмотрев до конца кровавое представление.

Над Гранадой пылал небывалый закат. Мы поднялись на самую вершину холма, к садам Альгамбры и Хенералифе. Внизу, в легком сизом тумане, тонул город. Загорались огоньки. Странное чувство охватывает человека, впервые приезжающего ночью в незнакомый город.

Что там внизу, в этих улицах? Что увижу я завтра во дворце Альгамбры, о котором столько читал, и в соборе, где похоронены Фердинанд и Изабелла? И этот старинный русский романс, автора которого я не знаю и который не дает мне покоя:

Дремлет тихая Гранада!
Месяц на небе стоит...
Где-то слышно: серенада
Полунощная звучит.

Слова эти привел в «Русском Вестнике» гр. Е. Салиас в 1874 году, и тогда уже он называл романс «старинным». Но на этот раз мне повезло. Внизу, под горой, действительно слышалась серенада. Кто-то пел, аккомпанируя себе на гитаре.

— Спустимся в город, — предложил один из спутников.

Мы двинулись в путь. Сначала шли парком Альгамбры, и тут случайно попали на концерт гитаристов, исполнявших классическую испанскую музыку. Публика сидела в темноте, вдоль бассейна. Гитаристам вторил звучный хор ночных сверчков. Потом мы спускались узкими улицами, мощеными грубым булыжником. Шли медленно, без определенной цели, заглядывая в патио домов, где перели-

вались струи фонтанов и сладко пахло розами. И вдруг мы увидели зрелище необыкновенное.

Посреди небольшой площади возвышалось Распятие. Вокруг горели цветные фонарики с красными, желтыми и синими стеклами. Прямо на плитах мостовой стояли на коленях женщины в черных мантильях. Каждая держала зажженную восковую свечу. Помолившись, женщина втыкала свечу в землю у подножия Распятия. Ночь была тихая, безветренная. Свечи горели ярко.

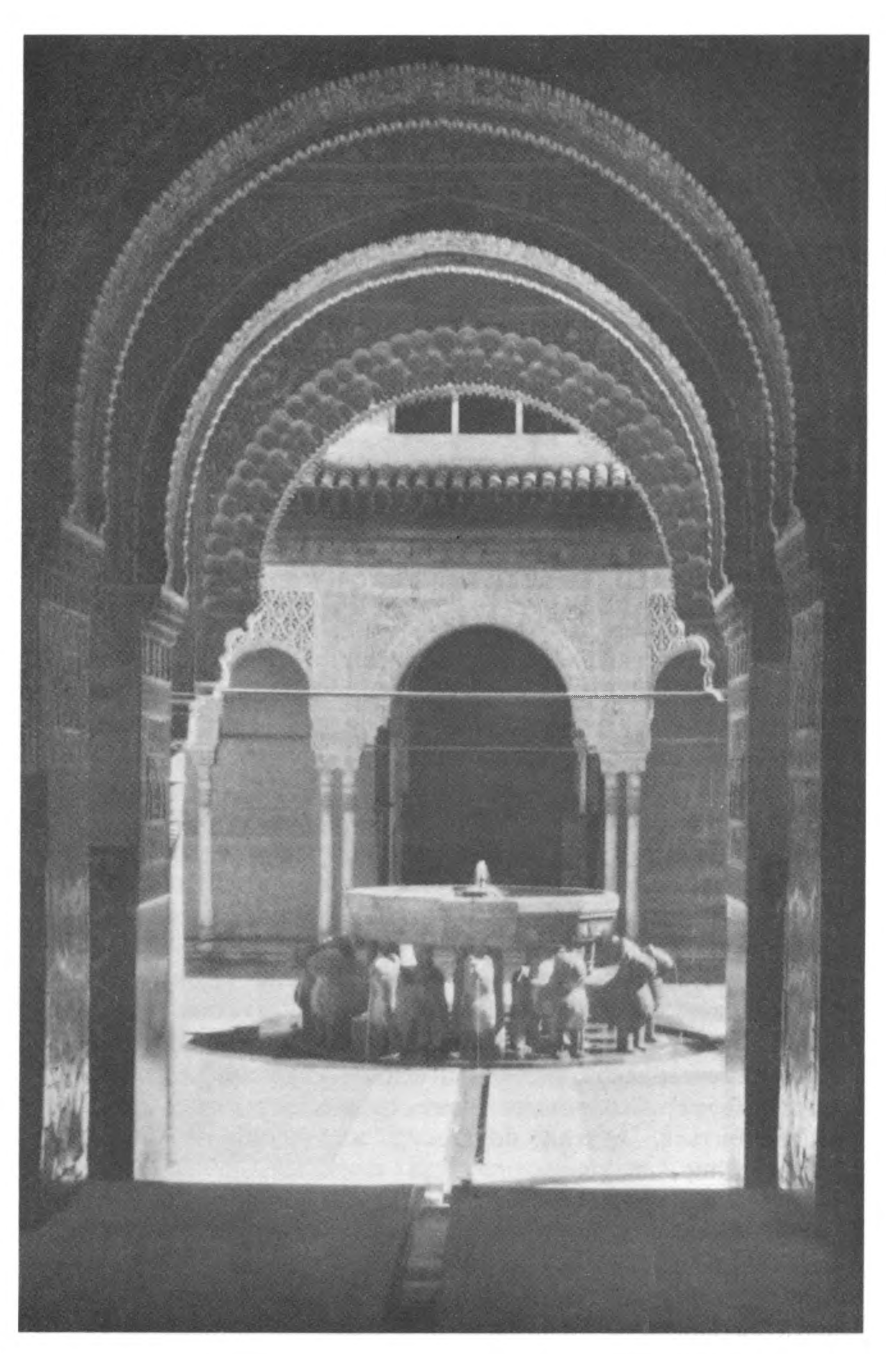
Было в этом что-то испанское и очень сильное: ночь, старое Распятие, неизвестно по какому поводу воздвигнутое столетия назад, жаркое пламя свечей и наивные разноцветные фонарики вокруг — смесь фиесты и средневековой религиозной мистерии. В этот вечер мы собирались посмотреть пляски гитан. Но почему-то, не сговариваясь, повернули и пошли медленно назад в гору, к своему отелю.

Гранада была последней столицей мавров в Испании. Давно уже армии конквистадоров овладели Толедо и Кордовой. Уже завоевана была Севилья, а султаны Гранады продолжали свою беспечную, ленивую жизнь, нисколько не заботясь о грозящей им гибели. 12 января 1492 года, год открытия Америки, произошло величайшее событие в истории Испании: армия «христианских королей» разбила мавров и вошла в город.

Фердинанд и Изабелла вместе со своими рыцарями, воинами и монахами преклонили колена на берегу реки Дарро. Семь столетий арабского владычества в Испании кончились в бою на живописной гранадской равнине, которую в старину русские путешественники справедливо называли «роскошной». Выходя из Гранады, последний султан Боабдил приказал замуровать за собой ворота Альгамбры.

Все потеряли арабы в Испании, но до сих пор в пятницу, во время вечернего намаза, вспоминают они в молитве о своей Гранаде, городе фонтанов, о садах Хенералифе и об Альгамбре, с которой связано так много легенд. Эквивалент еврейской молитвы: «Если я забуду тебя, Иерусалим...»

Во дворце уже давно нет привидений. Их заменили туристы, которым показывают Двор Львов, окруженный



Двор Львов в Гранаде

воздушной колоннадой. Вокруг фонтана вьются глубоко печальные и полустертые арабские надписи:

«Да будет благословен давший повелителю Мохамеду жилище это, по красоте своей — украшение всем жилищам человеческим. Посмотри на воду и посмотри на чашу: невозможно отличить — вода ли стоит неподвижно, или то струится мрамор.

Посмотри, с каким смятением бежит вода — и, однако, все непрерывно падают новые струи... Может быть, и все существующее не более, как этот белый, влажный пар, стоящий над львами».

И правда, трудно представить себе более поэтическое место, чем этот заброшенный дворец, с его мраморными дворами, пустыми гаремами, журчащими фонтанами. Двор мирт, потом «Зала Сестер» с куполом «в половину апельсина», чудесные и прохладные покои, украшенные мозаикой и надписями «Аллах один побеждает».

Альгамбра была подлинным дворцом «Тысяча и одной ночи». В Башне Сокровищ хранились несметные богатства; красивейшие девушки томились в султанских гаремах; лучшие розы Испании цвели в этих садах, а вода в бассейнах была цвета небесной лазури. Только в одном фонтане, в зале Абенсеррахов, на белом мраморе видны красноватые пятна. Я думаю, это ржавчина. Но легенда Альгамбры утверждает, что мрамор впитал в себя человеческую кровь.

Совсем незадолго до падения Гранады султану Абен Осмину донесли, что его любимая одалиска, «прекрасная, как майский день», изменяет ему с кем-то из знатной семьи Абенсеррахов. С кем именно — султан не знал. В семье Абенсеррахов было тридцать шесть мужчин. Чтобы не ошибиться, султан пригласил их к себе во дворец, устроил пир, а когда праздник кончился, приказал всех до одного зарезать. Таким образом ошибиться он не мог: среди тридцати шести обязательно был его соперник. Кровь обезглавленных лилась в фонтан, стоящий посреди зала, и с тех пор на мраморе появились кровавые пятна...

Можно часами бродить по дворцу. Сказочно хороши кружевные украшения из мрамора, воздушные колоннады. Всюду чудесные продолговатые бассейны с водяными ли-

лиями и фонтаны. Снаружи Альгамбра производит впечатление не то крепости, не то тюрьмы; внутри — это рай. Конечно, христианские короли, которым была чужда эта восточная роскошь и нега, пытались построить что-то свое. В конце концов лучшее уничтожили и ничего толком не построили. Дворец начал разрушаться. В начале прошлого столетия путешественники, посещавшие Гранаду, видели вместо Альгамбры какие-то развалины, в которых ютились городские нищие и цыгане. Сады превратились в джунгли, розы одичали, бассейны высохли.

Писатель Д. Мордовцев побывал в Гранаде в 1884 году и писал в «Вестнике Европы» об Альгамбре: «Грустно смотреть на эти обрушивающиеся стены, на эти ветшающие и осыпающиеся башни». Теперь все более или менее восстановлено, в особенности сады, красивее которых я не видел нигде в Испании.

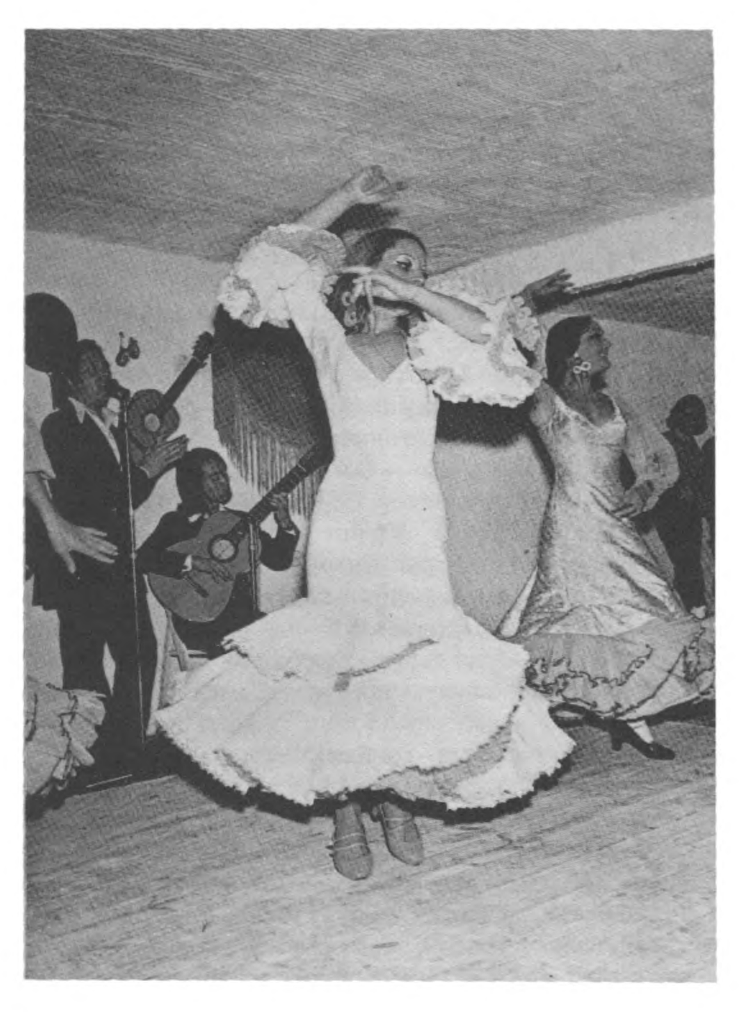
В день освобождения Гранады от мавров Фердинанд и Изабелла дали обет: разрушить мечеть и выстроить на ее месте собор, в котором они будут похоронены. Мечеть снесли, собор выстроили, и у алтаря, когда наступило время, похоронили «католических королей».

Над главным алтарем — Богоматерь «Ностра Сеньора дель Популо» — «Народная». Ее «поднимают» раз в год, в день взятия Гранады. У ног Богородицы сооружены два мавзолея из мрамора Сиерры Морены. На одном изображен на смертном одре Фердинанд, в доспехах, с мечом и короной на голове. А на другой — мраморная статуя Изабеллы. Эти два надгробия — только мавзолей, а склеп находится внизу, под алтарем, и туда можно войти.

В двух центральных гробах Фердинанд и Изабелла, а рядом с ними похоронены Филипп Красивый и Иоанна Безумная. Карлос Пятый считал, что собор слишком мал для таких великих покойников. Но оказалось, что даже мертвым королям много места не нужно: Фердинанд и Изабелла лежат в столь узких и малых по размерами свинцовых гробах, что посетителям склепа становится не по себе, и они торопятся подняться наверх, на свежий воздух.

С балкона моей комнаты в отеле видна Сакромонте, Святая Гора, названная так потому, что в ее пещерах укрывались христиане и там нашли мощи святого Сецилио, покровителя города. И в наше время вся гора изрыта пещерами, в которых живут четыре тысячи гранадских цыган.

В каждом городе Андалузии есть свой цыганский квартал. Севильские гитаны царят в предместье Трианы; гра-



**В цыганском квартале Сакромонте**

надские — на Сакромонте. Вероятно, они давно могли найти себе другие жилища, но даже разбогатев, цыгане не уходят с родного места и никогда не оставляют свои пещеры. Эти пещеры «куэвас» — одна из достопримечательностей Гранады. Я провел много часов, бродя по улицам, среди пестрой толпы. Женщины Сакромонте все одеты в яркие платья, облегающие тела и подчеркивающие округлости груди и бедер. Молодые зарабатывают на жизнь танцами. Старухи поют фламенко, нищенствуют, продают туристам кастаньеты.

Одна такая старуха твердо решила, что без кастаньет из Гранады я не уеду. Она шла за мной по пятам, и кастаньеты в ее руках переливались нежной трелью. Должно быть, старуха обладала даром ясновидящей. Откуда иначе могла она знать, что я в это время думал о стихах Максимилиана Волошина:

...Я привез тебе в подарок
Пару звонких кастаньет.

Конечно, пришлось капитулировать. Но кастаньеты, ставшие моей собственностью, внезапно потеряли все свои музыкальные способности и превратились в простые деревяшки, которые никак не держались на моих растопыренных пальцах.

Пытался я сделать несколько фотографий. Тотчас меня окружила толпа цыганок и цыганят с протянутыми руками. Даром позировать они не хотели. Я роздал всю мелочь, еле от них отбился, но одна долго еще требовала особой платы за снимок.

Приехали мы на Сакромонте целой группой, в сопровождении местного гида — так считалось безопаснее. Нам должны были показать «куэвас» и танцы гитан. Ждал я увидеть нечто ужасное. Трудно представить в наше время людей, живущих, как троглодиты. Граф Е. А. Салиас побывал в этих пещерах в 1874 году, и вот описание, которое он оставил:

«Внутренность этих вырытых ям ужасна. Целое семейство из стариков, молодых и кучи детей, всего человек восемь — десять, часто и более, живет всю жизнь в темном подземелье, сделанном собственными руками, шириною

шагов в десять, вышиною в сажень. Единственное отверстие служит и дверью, и окном. Разумеется, большая часть года проводится у порога этого погреба, непохожего даже на обитаемое место».

За три четверти века, прошедшие со времени этой записи, пещеры сильно изменились. Правда, и теперь еще в каждой пещере живут семьи в 8—10 человек. Правда и то, что единственное отверстие служит одновременно дверью и окном и что большую часть времени они проводят на солнечной улице. Но войдите внутрь. Стены белоснежные, выкрашены известью и увешаны медной посудой, изображениями Богородицы, а рядом с Ней висит портрет отца семейства с лихо закрученными усами. На полу — мягкие марокканские ковры. Вдоль стен дубовые скамьи, на которых рассаживаются посетители, желающие поглядеть на танцы. Это, так сказать, гостиная. К моему удивлению, за первой комнатой идет вторая и третья. Пещеры освещены электричеством, а в одной из них я увидел телефон. Вот так троглодиты!

Сопровождавший нас испанец-переводчик сказал, что есть семьи богатые, у некоторых в пещерах устроены даже ванные комнаты, но независимо от своего богатства, они никуда с этой горы не уходят, здесь живут и здесь умирают. Пока он рассказывал, комната наполнилась посетителями. Все заняли места на скамьях, а напротив нас сели гитаны, десяток молодых и старых женщин и два гитариста. Гитаны расправили яркие красные, синие и зеленые юбки в белую крупную горошину и поправили высокие гребни в волосах. Старик цыган начал тихо, нерешительно перебирать на гитаре струны. Потом вдруг отчаянным голосом запел свое «канто» — пел он о несчастной любви и несчастной жизни. В голосе была тоска, и нежность, и стоны.

— Каталина! — спокойно приказала старая цыганка. — Начинай!

Каталина поднялась с места. Очень она была хороша: чудесная фигура, гибкая талия, лицо смуглянки-морены и длинные, черные как уголь глаза, прикрытые опущенными ресницами. Она стояла посреди комнаты, словно задумавшись о чем-то, опустив голову. Потом сделала еле заметное ленивое движение рукой, — медленно вступила

она в танец. А гитары уже начали плясовой ритм и выкрики подбадривали и вызывали цыганку, все еще находившуюся в каком-то оцепенении. И вдруг Каталина перегнула стан, откинулась назад, глаза ее сверкнули, каблучки загрохотали на каменном полу. И в такт этому грохоту в руках цыганок заговорили кастаньеты.

Бывал я в Испании в нескольких ночных клубах, где танцуют «фламенко», видел разных танцовщиц, и хотя знал, что и в этом подвале все не настоящее, придуманное для туристов, все же мне показалось, что таких певучих кастаньет я не слышал и не видел еще такой красивой гитаны. Дрожь шла по всему ее телу. Подняв руки над головой, она звонко забила в ладоши и пошла кругом, откинув стан назад, извиваясь в невидимых объятиях возлюбленного, сопротивляясь ему, выскальзывая из его жадных рук. Временами она в гневе надвигалась на него, временами в бессилии отбрасывала все свое тело назад, склоняясь чуть не до земли под его страстными поцелуями. Волосы ее растрепались и наполовину закрыли пылавшее лицо. Мне трудно описать танец Каталины. В нем не было грациозных балетных движений — это была дикая страсть. Танцовщица не отрывалась от земли — ее сила как бы удваивалась от контакта с каменным полом, по которому с грохотом она теперь преследовала покоренного любовника.

Вдруг четыре другие гитаны сорвались со своих мест и присоединились к подруге в быстром танце, в резких и внезапных переходах от нежности к угрозе, от смущенных взглядов к дерзким. А кастаньеты манили, завлекали... Гитаристы опять что-то запели, и старухи цыганки с каменными и равнодушными лицами били в ладоши все громче и громче. Каталина сделала резкий поворот на каблуках, остановилась как вкопанная, одним движением головы откинула назад волосы с лица и, прямая и внезапно строгая, опустилась на скамью.

Я взглянул на туристов и едва не ахнул от изумления: с нами сидели две католические монахини в своих белых накрахмаленных наколках! Нет, не случайно попали они в эту цыганскую пещеру — с монахинями пришел целый выводок девочек-сироток, которых они привели сюда развлечься. Испанская кровь текла в жилах матушек, ибо

когда начался следующий танец, вместе со всеми они забили в ладоши и начали что-то выкрикивать. Какое это было прелестное зрелище! И где еще на свете, кроме Гранады, можно увидеть в цыганском погребе веселящихся монахинь!

Долго я вспоминал этот эпизод путешествия по Андалузии. Думал я о нем в автокаре, который на следующее утро увозил нас в сторону Мадрида, и сейчас еще улыбаюсь, вспоминая эту сцену... Путь до Мадрида был долгий — через каменистый Ла Манч и старую Кастилию. И я вспомнил многое, о чем не успел здесь рассказать: о мрачном монастыре-замке «Эскуриале» кровожадного палача Филиппа Второго и об усыпальнице испанских королей, о Долине Павших, где Франко выстроил в скале гигантский подземный собор, в крипте которого покоятся жертвы гражданской войны. Мирно и братски улеглись под землей все вместе — и республиканцы, и лоялисты... Будет ли когда-нибудь и у нас в России воздвигнут такой памятник *всем* жертвам гражданской войны — и красным, и белым?

Мы ехали к Северу, Андалузия кончалась, может быть, навсегда, и, чтобы подавить в душе грусть, я начал песенку, которые распевали после окончания испанской гражданской войны в России:

Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
Гранада, Гранада,
Гранада моя!

Так под эту несложную песенку простился я с «моей» Гранадой и со всей Испанией.

*1964 г.*

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

## ТОГО ЖЕ АВТОРА

**СТАРЫЙ ПАРИЖ.** — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. *Распродано.*

**МОНМАРТР.**— Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1927 г. *Распродано.*

**ПАРИЖ НОЧЬЮ.** — Изд. «Москва»,1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева. *Распродано.*

**ТАМ, ГДЕ ЖИЛИ КОРОЛИ.** — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1930 г. *Распродано.*

**ТАМ, ГДЕ БЫЛА РОССИЯ.** — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г. *Распродано.*

**ЛЮДИ ЗА БОРТОМ.** — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г. *Распродано.*

**ДОРОГА ЧЕРЕЗ ОКЕАН.** — Изд. «Нового журнала». 1942 г. *Распродано.*

**ЗВЕЗДОЧЕТЫ С БОСФОРА.** — Изд. Н. Р. С., Нью Йорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина. Второе издание, Нью Йорк, 1973 г.

**СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК.** — Нью Йорк, 1951. *Распродано.*

**ТОЛЬКО О ЛЮДЯХ.** — Нью Йорк. 1955 г. Изд. Н. Р. С. *Распродано.*

**ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ.** — Воспоминания. Нью Йорк, 1962 г. Первое и второе издание. *Распродано.*

**ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ.** — Рассказы. Очерки «Под небом Испании». Изд. Н. Р. С., Нью Йорк, 1964 г. *Распродано.*

**ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ.** — Очерки. Обложка Мане-Каца. Изд. Н. Р. С., Нью Йорк, 1966 г. *Распродано.*

**THIS LAND OF ISRAEL.** — Translated dy Elizabeth Hapgood. The Macmillan Company, New York; Collier — Macmillan Ltd. London, 1967. *Два издания распроданы.*

**ИЕРУСАЛИМ, ИМЯ РАДОСТНОЕ.** — Изд. Н. Р. С.,1969 г. *Распродано.*

**КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ.** — Изд. Н. Р. С., 1977 г.

**ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ.** — Н.Р.С. Третье издание, 1979 г.

**ПУТИ, ДОРОГИ** — Н. Р. С. 1980.

**Издание «Нового Русского Слова»**
**243 West 56 Street**
**New York, N. Y. 10019.**



*Фото Альфреда Тульчинского*